

ЮНОСТЬ

9 '90





Валерий МАЛОЛЕТКОВ. г. Москва.
«Художник и философ». Шамот, эмалевые глазури.

ЮНОСТЬ

9⁽⁴²⁴⁾

'90



ЛИТЕРАТУРНО-
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЕЖЕМЕСЯЧНИК
СОЮЗА
ПИСАТЕЛЕЙ
СССР

ЖУРНАЛ
ОСНОВАН
В 1955 ГОДУ

Главный редактор
Андрей ДЕМЕНТЬЕВ

Редакционная коллегия:

Анатолий АЛЕКСИН
Татьяна БОБРЫНИНА
Борис ВАСИЛЬЕВ
Юрий ЗЕРЧАНИНОВ
Натан ЗЛОТНИКОВ
Фазиль ИСКАНДЕР
Римма КАЗАКОВА
Кирилл КОВАЛЬДЖИ
Олег КОКИН
Александр ЛАВРИН
Виктор ЛИПАТОВ
(заместитель главного редактора)
Игорь ОБРОСОВ
Мария ОЗЕРОВА
Юрий ПОЛЯКОВ
Виктор РОЗОВ
Юрий САДОВНИКОВ
(ответственный секретарь)
Александр СЕРЕБРОВ
Евгений СИДОРОВ
Игорь ШКЛЯРЕВСКИЙ

Издательство ЦК КПСС «Правда»
Москва



Михаил РЕЗИН

БЕГСТВО ТАЛОЙ ВОДЫ

Дебют в
ЮНОСТИ

Повесть в монологах

Михаил Резин в 1987 г. окончил Литературный институт имени Горького. До института работал слесарем, служил в армии, добывал в Воркуте уголь, был пожарником. Сейчас живет в г. Ижевске, преподаёт эстетику в ПТУ. Автор трех прозаических книг. В периодической печати публикуется впервые.

Рисунки Игоря Мельникова
Фото Леонида Шимановича

Журнальный вариант.

Старик:

Я возьму тебя за руку, и мы пойдем, не оглядываясь. Не надо оглядываться. Пусть плятятся нам вслед из миллиона окон и орут миллионом глоток. К счастью, их почти не слышно за густеющими ветками. Только протяжно-скрежещущее, раздраженно-устрашающее движение зубов. Они мобилизовали все свои зубы: молочные и мудрости, вставные и запломбированные, гнилые и белоснежные, кровоточащие и прокуренные, одинокие и в полных обоймах, острорежущие клыки и стертые пеньки у самых десен. Ты говоришь, у тебя есть местечко, где спрятан твой клад? Догадываюсь, это обыкновенные детские вещицы: кукольный шиньон, тряпочки, пуговицы, ржавая игла (ты в свое время не догадалась обернуть ее промасленной бумагой — трогательная недалёковидность начинающего жить), фарфоровые остатки первоначально роскошного кукольного сервиза, пузырьки из-под лекарств и духов, «игрушечные» пробки. Ты не раз бывала там, в своем укромном местечке. Всегда удивлялся твоей способности (она есть еще у нескольких знакомых мне детишек) выбираться из кольца, из неразрывного и круглого мелькания и шипения колес, сосущих воду с непросыхающих дорог присосками протекторов. «Под Зеленым корнем», — говоришь ты. Я понимаю, мне не надо лишних разъяснений: корень порос мхом, это старый корень старого и, видимо, мертвого дерева, которое выпало из своего гнезда, как зуб из десны, и оставило яму с «Зелеными корнями» (метафорическое зрение детства). Конечно, клад под «Зелеными корнями» — смехотворная и ни в коем случае не удовлетворительная причина к бегству для тех, кто за окнами. Сами они никогда бы не поддались на этот ничтожный (их глаза уменьшают, как перевернутые бинокли) соблазн. Но как раз тут, злорадно и надменно гогоча над нами, они не уловили первопричины нашего поступка. Мы уходим не к «к», а «от», суемудрые. В конечном итоге мы уходим не к кладу, а от вас. Я не боец, не воин, выжегший в себе или от рождения не имеющий того, что болит. У меня болит все. Я уязвим со всех сторон. Муха, поднявшаяся с их жирного стола и толкнувшая в меня суетливыми крыльями порцию воздуха, способна вызвать у меня дурноту и судорогу омерзения. Атмосфера, которая прозрачна для их немислимых построений, которая не сгустилась и не почернела до черноты угольного нутра, кажется мне изощренной предательницей, тайным недругом, возненавидевшим меня еще до моего рождения. Их слова — тяжеловесные граненые гранаты — рвутся повсеместно и всевременно, осколки искромсали мне уши, барабанные перепонки — посмотрите! — превратились в шелестящие на ветру лохмотья. Оттого я часто и не слышу тебя, малышка. Я не смогу отстоять тебя, защитить тебя, сражаться за тебя со всеми, кто пожелает что-то с тобой сделать. Не смогу спасти от грубости идиотов и циников, властолюбцев, женолюбцев, лизоблюдов, ревнивых жен и безумных свекровей, от юнцов с рожами щелкунчиков и нетерпеливыми руками гинекологов-самоучек, что промышляют душными — удушающими! — вечерами в тесных и невыносимых, как шерстяной спортивный костюм в жару, переулках, проулках, тупиках. От всех этих мясных мух города. Мне не уберечь тебя от изнурительной, обворовывающей работы (рук, ума, глаз, сердца), которая будет нужна, чтобы кормиться, одеваться, кормить и одевать детей, которые, может быть, у тебя будут, которые, может быть, не умрут во время родов, после родов, в первые дни жизни, которые, может быть, не родятся чудовищами без

лица, без ушей, с раздутой от мозга кожей вместо черепа, с подобием розового безволосого курдючка, начиненного мягким орехом извилин. Я не заслону тебя от унижительного счета и экономии на самом нужном, первостепенном, от денег взаймы и робких извинений, что вернула не в срок. Не смогу согреть твои руки, которыми ты будешь держать совок или метлу — инструменты подрабатывающей гражданки, падчерицы своей страны, чтобы получить полставки, четверть ставки и попробовать свести концы с концами и не отвечать скромно-согласно-порочным мановением ресниц на приглашение тикающих, как электронный циферблат, глаз начальника: русого или брюнета, русского или чечена, старика или молодежого, полного или вихляющего в приятного цвета в полоску костюме. Он высосет тебя и бросит, и ты повиснешь, обмотанная сухой паутиной, и лицо твое будет соткано из паутины, и взгляд потускнеет от густой и пыльной сети неотвратимых воспоминаний. Вслушиваюсь: «Под Зелеными корнями...» Я понимаю тебя даже в несуществующем варианте твоей жизни. Под зелеными корнями спрятана какая-то вещь: амулет, брелок, ленточка, палка с сучком, камешек с полоской, медальон с Марией, которую ты целуешь и вешаешь на грудь, ножичек. Вещица приносит счастье, и ты зарыла ее, закопала под корнями — так надежнее. Как бы там ни было, мы не вернемся. Хватит верить их примитивным уловкам и возвращаться; и давать в обмен на деньги пищу, квадратные метры (так теперь всюду называется человеческое гнездо), путевку в место, специально отведенное для общего отдыха, бесплатную и оттого никакую медпомощь, золотистые наградные листы с филигранными гербами и дилинькающие глупенькие кружки орденов — живые куски своей сочащейся кровью плоти, которую они небрежно сбрасывают в корзину для бумаг, а потом, слышал, кормят сторожевых собак. Еще раз вернуться — это влипнуть наверняка в их спиритические игры в политику, снова очутиться на вращающейся, убистряющейся карусели: с нее уже не сойти (велика скорость, они все рассчитали, на такой скорости человек, если у него все еще нет крыльев, разобьется вдребезги, в мелкие осколки, и они разлетятся по свету, как осколки того сказочного зеркала, — бедный Кай! бедная Герда!). Карусель раскрутилась, не видать ни лошадей, ни седоков, а только раздутый движением, сверкающий цилиндр. Мы не вернемся, а другие как хотят. Им нравится — пусть остаются. Пусть остаются там — в ячейках домов, где жизнь расфасована по окнам и балконам. Пусть остаются там, в вислозадах, заглотивших их динозаврах, которых они называют благоустроенными домами: «Мы скоро получим на расширение — да, да!.. со всеми удобствами...» Безглазые! Безухие! Они не видят подмены. Для чего нам туда возвращаться? За одеждой? Груда тряпья и кожи на разные сезоны и температуры, на разные гримасы погоды и выверты похоти. Обертка, товарная упаковка, которая чаще всего лжет: «Возьмите меня, я самая лучшая, красивая, надежная, удобная!..» Посуда? Объемы для жидкости и сыпучих продуктов. Питающая и напоющая, соблазняющая содержимым и пустая, промытая и вытертая до голубизны, формой своей, парадами своими, эшелонированными по высоте и по площади, она подвигает нас на героизма Геракла во имя и славу пищи, этого транзитного смысла всякого судка, чашки, кофейника, супницы, ведра для отходов. Книжки? Да, много красивых и прочных корешков — гробов крашенных, за которыми страницы, за которыми буквы — обугленные останки мыслей, кремированных

авторами в крошечной тьме черепных коробок в тысячах разных углов мира, в тысяче разных времен. (Ужасно дробится мысль: может ли быть тысяча разных времен?) Я знаю, тебе иногда хочется туда. Хочется вернуться. Несмотря на клад, который ждет. Ты все-таки привыкла к их картонному миру. Они сделали все, чтобы тебя приручить. Но любовь сильнее привычки. Ты мне веришь, потому что любишь. Если мы вернемся, все делается непредсказуемым, поверь. Из-за глупых мелочей, из-за пустяков, из-за раскрашенного шелкового зонтика или заколки-бабочки я могу потерять тебя. Лучше не думать о них. Смотри на тропинку: сверкает хвоя — золотое генеральское шитье, шишка приподнялась на засохших черных плавниках, пушистая рыжая ветка, сухая и горбатая, давно растеряла листву (старуха, оставленная детьми), кусок газеты (и тут кусок газеты! весь земной шар облеплен газетами, многослойный бумажный шар, глобус из папье-маше), на которой написано...

Юноша:

Твои волосы, твои глаза, твои губы, твоя кожа, твоя шея, эта родинка на шее, эта тонкая цепочка, что щекочет мне губы, эта самостоятельная и любопытствующая прядка волос, что спускается по шее и подглядывает за моими губами, за моим языком, эта ложбинка, этот атласный овражек, где так удобно отдыхать моему дыханию, где так тревожно и нетерпеливо бьется голубой ручеек, тонкий жгутик, живая нитка гонимой сердцем крови — как наглядеться на это? как надыхаться этим? Я остановлюсь здесь, замру, прислушаюсь губами к тому, что не имеет названий на языке людей или имеет, но слишком общие, слишком неловкие и далекие, слишком грубые: лапа обезьяны, хватающая бисер. В одной сказке добрый молодец превращается в перышко. Как бы хотел и я стать перышком, которое ты положила бы вот сюда, к родинке, к дышащей жилке. Живым и чувствующим перышком. Я слишком груб и тяжел, я сам изнемогаю от тяжести своей и каменности. Я весь — как размягченный камень. Почти весь запас моих сил и внимания уходит, чтобы как-то справиться с тяжестью тела, плоти, костей — всей этой крепости, в которую я от рождения заточен. Марсианский треножник. Нет, землянский двуножник. Своей волей я двигаю эту крепость, шевелю махину. Я протягиваю руку — этот несовершенный манипулятор — к тебе, к твоей руке и вдруг вижу — всякий раз это для меня открытие — твое совершенство, безупречное совершенство твоей руки, твоего лица, твоего бедра — всей тебя, совершенной и столь на меня не похожей. Вся ты прекрасна, возлюбленная моя, и нет пятна на тебе.

Девушка:

И мне хотелось бы, чтоб ты был перышком. Я бы положила тебя на грудь или сюда, как хочешь, и всегда бы знала, что ты со мной. А это для меня все: знать, что ты со мной, что в любой момент — представляешь? — я могу коснуться тебя рукой, губами. Иногда мне хочется, чтобы ты стал мною, чтобы слился со мной, стал одним со мной существом. Но потом я думаю: как же я буду видеть тебя, твое лицо, твой взгляд, твои глаза, в которых я — посмотри-ка на меня, посмотри внимательно, не мигай — такая маленькая, такая превращенная. Скажи-ка мне, признайся, когда ты закрываешь глаза, я остаюсь там, в темноте, в хрусталиках, в твоей зрительной темноте один на один с тобою? Или там еще кто-то есть? Не говори, знаю. Ты так хорошо, так прекрасно обо мне думаешь. Твои глаза так удивительно, так не похоже ни на что устроены, что видят меня совсем иной: такой я только хотела бы

стать, такой я только мечтаю стать или, может быть, была в детстве. А ведь детство прошло, мы не дети, правда? Многие утрачено. Так грустно. В детстве я была, пожалуй, такой. В детстве, я это хорошо помню, все мои косточки были наполнены ветром. Тогда и правда не было ни мяса, ни крови, ни костей в том смысле, как ты говоришь. Были трубочки, наполненные ветром. И они пели. И днем, и ночью. Особенно ночью. Я вся была, вся состояла из дудочек. Ночью все трепетало во мне от звука. А теперь? Вот рука. Видишь? Что в ней необычного, что прекрасного? Я не вижу. Все как у всех. Линия жизни, шрам от кухонного ножа, чернильное пятно. Кстати, по твоему совету пишу чернилами. И в школе, и письма. Я бы и гусиным пером писала, но где взять. Гуси в городе не водятся. Только несчастные и жадные голуби да побирушки-воробы. Разве есть что совершенное в этом чернильном пятне?

Молодой человек:

Позвольте мне! У них бесполезно спрашивать, ничего толком не скажут. Статисты. Я тут, в сквере, похоже, один говорящий, один могу выражаться более-менее связно. Собираемся здесь ради выпивки. Пиво. Обычно пиво. Недорого и можно посидеть, побалагурить за примитивную нашу житуху. Не желаете откусать? Свежачок! Не откажите. Чинарик, дерни по-быстрому до овощного, попроси стаканчик для человека. А ты, Купа, уступи плацкарт и принеси еще пару ящиков. Конечно, не самое лучшее место для отдыха, зато пиво без очереди и сколько угодно — по благу. Я — сын своих родителей. Они, полагаю, тоже. Люмпены. Хлеба, пива и зрелищ. Вас интересует этот сквер на перекрестке? Скажу. Гнойное место. Как представишь, что скоро везде так будет, и помирать не страшно, не жаль. Папаша у меня большой человек, партиец, зарплата утешительная, машина с шофером и к столу разносолы. Мать работает методистом в каком-то учебном заведении, красит в пожарный цвет седые лохмы и предупреждает, чтобы я при посторонних не называл ее мамой, а сестрой или тетей. Пиво нам достает Евсей. Работает дворником в кинотеатре, что в бывшем соборе. Да, именно там, за кустами. Угол виден. Мы туда не ходим, православным это запаadlo. Крещенные почти все. Хоть так стоим за веру и отечество. Иных праведных дел, увы, за нами не числится. Вас, как понимаю, интересует не столько сам сквер, сколько та парочка на скамейке и тот смешной старичок с дубинкой, что шамкает плюшевым ртом и говорит в пустой зал сквера длинные тирады? Что ж, давайте по порядку. Сквер, как видите, небольшой. Возглавляется (извините за тавтологию) обезглавленным собором. С четырех сторон душит проезжая часть. По углам трахонные светофоры. На земле, вернее, на асфальте, толстый и сплошной слой металла, дыма, скрипа, гула, резины, электричества, топлива, пота, мускульных усилий, косящих от напряжения глаз, блестящего никеля, засохшей грязи, припрятанных под лаком кузовов валов и передач, борющихся шестерен, упакованных грузов, согнутых пассажирских тел и заполняющей, смазывающей, объединяющей все это спешке. Сквер облеплен автобусными остановками. Кусты подстрижены под пуделя. Те, двое, обычно встречаются там у чугунного памятника герою и садятся вон на ту скамейку. Ее отсюда хорошо видно. Все скамейки недавно покрашены и сверкают среди пыльной, издырявленной кислотными дождями листвы. Смотрю на эту парочку и не перестаю дивиться. Встречаются почти каждый день. И каждый день все на этой скамейке. И каждый день с ними этот старикан. Вернее, он приходит с ней, а потом кругами удаляется в тот вон тупичок, там тоже скамейка,

сидится и что-то бормочет, что-то чертит дубинкой. Иногда поднимает ее и грозит кому-то. Я-то понятно почему здесь: пиво. А их что в газовую камеру под открытым небом тянет, не ясно. Пройди немного — и парк. Правда, не всегда открыт, но ведь можно изучить расписание. Всякий раз думаю — сумасшедшие. Только сумасшедшие могут сидеть здесь. Ведь сумасшедшие, и это известно всем, маленькие автономные планеты, не связанные не только с Землей, но и с Солнечной системой. Он держит ее руку и с редким для нашего века вниманием рассматривает. Верно, прикидывается гадалщиком. Трюк избитый. Советую и вам: если кто понравился, берите за руку, говорите, что в ваших жилах цыганская кровь, вода каналов Венеции и атмосферное электричество Гималаев. Начинайте гадать, то есть нести околесицу, что в голову придет. Гадание — это театр теней, где фигу всегда можно принять за одинокий балкон Дульцинеи. Прошу прощения за некоторую желчность. Сознаюсь, девушка мне нравится. И, естественно, не нравится ее желторотый ухажер. Все жду, когда она его отошлет. Нельзя же бесконечно сидеть на скамейке и держать друг друга за руки. Сколько раз, бывало, засмотревшись на них, чуть не сбивал с ног старика с палкой. Наверняка это ее дед, которого поручают прогуливать в этом гиблом месте явно не с целью укрепить его здоровье. До прозрачности ветхий, как ткань, сквозь которую в местах потертостей виден окружающий мир, он, похоже, и не замечал меня. Понятно, я не всегда был аборигеном этого сквера и не всегда пивной красноглазый сброд, ухающий матюками, был любезной моей компанией. Да и сейчас иногда, в охотку, срываюсь в университет или медицинский на лекции. Шевелится, не засохло желание умом разгадать ребус собственной жизни. Все кажется, что выйдет на кафедру новый, упавший откуда-нибудь из-за облаков преподаватель, встанет твердо, пронзит аудиторию согревающим взглядом и скажет, указывая на меня: «Вот человек, заблудившийся в трех соснах, попробуем ему помочь выбраться на дорогу. Родителей своих он ненавидит, людей ненавидит, страну ненавидит, научно-технический прогресс ненавидит, политику ненавидит, партию ненавидит, армию ненавидит, литературу и искусство ненавидит, власть ненавидит, луну и солнце ненавидит, работу и всякий труд ненавидит. Впрочем, легче сказать, что ему нравится, что ему по душе. Нравится ему свежее пиво, легкий кайф от пива, нагрудный карман, который не всегда легально пополняется из родительских кошельков, девушка из сквера, которая встречается с явно недостойным ее салагой, а еще ему нравится ночь, вернее тот ее небольшой кусок, когда он, пробравшись к кровати — у него свой ключ, — ложится, сует голову под подушку и по пивным волнам отплывает к берегам, которые гениально изобразил Клод Лоррен. А любит он своего маленького брата Андрюшу, которого вот уже более года нет на этом свете. Невеселая история. Его родители, люди в городе известные, перегруженные работой, не имели возможности уделять детям достаточного внимания. Особенно младшему, Андрюше. Даже пребывание его в престижном круглосуточном детском саду тяготило их: надо брать домой на субботу, воскресенье и праздники. И они решили его отправить в деревню к дедушке. Должны были поехать оба брата, Андрюша и сидящий в зале молодой человек с розовым носом и пивной отрыжкой. Но молодой человек на первом курсе института, ему нужно было сдавать экзамены. Андрюшу отправили одного с тем, чтобы через недолгое время прислать и старшего. Мальчик быстро сдружился с деревенскими сверстниками, убежал в лес и на замечания престарелого деда, как водится, мало обращал внимание. Однажды мальчишек собралась целая ка-

валькада, и они ехали на велосипедах по берегу неширокой, но коварной речки. Кусок берега, подточенный течением, обвалился вместе с тропинкой и велосипедом, на котором ехали Андрияша с приятелем. Деревенский, как водится, плавал неплохо, Андрияша не умел. Вот и все. Что можно посоветовать молодому человеку? А посоветовать можно следующее...» Но такого проникательного педагога не было и быть не могло, институтские платные словоблуды чесали о чем угодно, но только не о том, как вывернуть меня наизнанку, вытряхнуть из меня неутраченный, изо дня в день, из месяца в месяц тлеющий торфяной пожар, чем залить мое пламенеющее нутро, которое лишь почтительное отношение к православию не позволяет мне лишиться питающего огонь кислорода посредством простой веревочной петли. Иногда забываюсь за пустой болтовней и примитивными делами скверной (от «сквер») компании. Я знаю, что однажды придет почтенная дама в широком плаще с капюшоном и холодной острой сталью распорет мою требуху, выпустит меня из меня, и я без всякого биплана, на котором люблю воображаемо парить, полечу к берегам Клода Лоррена, и уже на взлете, во время крутого набора высоты ко мне присоединится Андрияша.

Старик:

Если мы вернемся и я потеряю тебя, для чего мне нужен буду я сам или хотя бы вот эти руки. Посмотри! Они в дорогах, тропах, буграх, расселинах, руслах, плато, оврагах, как заправский ландшафт на рельефной карте. Ладони — два лика, которые тоже можно обратить к Богу. Вот так. Я встаю на колени, поднимаю свое основное лицо и вот эти два дополнительных. Боже, я знаю, что секира лежит у дерева, что уже скоро, при дверях, но потерпи, не дай погибнуть кроткой моей голубице. Так я скажу, потому что больше своей жизни люблю тебя. Взгляни. Эти мои морщинистые мозолистые лица хранят самостоятельную память о тебе, о твоих волосах, твоей коже, твоих руках, которые (несравненно более маленькие, внимающие, спешащие на доброе) ютились в моих ладонях, как белышата в дупле корявого, начавшего сохнуть дерева. Что будут значить эти плечи, если мы вернемся и я потеряю тебя? А они тоже помнят и ноют, когда тебя нет рядом, когда ты не можешь обхватить их и, невесомо поглаживая, шептать припавшим ртом лишь им слышные слова. И эти ноги, эти конечности, более других частей тела напоминающие механизмы, шатуны, шарнирные пары, перемещающие меня в пространстве (слышал, что в морге к ноге привязывают клеенчатую бирку с фамилией), тоже будут мне не нужны. Я поставлю их, не расшнуровывая ботинок, тяжелых рабочих ботинок, которые когда-то выдали мне в комплекте спецодежды, поставлю их на стул или под стол и забуду про них. Про все забуду. Я буду помнить о тебе. Только о тебе. Даю слово. Хотя это ты знаешь и без слова. Я достану вещишки из памяти (мой клад «под Зелеными корнями») и буду рассматривать их, подолгу держа в руках. Там у них осталась еще и музыка — невидимо снующее прозрачное насекомое. В ушах оно оставляет подобие паутины, нет, натянутых струн, серебристого невесомого шитья, которое до сих пор отзывается ветру и шепчет сердцу. Но и ради музыки мы не вернемся. Помнишь, я тебе рассказывал про жену Лота? Взгляд, как провод, может быть проводником смерти. Даже спина, незрячая и недумающая, чувствует напор громогласящих городских форм, граней, отточенных расстоянием до остроты бритвы. Чувствует и окаменелые аорты труб, которыми сидящий под землей сосет воздух, взамен отрывая смрад. Дай мне руку. Вот так. Чтобы я держал тебя крепче. Если устанешь, я посажу тебя на плечи. Раньше я всегда так делал, когда ты уставала. И тросточка

мне не мешает, ею я отбрасываю куски газет с дороги. Они хуже, чем ветки или камни, через те можно просто перешагнуть. Я помню, среди вещишек твоего клада есть ножик. Возможно, я сам тебе его когда-то дал, а потом забыл. Обыкновенный зеленый перочинный ножик с двумя лезвиями. Простой, без всяких дополнительных затей. Не исключено, что именно такой ножик был у меня в детстве. Куда он подевался? Ведь где-то и сейчас находятся наши детские сокровища (ничто в мире не исчезает и не появляется вновь — закон физики): два белых и теплых кремня, из которых при ударе, как из двух маленьких туч, молния; деревянный солдат по имени Криворотик — последний из отряда деревянных крашенных солдатиков, перетянутых крест-накрест белыми широкими ремнями, в черных высоких киверах, — у него одного была (и остается) скептически-насмешливая улыбка — виновница бесчисленных караулов и нарядов вне очереди; футбольный многозвучный свисток, его свист, счастье, что мы уже не там. Вот уже и сердце успокаивается. Куда бежишь, нетерпеливое? Куда стрекочешь? Приостановись! Присядь с нами. А то развяжется или прохудится твой атласный мешочек, выбежит капелька жизни, и тогда я стану таким же неспособным на зло и добро, как скамейка. В здешнем климате ртуть постепенно выйдет из крови. Если ее, ртуть, специально не добавлять, она обязательно выйдет. Это летучее вещество, хоть и тяжелое. Ты не забыла заветное место? Где лежит вывернутое дерево? Должно быть, неподалеку. Если рассуждать здраво, то это место должно быть где-то рядом со скамейкой.

Юноша:

Про тебя никак не скажешь, что у тебя есть родители, есть мать и отец, что тебя когда-то родили и ты была маленькая и не приспособленная к жизни. С тобой это не вяжется. Я больше верю в зернышко, горошину или маковую росинку, из которой ты появилась. Обыкновенность убивает прекрасное, я много раз об этом думал. Стандартизация — путь к прогрессу? Неправда. Стандартизация — путь к смерти. Кто-то очень злобный и не любящий людей придумал обыкновенное. Ты же вся — чудо. Хотя бы это чернильное пятно на руке. Смотрю на это чернильное пятно и ясно вижу — это остров. Благодаря своему умению превращаться я уменьшусь и побегу по берегу синего острова. Побегу, падая на колени и целуя почву, твою руку в любом, где вздумается, месте. Я всюду буду чувствовать твое присутствие, твое живое тепло: так древний грек всюду чувствовал присутствие Геи. Я поселился на этом острове, ведь необязательно превращаться в перышко, можно быть просто жителем твоей руки. А ты будешь иногда класть передо мной крошечку хлеба, как маленькому Гулливеру, и приближать свои губы, на которых капля воды.

Девушка:

Вот мои губы, ты и сейчас можешь утолить жажду. Странно, но я тоже думала о своем появлении на свет. Мне кажется, что меня доставили из какого-то прекрасного мира, о котором только далекие и смутные воспоминания. Родители у меня и правда обыкновенные, а вот дедушка — сам видишь. Разве его назовешь обыкновенным? Он не перестает меня убеждать, что этот сквер и есть то место за городом, где спрятан клад моих вещишек. Его зрение очень странно устроено, он словно смотрит сквозь предметы и видит совсем не то, что видят простые люди. Сейчас он сидит на скамейке и чертит план нашего бегства. Иногда он очень верно говорит о жизни, но чаще это все-таки походит на бред. Мама просит получше приглядывать за ним во время прогулки, но с каждым

разом это все труднее. Он становится все беспокойнее. Ему кажется, что мне со всех сторон грозят опасности. Он уверен, что мне еще пять лет, что не я его, а он меня прогуливает или бежит со мной за город, далеко, где нас уже не смогут догнать. Он упорно не желает видеть меня взрослой. Иногда, мне кажется, он все-таки прозревает, удивляется моему росту и моим годам, но быстро убеждает себя, что это плод воображения. Если б ты знал, как он ненавидит город. Город — чудовище, вызванное к жизни злыми силами, порождение ада. Он хочет спасти меня от чудовища. Маму и папу не хочет, а меня хочет. Мама и папа — рабы города, говорит он, покорные, добровольные и пропащие. Они умрут рабами, задушенные демоном. А я, ребенок, еще способна к другой жизни. И этот сквер он видит в разное время по-разному. То это загородная зона, то лесонасаждение за окружной железной дорогой, то перевал, за которым нас уже не настигнут. А скамейка — примета клада. Я сама как-то сказала ему, что у меня есть клад, что держу там свои детские волшебные вещишки. Зачем я это сказала? Это было еще весной. Ты меня ждал на той стороне улицы. Мы опоздали, и ты собирался уходить. Мне надо было его оставить, быстро что-нибудь придумать и отойти. Я посадила его на скамейку и сказала, что проверю свой клад. И всякий раз потом, когда мне надо было отойти и остаться с тобой, я усаживала его на скамейку и говорила, что мне надо проверить вещишки. К этому он относится очень серьезно, я никак не могу смириться с тем, что невольно или вольно обманываю его. Я его очень люблю. Ему бы надо куда-нибудь уехать. В деревню, скажем, в тишину, к птицам, воздуху, звездам. На него плохо действует многолюдство. Я не думаю, что он единственный такой в городе. Людей, выбившихся из обычных и привычных рамок, сейчас очень много. Скажем, наш сосед. Он каким-то образом узнал, что дедушка на кухне каждое утро затачивает свой ножичек особым камнем. Это — целое действо, ритуал. Это похоже на смотр войск и учения одновременно. Так вот, сосед узнал и постучал однажды к нам, я как раз была дома, и попросил позвать дедушку. Поздоровался с ним и говорит: для настоящей заточки вам не хватает сока молодой болотной осоки, желтой глины из карьера, что за шлаковыми выбросами литейки, тонкого речного песка, в котором после заточки надо сушить и выдерживать лезвие. Дедушка спросил, как он узнал про ножик и заточку. Пустяки, отвечает, у меня абсолютный слух, слышу ваши ежеутренние упражнения на кухне и улавливаю их неординарное значение. Все составляющие я вам принесу, кроме, разве что, осоки. А песок разогревайте в сковородке, так проще, до температуры тела. Он не должен быть горячим. Впрочем, все объясню и покажу... Они долго разговаривали и расстались друзьями. Но мама и папа против этой дружбы. Велели, если их нет дома, не открывать соседу, говорить, что дедушке нездоровится или что его нет дома. Они очень не любят соседа и не доверяют ему. Они думают, что он хочет нас обокрасть. Дело в том, что он почти год нигде не работает. С работы его выгнали. Но его любят дети, и он с ними днюет и ночует в логу за поселком. Там у них убежище или пещера, где они собираются, жгут костер, о чем-то говорят... Участковый только вчера у него был, предупреждал, что будет привлекать за паразитический образ жизни, но мать сказала, что он у них на иждивении. Странная семья. С женой у него полный разлад. Еще с зимы. Дома бывает только днем, когда жена на работе, мать кормит его, а на ночь уходит в свое убежище в логу. Даже зимой, кажется, там ночевал. Мне его жалко. У него такие грустные большие

глаза. При встрече он снимает шляпу и прижимает к груди, как в фильмах о старых временах. Дедушка зовет его Вадимом. Мне и Вадима жалко, и дедушку жалко. Но дедушку жалче. Еще влинет с ним в историю, все-таки за тем милиция приглядывает. После разговоров с Вадимом у дедушки стали появляться очень странные мысли. Временами он становится необыкновенно решительным и говорит, что если нам не удастся бежать, если они попытаются нас схватить (он говорит как-то особенно многозначительно), то он раскроет ножичек и вспорот горизонт. Он так и говорит: раскрою нож и вспорю, как брюхо протухшей рыбы, которая не успела выметать икру...

Вадим:

Он вспорот горизонт, как брюхо протухшей рыбы, которая не успела выметать икру. Представляете? Вы себе это представляете? Нет, други мои, славные мои, бедные мои, искренние мои, похоже, вы не представляете. Он вспорот горизонт, и в разрез, в разпор, в рану — как хотите — хлынет тьма внешняя. Что это такое — я лишь догадываюсь, я лишь кожей предощущаю омерзительность ее и холод. Она не звучит, за это могу поручиться. Она не звучит, в ней абсолютное безмолвие: ни угроз, ни обещаний, ни проклятий, ни призывов, ни вздохов, ни звуков готовящейся казни, ни шагов ключаря, ни бряка самих ключей. Молчание! Молчание! Ни звезд, ни пыли, ни волн, ни планет, ни космических Экипажей, ни летающих тарелок, ни жизни. Все сделается небывшим. Времени больше не будет. Оно упразднится... Ты плачешь, Нина? Не плачь, умоляю! Единой твоей слезинки не стоит моя болтовня. Это лишь возможность, приближенность, зависящая и от нас. Да, и от нас всех. Не плачь, Нина, вытри слезы, вот платок, он совсем чистый, только вчера взял дома. Если не хочешь, ничего и не будет. Или будет по-другому. Его разговоры о ножичке и горизонте — отблеск других слов, связанных однажды и навеки. Ему много лет, он фактически старик, он прожил жизнь и мог слышать эти слова, вполне мог слышать, хотя в обыденной жизни они звучат редко, все их не произносят: ибо, как молния исходит от востока и видна бывает даже на западе, так будет пришествие Сына Человеческого... Родители очень не любят, когда дети бывают со мной. Они ревнуют. Беги, если надо, не засиживайся. Прокопчешься у костра, и они сразу поймут, где ты была. Вот догорят щепки, и все бегите по домам...

Девочка:

Вот этот самый полуразрушенный коллектор, наш. Что-то типа подземной комнаты. Коллектор отключили года два назад, когда весной подмыло фундамент и часть блоков съехала в овраг. В получившуюся дыру может въехать «жигуленок». У костра, у самого входа в грот сидит Вадим Иванович, наш бывший трудовик. Рядом — Нина. Она еще не учится, ей шесть лет, живет вон в той блочной пятиэтажке, швы покрашены в зеленое. Нину каждую ночь изводят кошмары. Ночью она просыпается от явственного стона и тихого голоса, который зовет: «Ста-а! Ста-а!..» А потом раздаются глухие удары, словно кого-то бьют головой о стенку или обо что-то твердое. У нее нет ни одного знакомого по имени Стас, мы спрашивали, и у ее родителей нет такого знакомого, и у соседей нет с таким именем, она не знает, кому принадлежит взрослый мужской голос. Ей страшно, и она плачет. Все, кажется, испробовали. Показывали врачу. Посоветовали не ходить в садик и книг на ночь не читать. Только покой и отдых. А она, между прочим, в садик не ходит и читать не умеет. Говорят, это обыкновенный навязчивый сон.

А что такое обыкновенный навязчивый сон? А что такое навязчивый необыкновенный сон? Вадим Иванович понимает ее и жалеет, у него ведь абсолютный слух, но даже он не слышит этих голосов. Он говорит, что голоса и стоны, наверное, идут с какой-то очень большой глубины. Он гладит ее по голове и говорит, что пусть больше слушает колокола, звон колоколов разгоняет чужие голоса. А вон мальчик ломает ящики и подбрасывает в огонь. Его зовут Петя. Петр. Ящики он берет у продуктового, их там целая гора и, похоже, они никому не нужны, лежат и гниют. Он учится в третьем «в» нашей школы, зовут Марсианин. У него на голове тонкая металлическая сетка. Видите? Если приглядеться, то можно увидеть. Не снимает ни днем, ни ночью, чтобы не слышать эфир, не принимать радиостанции. У него что-то с головой, она работает, как приемник, который никогда не выключается. Говорят, это у него с рождения. Маленький, он все плакал, не переставая, а когда стал ползать, все старался засунуть голову в ведро или кастрюлю. И так только успокаивался. И лишь потом кто-то догадался сделать ему проволочный экран. Христина из другой школы, не из нашей. Она не выносит дневного света и все время в темных очках. В коллекторе она бывает чаще других, здесь полумрак. А вот Лягушонок. Имени не знаю. Между пальцами рук перепонка, как на лапах. Должен ходить во второй класс, но не ходит. Над ним там смеются. Занимается с репетитором. В самом дальнем углу сидит Юра, он из интерната для дефективных. Очень грустный мальчик. Смотрит перед собой и все время что-то бормочет. Его лучше ни о чем не спрашивать, а то потом не остановишь. Будет говорить и говорить. Вадим Иванович думает, что Юра боится какого-то одного вопроса, который ему могут задать. Вот он и старается сразу заговорить собеседника. Еще сюда приходит Лена, ее сейчас нет. Она почти совсем взрослая. В классе шестом-седьмом. Она не может есть ртом, ее начинает тошнить от любой пищи. И она научилась есть носом. Только жидкое, конечно. И нос у нее, естественно, сильно изменился. Фиолетовый с прожилками. Обзывают ее Пеликаном. Недавно стал приходить мальчик со светящейся губой. Да, со светящейся нижней губой. Я раза два только его видела. А вот пришел Рафа, у него нет части костей черепа, и сзади образовался мягкий нарост. Мальчишки его не берут с собой играть и называют Грыжей. Других не знаю, не успела познакомиться. Из взрослых здесь бывают только милиционеры. Они придираются к Вадиму Ивановичу. Они не понимают и никогда не поймут, что такое абсолютный слух. А нам он много интересного рассказывает. Что сейчас, например, очень расти траве тяжело, она выбирается из земли с тоненьким жалобным писком, как комар. Что облака ползут по небу и кричат друг другу о болях в животах. Что шелестит и рассыпается озоновый слой: похоже на сожженную бумагу. Что взрослые, почти все, скрипят во сне зубами. Еще он слышит, что каждому из нас, приходящему к нему, мешает жить, быть здоровыми и понимать происходящее, советует, как поступить, что сделать, чтоб стало лучше. Мне, например, посоветовал, пока мы живем в этом районе, не гулять после заката по улице. Сумерки и дым заводских труб создают фон, от которого у меня болят зубы и могут со временем развиться судороги. А пока только болят зубы и покалывает в затылке и кончиках пальцев. Так что я побегала. А вы, если хотите, оставайтесь. Поговорим с Вадимом Ивановичем, он не откажет. С ребятами. Для вас это будет интересно. Он куда не торопится. Он тут и ночевать останется. Видите старый матрац? Кто-то выбросил, а мы ему принесли...

Старик:

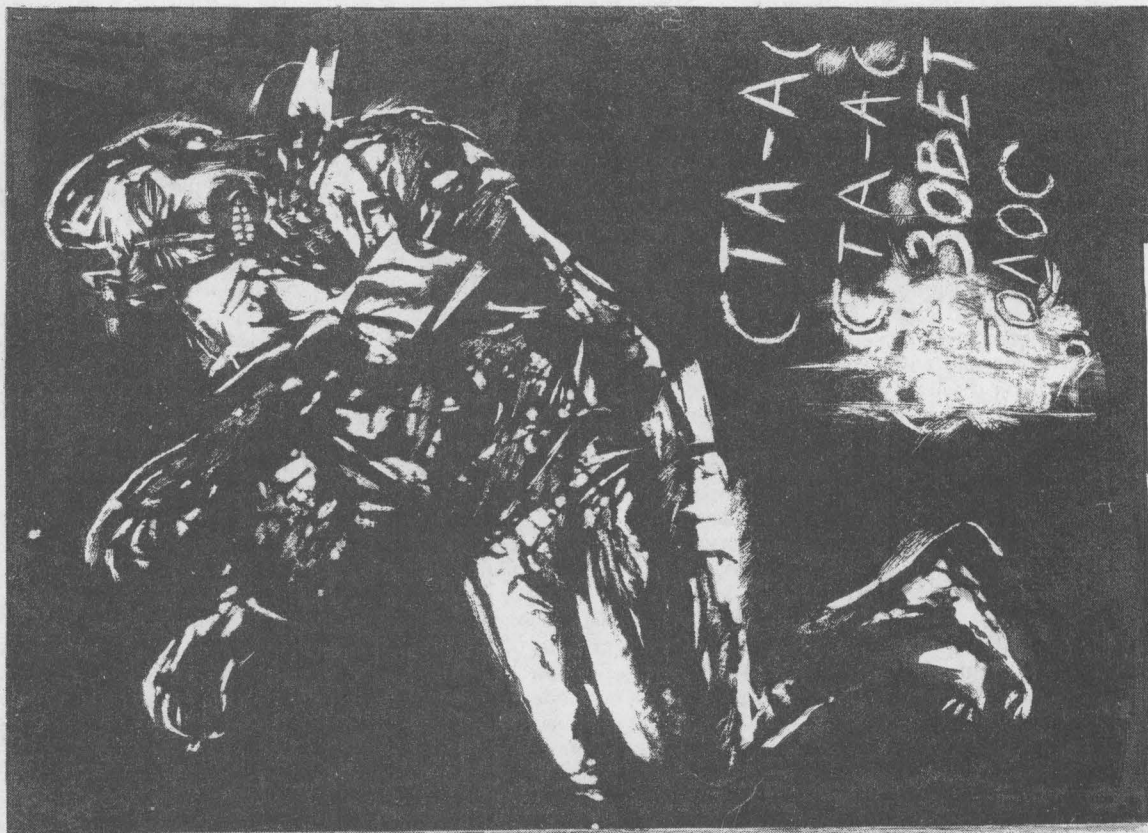
Смотрю в зеркало. Я ли это? Не обманывает ли стекло? Я вижу зеркало, но видит ли оно меня? Ты стоишь рядом со мной, оба мы отражаемся в зеркале. Но если тебя с превеликим трудом но узнаю, то себя узнавать отказываюсь. С некоторых пор зеркала стали лживы. На них нашла какая-то порча, их исказил химический дефект воздуха. Тебя они изображают взрослой, выросшей, с преувеличенной асимметрией черт, от которой ты еще милее. Но если и в моем присутствии зеркала осмеливаются недоговаривать и привирать о тебе (о, привирать весьма лживо, надо отдать им должное!), чье младенчески юное лицо я вижу ежедневно и еженощно даже в подземной темноте своих век, то обо мне они врут беззастенчиво. Я знаю, что жизнь не красит человека, но так уродовать может лишь могила. Этот желто-серый, готовый отлететь при первом дуновении ветра пух — моя шевелюра? Этот перезрелый и вялый, оставленный на семена огурец — мой нос? Губы, которые срезали у недельного покойника и прилепили к моим деснам, — мои губы? Шея — отвратительная морщинистая шея черепахи — моя шея? Глаза, подернутые иглами замерзания, — мои глаза? Врешь, проклятое! Врешь, окаянное! Ты — и х голографический фокус, и х глумливое изобретение. Лишь ртутная тяжесть в конечностях неподдельна, тут в ы преуспели, спору нет, все же остальное — злой морок, ваша злонамеренная ворожба, энергетические пассы, рассылаемые вами на частоте радиоволн. Против воли обрядили меня клоуном, наложили чудовищный грим и вытолкнули на арену. Но это не значит, что я буду вас убаюкивать и кланяться вашим аллодисментам. Одурачить и высмеять — вот ваша цель. Распознать вас и не поддаться — требует известной смекалки и немалого душевного напряжения... Они пытаются убедить меня, что ты, мой ангел, уже не ребенок. Галлюцинации имеют силу реальности. Но и там, в воображаемом, выдернутом из благословенного факта своих детских лет, ты необыкновенна. Тут даже они, ампуторы и вивисекторы, бессильны. Ты прорываешь геометрию и х города, как камень, брошенный в паутину. Но кое-что им все-таки удалось. Они пристроили возле тебя какую-то образину, ухажера, который не отступен и нестерпим, как всякая пошлость и усредненность. Как ты терпишь его? Рот его, обращенный к тебе, как раструб работающего, судорожно-неспелого огнетушителя. Он заливает всю тебя химической пеной болтовни, он топит тебя в ней. Я не различаю слов, но могу угадать их суть. Я силюсь предупредить, я шепчу тебе спасающие слова, но, похоже, ты не слышишь. Какие-то хмарь и мление мысли. Ты даже изобрела способ отгораживаться от меня, от моего докучливого присутствия (понимаю, это кошмар перегретого мозга, химера воображения, но отогнать никак не могу). Ты незаметно вынимаешь из моей руки свою руку, вкладываешь взамен тонкую летнюю перчатку и легким прикосновением губ к моей деревенеющей щеке посылаешь меня вперед, вперед по песчаной дорожке гнусного сквера. И я вдруг вижу, что вновь напрасными оказались усилия, мы никуда не убежали, нас и на этот раз одурачили. Я иду. Включаюсь в игру и иду, беседую с перчаткой и понимаю, что это всего лишь чары, всего лишь майя, как говорят индусы. Не надо только показывать, что понимаешь. Иду, улыбаюсь и беседую. Присядем, говорю я перчатке. Вот на эту скамейку. Я достал из тайничка, из-под «Зеленого корня», где ты прячешь свой клад, вот этот ножичек в футляре из кожаменителя. Извини, что сделал это, не сказав тебе. Время не ждет. Один человек научил меня заточивать этот нож, фантастический нож, что и говорить. И человек совершенно необык-



новенный. Ты его видела, он пару раз заходил к нам. Этот человек — один из немногих, кого им не удалось обработать. Покровитель уродов и дураков. Они собираются за поселком в каком-то овраге, сползаются туда, как улитки, в лужу. Он рассказывает им, что услышал за прошедшую ночь. У него невероятный слух — следствие аллергии. Он слышит, как звенят и ломаются о стекла окон звездные лучи, как крадется на цыпочках злая мысль, как выбирается из земли измученный ядами росток, как ангелы натягивают спасающий покров. Я знаю мальчика, который бежит к нему в овраг. Может, и ты его знаешь. Черненький и худой. Боящийся глаза. Все время что-то шепчет. Но главное — глаза. Их невозможно забыть. Словно в них по разу ткнули иглой, и в проколы свищет страх. Случайно я знаю его историю. Подслушал. Вернее, услышал. Вышел из квартиры (иногда я ухожу, и никто из вас этого даже не замечает) за подорожником и осокой. Путь неблизкий, ты знаешь. За кладбищем лог и поле. Там, в логу, растет осока, а по краям полевой дороги — подорожники. Вышел из подъезда, поздоровался со старушками, самыми безнадежными рабынями города. Им позволено беспрепятственно выходить на прогулку в теплые часы, дойти до магазина (их бедная, лишенная чудес Мекка, пункт ежедневного унылого паломничества), подержаться за стену дома или тощее деревце, которое никогда не войдет в силу (о н и стригут не только ветки, но и корни, когда устраивают ловушки-пустоты под асфальтом). Старушки обсуждали случай, и ухо мое, помимо воли, стало свидетелем. Не ошибусь, если скажу, что случай этот, став достоянием слабых старушечьих сердец, одним пинком своей козлиной ноги выплеснул из них месяца по два, по три жизни. Одного подонка звали Стасом, он работал в бойлерной, кажется. Сколько раз я тебя предупреждал: не

бегай возле бойлерной, не заходи туда с мальчишками и девчонками, не надо ни подшипников, ни медных трубочек, я достану подшипников и медных трубочек, если надо, хоть вагон. Другого не знаю. Умер. Подох. Говорят, вскрыл себе вены в следственном изоляторе. И подох. Они купили кулек конфет и заманили мальчика в бойлерную. И надругались над ним. Ты пока не знаешь, что такое «надругались», и я молю Бога, чтобы никогда не узнала. Есть вещи, которые непоправимо меняют состав человека. Он как бы перегорает. Был нормальный, веселый, певучий — и вдруг сторел, перегорел. Ты не знаешь, маленькая, а между тем город все больше напоминает пустыню. Жизнь бьется и трепещет на его улицах, но готова в любой момент отлететь. И это их работа. Что-то вокруг происходит, ты чувствуешь? Что-то мельтешит и неуловимо снует в пространстве, какие-то токи то холодом, то жарой обдают сердце. Мне кажется, это хозяйничает легион. Город приютил его. Но тем самым город своими косматыми лапами сгребает на свою голову пылающие угли. О, как хотел бы я вынуть из чехла этот замечательный ножичек и чиркнуть им по холсту, на котором мутными красками намалеваны это песье небо, этот песий вечер. Малышка, видишь ли ты то, что вижу я? Солнце захлебывается в грязной пене, в сгустках дыма, что вязкой фекальной массой прет и прет из десятков, из сотен раздутых от натуги испражнения труб, из разинутых фрамуг — их миллионы! — из фрамуг бесконечного цеха, где варят, парят, жгут, отливают, остужают, сплюсчивают, прокатывают, вытягивают, режут, куют. А солнце захлебывается и тонет. По всему видать, ему не выдюжить, его потопят, его изо всех сил тянут за ноги вниз, за крыши, за горизонт, на дно. Из того отравленного металла, который обрабатывают в цехах, и качели в нашем дворе. И ты, неразум-

Вот... это... и...
...то... ...
...тогда...
...тогда...



ная, забирались на них, и тебе нравился их визг и хохот. Те качели не сопряжены людской жизни. У них свое время, свое нечеловеческое бытие. Они зло вскрикивают, когда малыш пытается расшевелить их (бедный! — он не знает, что такое качели из доски, веревки и толстого сука, в котором живая сила напрягшейся руки, богатырского предплечья дерева, те качели сами нетерпеливо и одновременно просятся в игру, они податливы, уязвимы и временны, как сам человек). Рассказывали, что девочка у нас во дворе упала с качелей — с типовых, металлических, именно с этих казнящих качелей, которые опасны и капканысты, как сам город, — ударились затылком — и смерть. Бедная девочка, маленькая мученица городских, подманивающих на расстояние удара аттракционов... А грязь! Несравненная городская грязь, что разубралась, разделась невестой в бензиновые разводы, в радужные цветы. Она, камелия, зазывает усталую ступню: сюда! сюда! ступай смелее! окунься, успокойся, найдешь прохладу и забвение дневных, прилипших к тебе километров (лечебные грязи, грязевые ванны — не мои ли сестры?), я чмокну и обойму, я обтеку и подлажусь, приму любую форму, я податлива и терпелива, я сладострастно покорна, я — твоя, а ты — мой. А вот бессмертные, всепогодные, круглосуточные экзекуторы ковров и паласов, они стреляют узорчатymi, плетеными, удобными для руки орудиями пытки на весь околоток. По закону города они безжалостны, и выстрелы рикошетом летят от стены к стене, чтобы наконец еще и еще раз продырявить мне голову, чтобы убить еще какую-то часть меня. Темнеет. Пробои окон, возникающие во мгле, решают ночь, превращают в рубище и без того ветхий; некогда царский ее наряд. Стемнело. Но если я выну ножик, раскрою его, освобожу лезвие — сталь от стали, блеск от блеска волшебного меча-каденца,

то погибнут и правый, и виноватый. Как отделить? Как просеять? Вадим говорит: не надо, не берите на себя неподъемное, оставьте до жатвы. Но тогда для чего я затачивал много дней эту сталь?

Директор:

Вы хотите знать мое мнение? Пожалуйста. Я, как администратор, не только не раскаиваюсь в принятом решении, но и считаю его возмутительно мягким. Не забываете, мы имеем дело с детьми, нашим будущим. От того, как мы воспитаем, как образуем их, будет зависеть и наша с вами дальнейшая жизнь. Да, да, мне совсем не безразлично, как пойдут у нас дела, когда я буду на пенсии. Надо было сдать его психиатрам. Это в лучшем случае. А мы преспокойненько дали ему уйти по собственному желанию. Этот ублюдок — можете ему так и передать, я и в глаза скажу — смутил многие умы в нашей школе. Особенно юные, которые еще не способны анализировать, отличать добро от зла, правду от фальши. Вы все ждете, что я назову конкретные факты? Хорошо. В ноябре мне стало известно, — только не подумайте, что я это культивирую, ребята сами пришли и рассказали, у нас все-таки есть еще здоровые силы в обществе, есть актив, пионеры и комсомольцы, которые обладают трезвым взглядом и не дают впутывать себя в сомнительные истории, — так вот, в ноябре мне стало известно, что этот, с позволения сказать, педагог в подсобном помещении (там хранятся инструменты, готовая продукция ребят: тумбочки, табуретки, журнальные столики) мыл ноги ученикам. Да, да! И это во время урока. Мы тоже кое-что читали и знаем, откуда эти умывания. У меня буквально волосы встали дыбом. Первая моя реакция была такова: ребята пошутили, разыгрывают. Но они предложили мне самому сходить и удостовериться. Пошел и посмотрел. И что же? Идет урок, ребята пилат, строгают, режут, шпа-

клюют, а он в подсобке, среди валом наваленных до потолка табуреток, стоит на коленях, бормочет какую-то ахинею и моет ноги двоечнику Горлову. Лицо залито слезами, губы дрожат (не у Горлова, естественно), лоб в древесных опилках. «Вадим Иванович, что это такое? что за цирк? Объясните!» Он даже не встал, не смутился и говорит: «Лев Наумович, я, конечно, скажу, зачем я это делаю, но вы ведь все равно не поймете». «Вы скажите, сделайте милость, а я уж как-нибудь напрягусь». «Хорошо... Я гордый человек, Лев Наумыч, очень гордый. Я — сын своего времени и своего деградирующего народа, своего обманутого народа. Я — плоть от плоти нашей педагоги, которая есть гордыня, помноженная на скудоумие. Мы, так называемые учителя, убили уже миллионы душ. Мы продолжаем убивать и калечить. И я решил положить этому конец. Кто-то должен сделать первый шаг к смирению. Настоящий учитель никогда ни перед кем не гордится... Долго рассказывать, как я пришел к такому выводу...» «Смирение, говорите? Вы отдаете отчет своим словам? Может, вы больны? Сходите в медпункт, пусть Вера посмотрит вас, смеряет температуру». «Спасибо за заботу, Лев Наумыч, я здоров». «Хорошо, тогда я с этой минуты отстраняю вас от работы и ставлю вопрос перед педагогическим советом. Сегодня же. Отчитаетесь перед коллективом и объясните свою линию поведения». Нет, я рад, что мы от него избавились. И в коллективе такое же мнение. Можете спросить. В целом у нас неплохой коллектив, много сильных и заслуженных преподавателей. Работа методической секции признана лучшей в городе. Есть и свои маяки. Хотите взглянуть на альбом?

Старик:

Все промахиваюсь мыслью, все не могу понять, что происходит со снегом, который выпадает на город зимой. Школьное объяснение — тает. О, эти школьные объяснения! Эти чумные бактерии, которыми в специальной пыточной, именуемой классом, заражают детей. В одно слово учебника учитель способен замуровать пространственно-временной зигзаг вселенной. Он разыгрывает из себя Творца, лицедей и обезьяну. Малышка, ты не пойдешь в школу, обещаю тебе. Надо очень не любить своих детей, чтобы отдавать их в школу. Я буду сам печь тебе пышки из сладкой пыли, что плавает в лесном солнечном луче. А пить ты будешь росу, что сбегает с лепестков в час тумана, утреннего солнца, и освобождения от ночи. Птицы обучат тебя пению, бабочки — движениям, белки и куницы — языку зверей, деревья и трава — языку растений. Ты постепенно поймешь письменные звезды и научишься обращаться к небу. И тебя никогда не будет мучить вопрос, куда уходит зимний снег из города. Я давно попался к ним на крючок. Я болтаюсь на тысяче нитей, которыми гнусные лилипуты привязали мой мозг к этому некрополю, к этому узилищу. Приходит зима, и я в сотысячный раз обманываюсь надеждой: может, на этот раз она остудит лихорадку, снимет иссушающий жар с его бескровных ланит. Мерзкий, он поднимает рыло и рычит в снежную темноту и пустоту. Первый снег обращается в грязь, в воинственную и наглую уличную грязь, что шепелявит и гоняется за колесами, цепляется за каблучки, вскакивает на портфели, сумки, подошвы плащей и пальто. Но вот стеклянное копыто мороза вонзается прямо в хлопотную, влажную, цепкую, всепроникающую, жирную смазку. Щелчок невидимых пальцев, сдвиг природных первопричин — и под ногами камень. Тьма летающих, филигранно сработанных звезд плывет по воздуху, наслаивается, ткет сплошное и чистое. Вот плат и покров, одеяло и полотенец — утрись! Но только швея откинулась на спинку стула передохнуть, только перестала мелькать в ее пальцах

игла, больной и порочный, перегорающий в похмелье и рабочем надрыве, ты снова выхаркнул забившие бронхи пепел и сажу. Дрожащей, неверной рукой, скрюченной пятерней своей ты сгреб брачную одежду, в который раз отвергая приглашение. Всякий раз по весне ты, город, неряха и люмпен, безглаголю сдвигаешь на обочины сугробы отвергнутых, отброшенных одежд, отвергнутых и зараженных твоими выделениями. Сработанные из совершенных кристаллов, покровы эти гниют и чернеют. Ты, великий пачкун и осквернитель, надеялся смешать белизну и грязь, снег и свои испражнения. Так и было бы, будь зима вечной. Но ты, изворотливый, все бьешь мимо, все попадаешь не в такт. Чуть выше поднялось солнце, и тебе осталась грязь. Твоя грязь. Завернись в нее, плотную и блестящую, ядовитую и радиоактивную. Это тебе и на выход, и в могилу. Лови, расставляй руки Шивы, не упускай ручьи, в которые, сказочно ударившись оземь, перекинулись снега и покровы. Но где тебе, козлоногому! Я видел толстые решетки на окнах, что зияют среди асфальта ближе к тротуару. Туда устремляются весенние грязные воды. Они пройдут по твоим осклизлым вонючим кишкам и рано или поздно, процедившись сквозь травы, песок, камни, палую листву, подземные отстойники, очутятся в широких теплых водоемах, в игристых ручьях, откуда идет возгонка прямо в небо. Дай руку, хрупкая, придвинься. Наступает время прощания. Несчастные. Вам оставаться. Ущербные потомки Каина, вам оставаться, вам быть рабами его дитя — города. Говорят, от тесноты курятника, от сжатости отведенного им пространства куры теряют покой, присущее им миролюбие, отыскивают слабейшую и заклеивают ее до смерти. И вы закроете друг друга. Начнете со слабейших, а кончите тотальным людоедством. Став жертвами первого искушения, соблазнившись хлебами, вы не получите ничего. Это в лучшем случае. Вы оттянете подошвы, ожидая манны, а туда упадут змеи. Вы заплачете, а ответом будет хохот.

Автор:

Этот эпизод произошел зимой. Кажется, в феврале. Снег валил с редкими перерывами. Город напоминал человека, которому на флюс наложили толстый ватный компресс. Вадим позвонил в дверь. Открыла мать. «Вадим! Вадим! — она схватила его за рукав пальто. — Снова плохо, да? Лица на тебе нет и красные пятна, сыпь. И рвет, наверное, опять, да? Вот вода, пей. И поди высморкайся, не нос, а хобот». Она потащила его на кухню, выдвинула из-под стола табурет. «Может, лучше молока? Сейчас согрею. И меда туда добавлю». «Не надо, мама, Люся не приходила?» «Люсю вызвали. Проверяет больных. Ну, рейд по больным, которые не закончили курс лечения и бросили, не стали лечиться. По самым окраинам города. Раньше одиннадцати, говорит, не жди». Она взяла его за руку. Они сидели за столом. Она положила его ладонь на свою и прикрыла сверху ладонью: красная мокрая пятерня меж двух карих скорлупок. «Может, нам уехать, Вадим, а? Хотя на время. На работе тебя отпустят. (Разговор происходил за несколько месяцев до увольнения Вадима.) И Люся не будет возражать. Она вся ушла в работу. Поедем в Крым, поживем, отойдем от суеты. Там в это время безлюдно. И все аллергии пройдут». Позвонили. Он вскочил: «Это Люся!» Когда у него не было насморка, он безошибочно определял, где и с кем была жена. От запахов начинали чесаться ладони и ступни. Хуже всего, когда начинали чесаться ступни, а надо было идти на работу. Тогда он передвигался подскоками, ломая шаг, выворачивая ногу в лодыжке. Теперь насморк избавил его от чесотки, но взамен невероятно обострился слух. Помогая жене снимать шубу, он слышал, как от

ворсинок шубы и волос жены струится получасовой давности дым «Казбека». Этот тончайший звук был лишь эхом того звука, что издавали мужские губы, выпуская дым — пф-ф... «Видишь, Вадимушка, мне удалось отвертеться пораньше. Ты рад? Ох уж мне эти старухи окраин! Пока достучишься, пока разгоят собак... У тебя какие-то больные глаза. И нос распух. Сегодня не рвет? Сейчас полечу, потискаю. Есть хочу страшно, но на ночь не буду. На ночь — это преступление. В ванную! Ты приготовил мне ванную? Намерзлась! Мама, вы белье убрали? Вадимушка, ложись быстрее, согрей норку». У него горело лицо. Он смотрел на нее, на ее яркие губы, на глаза, густо подсиненные, и между произнесенных слов слышал отзвук непроизнесенных, живущих в глубине гортани, в последний момент зацепившихся за голосовые связки и неровности нёба. Это были недоноски мыслей, которые она сознательно умерщвляла: опять эти прыщи, паршивые волдыри! сизо-красная груша носа! в ней пригоршня соплей! и потные руки, потные холодные пальцы! лучше жабу пустить под лифчик, сколько можно притворяться, надо сказать, надо сказать... «Вадимушка, ну что ты стоишь столбом! В себя прийти не можешь от радости, что рано вернулась, да? Беги, беги, расправляй постель, я через пять минут...» Он вытащил из шифоньера свитер, лыжную куртку, теплые броджы, вязаную шапочку, быстро оделся и открыл окно, чтобы не проходить мимо кухни, не объясняться с матерью. Отодвинув фикусы, встал на подоконник, а потом на пожарную лестницу. Он спрыгнул в сугроб. Мигал болтливыми окнами микрорайон, фонари гудели сварочным светом, дернулась и зазвенела струна провода, сбросив снежный канат. Свобода, эта гулящая девка, готова была пойти с ним куда угодно. Вадим шагнул, подстраиваясь под легкую иноходь спутницы. Иногда он поднимал глаза и видел, что бодающие небо трубы выполняют двойную работу: выпускают питонов — пожирателей звезд, и незаметно, в краткие промежутки между выпыхами дыма, всасывают невидимую потенцию жизни, краски и образы сновидений, что питают детские души, тонко формируют сердца. Они всасывают потенцию жизни, а дети мечутся в кроватках, напрасно хватая иссохшими жабрами пустое пространство: там только кошмары да змеи, глотающие звезды.

Старик:

Видел собаку. Болонку. Их несметное множество в городах: бездомные и голодные, мелкозубые и незрячие из-за неряшливых чело — бегущие грязные мочалки. Каждый из нас похож чем-то на ту собаку, за каждым тянется что-нибудь позорное, физиологическое, непонятное, враждебное и в то же время плоть от плоти, кровь от крови. Иногда мы теряем контроль над собой, теряем самообладание иставляем линзу воспаленного внимания и беспокойства именно на определенное место: болезненный отросток, гнойная язва, незаживающий рубец. И начинаем с утроенной ненавистью охотиться на этот изъян, предпологая в нем причину всех своих бед. И стая, которая всегда рыщет у переполненных урн, набрасывается на нас. Кто виноват? Бедные, бедные! Мы думаем найти счастье, думаем обрести покой и довольство. Его здесь нет. Его на этом свете нет. Как обманул нас сказавший: человек рожден для счастья, как птица для полета. Человек не рожден для счастья, но для скорби, для испытаний и анатомических унижений нелепостей. Ангел мой, свет мой, я виноват перед тобой. Я много раз задавался вопросом: почему я не ровесник твой, не брат тебе и не сестра? Мы вместе бегали бы по земле, баловались и радовались ослепительным радостям детства. Но судьбе угодно было выпустить меня на беговую дорожку

много раньше. Пистолет выстрелил, акушерка хлопнула меня по попке за тридцать, сорок, пятьдесят лет до твоего рождения. И вот я превратился в твоего наставника. Неумолимым ходом событий я стал твоим наставником, якобы знающим, что такое хорошо и что такое плохо. И мне, твоему наставнику, твоему старшему покровителю и охранителю, приходилось наказывать тебя. Раб иллюзий, я считал себя обязанным это делать. Я был рекрутирован для этого судьбой и сроками, я присягнул, и мне выдали мундир моего дряхлого тела, моих теперешних лет. Где ты, говоривший о счастье и птицах? Слава твоя с шумом погибла, а петля лжи все еще стягивается под нашими подбородками. Заповедь новую даю вам — да любите друг друга. Сколько раз, малодушный, я приглядывался к этому кресту, намеревался взойти на него, сколько раз, кромешник, я прытко отбегал в сторону, как только замечал, что подходит моя очередь, что окружающие ждут. Любил ли я тебя? Праздный вопрос. Любил, люблю и буду любить. Делал ли все это из любви? Да, и только из любви. Тогда почему так скорбит и ноет сердце. Тогда почему неумолчный сверчок скрипит и скрипит во мне, вытягивает своим смычком остатки сил и разума? Видишь, я встаю перед тобой вот так, прямо в пыль, и мы уравниваемся в росте. Обними меня и прости. Обними и шепни, открой тайну, не потому ли в будущем, которое только еще наступит, ты станешь отправлять меня на прогулку со своей перчаткой, а сама останешься с тем, кто, как ты думаешь, никогда не предаст тебя? Не потому ли, что я любил тебя и так жестоко понимал долг любви, ты не можешь избавиться от непростения, хотя сердце твоё рвется ко мне с прежней силой? Кто же тогда умеет любить и не причинять при этом боль любимому? Как же любить незнакомого ближнего, если даже любовь к родному не обходится без увечий?

Следователь-врач:

Для чего существует власть? Власть существует для власти. Кому служит власть? Власть служит только власти. Политика — мораль власти. Что такое власть? Это материализовавшееся ХОЧУ и МОГУ. Власть — безусловная иллюзия рядом с вечностью. Власть — безусловная реальность в конечном мире, в котором мы живем. Потому земная власть, стремящаяся к абсолюту, предпочитает атеизм любым формам религии: чтобы не делиться с Творцом всего сущего. Среди прочих наслаждений наслаждение властью наиболее заманчиво, предпочтительно и универсально, мы бы сказали: наиболее комфортно. Не все имеют вкус власти. Вы — один из таких. Не имея желания властвовать даже в малом, вы и властям подчиняетесь без особого желания. Но это куда ни шло, с этим мы могли бы мириться. Вы проповедуете смирение. Но смирение не перед властью, что было бы для всех нас благом, а смирение перед надмирным нечто, чему и сами не можете дать определения, что сами не в силах описать. Этой проповедью вы выводите человека из-под власти реальной, делаете эту власть сомнительной и как бы необязательной. Если учение ваше станет массовым, массы уйдут из-под нашего контроля, из-под нашего влияния. Этого мы допустить не можем. Без народа, без массы власть теряет смысл, как теряет смысл бич без стада. Может ли народ без власти? Мы глубоко убеждены: нет. Народ, люди — это неразумные дети, им нужна нянька, которая бы разводила дерущихся по разным углам. Человек несовершенен, человеческая скверна, человеческие пороки — благодатный навоз для власти. Совершенный человек не нуждается во власти. Мы не караем за проступки. Мы лечим. И, как понимаете, ампутация тоже есть акт лечения. Предвидим

вопросы, а потому кое-что уточним. Мы получили заявление от человека, имени которого не называем. Он жалеет, что не сообщил нам раньше, хотя факт, о котором он сообщил, был известен ему давно. Этот факт и лег в основание нашей беседы. Да, Вадим Иванович, это то самое омовение ног. Будучи учителем средней школы, вы мыли ученикам ноги, объясняя это высшими гуманными соображениями. Омовение ног — лишь начальный этап в широкой программе смирения, к которому вы призываете. Это лишь начальная ступень борьбы с гордыней, которая, как вы считаете, поразила общество и ведет его к гибели. Мы не разделяем вашего пессимизма. Более того, мы считаем эту точку зрения крайне вредной. И не только по причинам вышеизложенным. Сознательно или бессознательно вы играете на руку преступному миру, развращаете непротивлением злу и смирением, готовите жертвы для насильников, хулиганов и шантажистов. Если и сейчас, уже не являясь штатным школьным сотрудником, вы продолжаете нелегальную работу с детьми, просим вас это немедленно прекратить. Это в ваших же интересах. Никаких контактов с детьми. Тем более что вы морально не безупречны: ушли из дому, оставили жену, мать. Наш совет: возвращайтесь к семье и перестаньте распускать о себе слухи, будто изобиливающая в обществе ложь вызывает у вас усиливающиеся аллергические процессы. Это совершенно антинаучно. И это вы понимаете. Примерно так же начинал Голубев, известный теперь под кличкой «Прыщ». Он всем говорил, что пережил видение, которое перевернуло его жизнь. Якобы явился ангел и сообщил ему: или он немедленно гибнет и не будет иметь прощения за свою нечестивую жизнь, или ему даруется жизнь и искупление, но ценой невероятных страданий за всякое зло, чинимое в городе и округе. Уже потом, как нам стало известно, он утверждал, что вместе с ним должен был погибнуть и город, что жизнь города куплена его страданиями, потому вместе с его смертью должен наступить конец города и, может быть, всего мира. Эта лживая выдумка пришлась по вкусу легковверным, ей способствует наличие у Прыща кровотоочивых язв, его крики, стоны и конвульсии, словно он и впрямь корчится от невыносимых мук. А ведь он был обыкновенным алкоголиком и развратником. Вы можете спросить, почему мы его не изолируем, не аннигилируем?... По решению властей. Да, да, власти хотят, чтобы это чудовище, эта пародия на человека служила целям назидания. Люди должны видеть, до чего может опуститься человек, когда он проповедует смирение. Вы ведь не будете отрицать, что его доктрина, если ее принять на веру, есть высший акт смирения: нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. Кроме того, по замыслу властей, он должен выполнять так называемую компенсирующую функцию своим отталкивающим видом, струпами, гнойниками, каплями крови, которые падают на асфальт и в пыль. Каждый, глядя на него, поймет, сколь мелки его частные беды и невзгоды по сравнению с этим вопящим куском мяса. Как видите, власть умеет использовать в своих целях и совершенно чуждые, вредные ей элементы. Однако это не должно быть для вас утешением. Заверяем вас: вас ждет совсем другое. Обдумайте наши рекомендации. Вряд ли вы способны излечиться, но жить вы вполне можете. Живут и больные, не так ли?

Вадим:

От него исходит постоянный надрывный и чаще всего не слышимый простым ухом красный стон. Они врут, что держат его ради поучений и назидательности. Они боятся, а потому терпят его чудовищное есть. Они боятся и верят, что его пророче-

ства могут сбыться, что с его кончиной что-то безвозвратно надорвется в мире. Он, пасквиль на человека, изощренная насмешка над образом Божиим, продолжает слоняться по городу, прошивая его улицы, как гвоздь, брошенный в тину. Глаза под багровыми гноящимися веками точатся слезами, руки, грудь, ноги — ошпаренное, обваренное кипятком мясо. Дети, когда случайно выскакивают на него (точно так же выскакивают на проезжую часть за мячом, не помышляя об опасности) впадают в столбняк или заходятся в крике. Слышал и о женщинах, с которыми приключается истерика. И о выкидышах. Да и не все мужчины способны созерцать его. Чем живет он, где живет, что пьет и ест — неизвестно. Похоже, не пьет и не ест, рассчитывая этим укоротить себе жизнь. Напрасно. Похоже, беднягу, поддерживают какая-то потусторонняя энергия, какие-то эзотерические источники. Вероятно, в нем перегорают беды и злоба города. Перегорают, естественно, в крохотной своей доле. Иначе он бы мгновенно испарился, превратился бы в энергетическую вспышку. Прыщ, в прошлом Голубев (имя, отчество, род занятий, возраст — все в темноте, в неизвестности), видом своим и стоном невольно изобличил и проклял всех, кому, как гласит молва, ценой страданий купил временную жизнь и отсрочку для покаяния. Желая спасти, — вот еще одна антиномия! — проклял. В этом повинны, надо думать, слепая ненависть боли, нерассуждающий шок: в чем тут его вина? Недавно видел, как ранним вечером (солнце только что ушло за высотный дом) он сомнамбулически закатился на летнюю танцплощадку, отшвырнув билетершу волной зловония. Многие юнцы и девчонки прыснули к выходу, зажимая носы и уводя глаза в противоположную от него сторону. Играл магнитофон (ни одна группа музыкантов не смогла бы выдержать ритм и мелодию в его присутствии), звучала сравнительно спокойная музыка, но было видно, что каждый звук впечатывается в его изъязвленную кожу, в его толстые ребра, что он вздрагивает, словно к невидимым клеммам на теле подведен ток. Человек пять пьяных верзил, вооружившись штакетинами, ворвались на танцплощадку и стали охаживать его. Звук от ударов был влажный и чмокающий, словно били по парному мясу. Многие слышали, как он застонал, но один я различил, что это был стон облегчения: ему по-прежнему казалось, что таким примитивным способом он может избавиться от жизни. Я был рядом и бросился на помощь, хоть и чувствовал, что мое заступничество будет ему не по душе. Когда я выволок его с танцплощадки за худую, покрытую фурункулами руку (и мне досталось штакетиной на закуску), он мычал понятное лишь ему и мне: зачем? зачем? пусть бы они убили меня! Я усадил его в траву среди густых кустов, что за танцплощадкой, и попытался узнать хотя бы имя и адрес. Он приподнял голову, собираясь ответить, но передумал. Однако я уловил погашенное в горле: Стас... Я сказал, что он, если желает, может использовать для ночлега наш коллектор. Я объяснил, как туда попасть. Он ответил отстраняющим жестом. Не поднимая головы, нетерпеливым жестом измученного человека он отсылал меня подальше. Я повиновался. Я шел, оборачиваясь на его скрюченную в кустах фигуру. В песочнице у дома играли двое мальчишек и что-то между собой не поделили. У одного оказался обломок пилки по металлу, он полоснул им по лицу другого. Тот схватился за подбородок, из-под пальцев потекла кровь. В тот же момент Прыщ, то есть Стас Голубев, схватился за подбородок и вскрикнул. Совпадение? Но они не видели друг друга, даю слово. Вы и тут можете усомниться и заявить: совпадение... Пусть так, если вы так считаете. Я думаю иначе.

Юноша:

Не убивайся так. В чем ты виновата? В том, что ты есть? Что живешь на свете? Что мы назначили встречу именно там? Что он, недочеловек, не знал, чью волю исполняет, решившись оскорбить тебя словом и делом? Что он имел вместо сердца медицинскую грушу? Дай твою руку. Не три глаза. Дай руку, я положу ее сюда, в лодочку своей ладони. Видишь? Я ее положил и успокоил. Успокойся, милая ладошка, полежи в лодочке. Сейчас оттолкнемся и поплывем... Ты отворачиваешься, тебя это не занимает. Ты бы хотела ему помочь? Но это невозможно. Уже невозможно. Помочь его детям, семье? У него нет и никогда не было семьи. Обычный бродяжка. Часто менял работу, жил там, где работал. Фуфайку на пол, рукавицы под голову — и вся постель. Пил, что придется, ел, что придется. Вот ты его жалеешь, а у меня было желание убить его. Я понимаю, что этим только оттолкнул бы тебя, но должен сознаться. Я поддался слабости, я на миг допустил, что тебя можно оскорбить, унижить, испачкать. И этим я уравнился с ним. Прости. И я дитя народа, который все больше превращается в стаю. И я уродлив, и во мне все его пороки. Я с тобой не потому, что смел и чист, а потому, что нагл. Эту науку преподают нам с детства. Я выродок. Почти все мы выродки. Умелая и жестокая рука долго прохаживалась по цветущему саду. И вот сада нет, а давно уже дрова. Хорошо подсохли, вылежались. Хватит и одной искры. И тут я понимаю твоего деда. Я тоже все больше боюсь за тебя. Да, мы раньше посмеивались над ним, а ведь он прав. Он жалуется, что у него мало сил. Но и у меня мало сил, я это понял, когда он замахнулся на тебя. Все, что я могу сделать, — это отдать жизнь за тебя, умереть за тебя. Возьми себя в руки, к нам идет дедушка, а мне нужно еще тебе сказать важное. Я хочу, чтобы мы поженились. Как Ромео и Джульетта. Мы тоже найдем какого-нибудь брата Лоренцо, и он нас обвенчает. Вот я выговорил. И не умер. А теперь скажи, ты согласна? Посмотри на меня, ты согласна? Мы двое будем семьей. И у нас никогда не будет детей. Иметь детей в наше время безумие. Я никогда не понимал, как родители решаются иметь детей. Страшная безответственность. Без их согласия выдергивать их из темноты, из ниоткуда, а потом еще и наказывать их, злиться на них, что они такие, а не другие, что они хотят то, а не это. Но если бы только родители наказывали своих детей, если бы только на них злились. Каждая собака, каждый релей цепляются к ребенку от рождения, чего-то требуют, что-то ждут, а не получив, пытаются пустить кровь. Родиться в наши дни — это попасть в испытательную камеру еще до рождения. Тебя отравляют и облучают, оглушают и удушают, выбивают мозги, а вместо них специальным кондитерским шприцем вводят жеванину из свинца, бумаги, букв и кличей. Мы поженимся не для того, чтобы жить и плодиться, а чтобы выжить. Двоим все-таки легче. Я тебя люблю. Только тебя и люблю на всем белом свете. Наверное, жизнь наша будет коротка, у нас не будет детей, мы уйдем от родителей. Мы ни с кем не будем делить наши дни, наше время. Дедушка уже рядом. Сегодня я не буду от него скрываться. Он ведет за руку твою перчатку и стучит палочкой. Надо наконец ему все объяснить. Видел ли он ту безобразную сцену? Кажется, он сидел к скверу спиной, беседовал с перчаткой и чертил схему побега. Вытри глаза, он не должен видеть тебя плачущей. И познакомь меня с ним. Пора сказать, что я твой лучший друг, а не подонок и соблазнитель. Честно говоря, дедушку бы я взял в нашу семью. Третьим. Нам нужно быть вместе. Вокруг творится что-то неладное... Здравствуйте, садитесь вот сюда. Вам плохо? Я сбегаю за газировкой

к автоматам. А сначала к тем типам за стаканом, они и из горлышка свое пиво попьют. Посмотри за дедушкой, поддержи его, на нем лица нет.

Голубев:

С людьми и людям не могу, а расскажу песку, пыли, асфальту. Мои собеседники. Мои слушатели. Им можно рассказывать и не шевелить при этом языком. От языка у меня один обрывок остался. Поделом. Меня зовут Прыщ. Боятся, ненавидят, брезгают. И правильно. Жизнь кончилась, ушла. Сначала мальчик, детство, а потом все остальное. Потом тот мальчишка, потом ночной поезд. Шофер погиб. Измоллоло колесами. И ко мне подошла смерть, дотронулась до голого сердца замороженным железом. Меня зовут Прыщ, а звали Голубев Стас Валентинович. Идеологический работник. Уважение, машина, личный шофер, чистая работа. Шофер Ник — школьный еще приятель. Железнодорожник собрал его куски в мой большой портфель. Там были только осколки винных бутылок. Сейчас дети кричат: Прыщ, Прыщ, а мама звала: Стасик. Коротенькая челка, саржевые шаровары, большая книга сказок у мамы на коленях. Отличник. Похвальные грамоты. Набор шашек — приз за победу в школьном турнире. Туш на аккордеоне. Способный мальчик. Мама очень в меня верила. Не стало мамы, и я понял, что можно больше не стараться. И стесняться больше некого. Отец притащил бабу на третий день после похорон. Когда впервые заблеял во мне мой двойник, однорогое мурло? Рано. Невозможно не прийти соблазнам, но горе тому, через кого они приходят, лучше было бы ему, если бы мельничный жернов повесили ему на шею и бросили в море... Детский сад, подглядывание в щелки, общие горшки, школа, скверные слова, компания шалопаев, первый алкоголь, первые пьянчужки-женщины, показывающие все за флакон украденного дома одеколона. Но мама еще жива... И вот она умерла. Разверзлась земля и взяла ее. Свобода своеволия схватила меня за горло, как аркан, и потащила по пыли и грязи. Со стороны же это выглядело примерным восхождением. Блестяще заканчиваю школу, институт, потом общественная работа. Но все это — легкий и поспешный покров. Главное — мохнатые ночи. Козел торжествует. К утру он слегка припомаживается, приглаживается. Зеркало, бритва, одеколон. И никто ничего не замечает. Никто не видит, что это козел, а не я, входит в кабинет, жадно пьет казенный боржомом. Потом молодая жена, в прошлом краса факультета, очаровательная пустышка. А потом должности, положение, маленькие и большие приятности этого положения, финская банька в укромном местечке, машина с Ником. Затем поезд и полет под колеса. И смерть приложила косу к моему сердцу. Плашмя. В тот же миг был раздроблен колесами шофер. А потом погиб в деревне Андрюша. А старший ушел в кутежи и мелкое воровство. Одна жена ничего не замечает. Смерть Андрюши никак не отразилась на ней. Она, кажется, даже помолодела. Седину закрашивает уже не каштановым, а оранжевым, апельсиновым. Думаю, и мое исчезновение она приняла за начало каникул для себя.

Молодой человек:

Сегодня сумасшедший день. Надо бы запомнить число. Какое сегодня число?... Нет ответа. На тусовке сложных вопросов не задают. Устал сегодня, как колесо, на котором проехали вокруг света. Одна отрада — ящик пива. Угощает грузчик из овощного. Как его зовут? Дай-ка огонька, чувачок. И скажи тому сосунку, чтобы не садился на качели, он здесь первый раз, что ли? Как я устал! И глаза!.. Все, все норовят забраться мне в мозги через глаза — дурная замашка. Два небольших отверстия, два наружных лаза — я-

таками можно закрыть,— а они все прут и прут. И пешие, и конные, и автомобильные. Закрою глаза — красный бархатный занавес,— все, спектакль закончен, расходитесь по домам, милые. Ан нет! Кто успел заскочить, без спроса и разрешения согласно наглой своей натуре, продолжает торчать передо мной, кривляться или с умным видом заводит бесконечный треп, от которого челюсти сводит. А уши! Два грота, просверленные природой-матушкой в сплошном граните черепа. В них едва таракан пролезет. А вы будто и не видите этой тесноты, не желаете видеть. Вы мозолитесь, проползаете, лишь бы попасть на мой тесный чердак, под эту раскаленную солнцем и бесконечным трением о низкое небо костяную крышу. Тесно. Душно. Оставьте меня. Заложу камнями, прибрежной галькой, уплотню и переложу навозом, замажу смолой, как славный Улисс. Лишь бы не слышать. Скоро от всех этих звуков в ушах начнут расти волосы и через год-другой закопошат их с плотностью войлока. Ведь вы, неугомонные, набивались и утрамбовывались годами. Даже по ночам просачивались под дверь и в замочную скважину. А в том вон углу эмалированное облупленное ведро, от него смердит, из него перебегает. В нем накапливалось сквернословие, похабные анекдоты, похотливые образы и ощущения... Дай-ка еще бутылку и не открывай, прошу тебя, зубами. Не порти. Лучше о скамейку. Я что-то притомился. И руки, и ноги. Кончается или кончился завод. Особенно душа устала. Обломала о мои ребра крылья. Даже не знаю, какого она цвета, какой масти. Ей бы выбраться, полетать, почистить перья о перистые облака, об иные сферы, а она не может выбраться. Это вы, незваные, загораживаете проход. Я же сказал тому крестину, переведите, если не понимает, пусть отойдет от качелей. Никто ничего не понимает. Никому ничего не докажешь. Вот мой кулак, он родственник сентиментальности, он вышибает слезу. И сейчас не понятно? Тогда я встану. Подержи, сынок, посуду. Плиз. Ноги ставятся на ширину плеч, шатун, состоящий из плеча, предплечья и кулака, распрямляется и, досылаемый прямо по вектору всем корпусом, входит в соприкосновение с нижней частью жевательного агрегата, именуемого челюстью. По причине отсутствия специальных знаний мне трудно сказать, что происходит затем в организме человека, но результат налицо. Гляньте, он только что терся копчиком о качели, а теперь спокойно лежит в мураве и ваших плевках. Полежит и встанет, и тогда вы дадите ему свежий непотчатый пузырек. А теперь, с вашего позволения, я прилягу и покемарю, вытянусь на этой скамейке. Устал. Спасибо, но это не моя бутылка. Да, вот это моя... Может, еще по рублику, пока благодетель не ушел из овощного? И посуду прихватите. В голове шумок. Кажется, надрался... Идиоты, остановитесь! Люди, замрите и осмотритесь! Нет, не хотят. Ходят и не замечают, что деревья — это на самом деле никакие не деревья, и кусты не кусты. Что это вздыбившиеся и одеревеневшие волосы покойников, уткнувшихся лицами в землю и только чуток присыпанных перегноем и палой листвой. И от ужаса, от увиденного там, под землей, волосы их встали дыбом и одеревенели. С некоторых пор так и ведется, а ведь сравнительно недавно были времена, когда деревья были деревьями, а кусты — кустами, когда ужас открывшегося не леденил умерших и не дыбил им волосы. Как все запущено и непоправимо! И голова измучила шею, и ноги не знаешь куда поставить. И пиво кислое и теплое. Позавчерашнее. Друг называется... Впрочем, у него своя инструкция о любви и дружбе. У меня и без него проблем хватает. Вот кровь, скажем, загустела и почернела, как мазут. Пузырится и пенится. Засорена помыслами и поступками. Ходят

слухи, что у многих нелады с кровью, густеет и утяжеляется, наполняется пеной и металлическими опилками. Читал длинное исследование, смысл вот в чем: испорченный воздух рождает пороки и плодит преступления. А я подумал: значит, кому-то очень выгоден этот испорченный воздух... Но моя кровь засорена помыслами и поступками, это бесспорно. А что такое поступки? Это отлитые в гипс и затвердевшие фигурки помыслов. Типа шахматных фигурок. Только разнообразнее. Почему в детстве так легко живется? Потому что вены еще не забиты гипсовыми отливками поступков. Где молоток? Поработать бы до пота, обратить в белую пыль и крошево то, что создал я — безумный подмастерье безумной Жизни. Густое это вещество (поостерегусь называть кровью, надо проверить в лаборатории, надо сдать на анализ) с капризами и собственным странным норомом: барабанит в висках, словно обстукивает стенку в поисках пути для бегства, — это раз; во-вторых, тычет и режет чем-то острым сердцем; в-третьих, пригоршнями патефонных иголок (типа коротких или обломанных швейных) накапливается ночью то в изгибе руки, то в щеке, то в забытой на краю кровати ноге. Смерть наступает оттого, что кровь теряет свойство жидкости — текучесть, превращается в магу, твердеющую массу (различные тромбы), которая уже не подчиняется сердцу, его посылающим толчкам. Астрономы, платные обтиратели телескопов, боясь смотреть в окуляры, молчат о беспорядках и бедствиях над нашими головами... А все-таки благодарность и слава безымянному грузчику (действительно, как его звать?). Леди и джентльмены, корни и корешки, а не спеть ли нам что-нибудь подпольное? запрещенное? какой-нибудь псалом? — Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых, который не заворачивает к нам сюда, в гадюшник, кто не пьет с нами отдающее смертью и порчей пойло, кто не сосет загаженный воздух города сквозь сигаретные фильтры, кто не бьет ближнего своего безразличным кулаком, кто не мнет грудь минутной подруги с холодным упрямством и волей, как резиновое развивающее кисть кольцо, кто не идет в обезглавленный храм смотреть шансоньеток, сигналищих белоснежными ляжками с экрана, что повешен в глубине алтаря, кто не тащит в подвал, на ржавую сетку и обугленный тюфак профуру, не ширяется, не глотает колеса, не тащится от бензина, не нюхает ацетон... Блажен... А люди все ходят кругами — несчастные узники. Делают вид, что садятся в автобус (автобусные остановки вокруг сквера), заезжают за угол, выгружаются и снова ходят, ходят, копят на остановках. Человек — вывих природы, недоразумение, позорящее Творца. Дай-ка мне твое плечо, пододвинь опору. Что-то я огруз... Мысль, смешанная с пивом, — взрывчатка вроде нитроглицерина. Дай-ка ухо, приятель. Поближе. Отолью излишек слов. Так или иначе — мысль вспенивается и пучится: говорил вам — пиво несвежее!.. Ты говоришь — это мысль!.. Что такое мысль? Взятая в дорогу, как посох, она погоняет путника. Нанятая служанкой, командует в доме. Во имя нее человек покусается на человека. Вот ее логика: если ложка слишком велика, то не ложку выбрасывают, а разрывают рот. Недоумки! Как я устал! И к тому же ничего не понимаю в происходящем. Гарсон, еще пинту!.. Отставь!..

Старик:

Я говорил, что за нами ведется наблюдение, что они постоянно шпионят за нами и хотят схватить! Вот и настал наш час, мой ангел, встань за меня, за мою спину, и не бойся. Я не отдам тебя. Кого ты там еще увидела?.. Этот несчастный безобиден. Он сам нуждается в защите. Пусть лезет под скамейку, не обращай внимания. Чутьочку еще потерпи, дай только

выбрать место на небе посвободнее, без проводов, без домов. Вон тот угол, тот просвет улицы, кажется, подходит. Почти от середины неба и до пруда кусок свободного пространства. Оттуда и хлынет на вас, несчастные. А вы, юноша, если уж оказались здесь, станьте сбоку и не мешайте, не загораживайте... Капитан, стойте! Остановитесь! слышите?! Не приближайтесь! Уводите свою команду, пока не поздно. Вы играете судьбами мира, капитан. У меня в руке страшное средство. Безумцы, они вздумали окружать нас! Они решили взять нас, как щенят. Не ведают, что творят...

А вон и крысы! Крысы бегут с корабля! Смотри, девочка, крысы бегут из города, они почувствовали. А эти дурни в фуражках ничего не чувствуют. Тем хуже для них. Вот трость, сунь-ка ее под скамейку ущербному, пусть отгонит от себя крыс. В руках у капитана переговорное устройство, верно, он готовится произнести ультиматум. А между тем его подчиненные все ближе, думают, что подбираются незаметно. Юноша, будьте наготове. Еще шаг, капитан!..

Молодой человек:

Ахтунг, филины! На горизонте менты. Не к нам ли? Нет, похоже, не к нам. Но от этого не легче. Мне не легче. Кажется, собираются прихватить девочку, ее хахалю и деда. Сейчас расчухают, что это обыкновенная ходячая банка краски. Интересно, какова будет реакция. Санитары обалдеют, это ясно. Такого им еще не приходилось видеть... Ага, офицер достает мегафон. Наверное, будут очищать сквер от посторонних. Надеюсь, они не собираются стрелять. А вон и Прыщ нарисовался. Прячется за деда и девочку. Пытается забраться под скамейку. Тебе-то чего бояться, приманка для раков?! Откуда он вообще в городе?.. Говорят, что Прыщ в прошлом большой человек, генерал или что-то вроде этого. Что-то стукнуло в башку, опростился и опаршивел. Ходит теперь, сверкает ободранными расцарапанными ягодицами, как обезьяна. Явление, что ни говори. Вернется папаша (укатил, как всегда, ни слова, ни полслова — куда? зачем?), надо спросить, что это за притча такая, почему власти не замечают его. Это же какой-то бесплатный фильм ужасов... Итак, филины, события продолжают развиваться. Менты берут в кольцо скамейку с девочкой и дедом, ухагор держится рядом, молодец. От урны под скамейку на четырех конечностях вполз Прыщ. Купа, раздай пустые бутылки филинам, а полные сложи под кустик. Могут пригодиться, когда все кончится. Что ж, будем вставать. Разомнемся. Девчонку никак нельзя отдавать. Хахалю и деда — куда ни шло, а девчонку нельзя. Чуть что, прикроется, я уведу ее дворами. Посуду применять лишь в крайнем случае. Взяли себя в руки, подтянулись! Выпито сегодня прилично, но не время расслабляться... О, мужики! Смотрите! Смотрите и учитесь! На деда смотрите! Вот это боец, это настоящий кунфу! В одной руке дубинка, в другой — складешок. Чего доброго, он еще и попишет кого. В такие годы и такая моща! Передает палку Прыщу под скамейку. Верно, чтоб тот с тыла прикрыл. Вперед! Подсобим!.. Фу ты! брысь! брысь! тварь! Куда тебя под ноги несет! Еще одна. Купа, откуда столько крыс, не скажешь? Среди бела дня. О, а там что творится! На дорогу, на дорогу смотрите! На перекресток! Автобус буксует из-за них. Друг по дружке прут. В несколько слоев. Такого я не видел. Но все равно — вперед, и с песней. Отбиваем девочку и ходу. Только нас и видели... У-у, твари поганые, пошли вон! Давите, не обращайтесь внимания. О чем он там в мегафон? Мою фамилию называет? «Голубев», кажется, говорит. Не за мной ли? Если так, то давайте еще быстрее шеве-

лить поршнями. Ну, дедуля, продержись немного, попугай ножичком...

Следователь-врач:

Товарищ генерал-целитель, разрешите доложить обстановку. С четырнадцати ноль-ноль мы осуществляем наблюдение за сквером в сильную оптику, ведем съемку двумя камерами с одновременной трансляцией изображения на два экрана в просмотровом зале. Как и было намечено, в зале собрались все заинтересованные лица, верховные народолюбцы и их заместители. К сожалению, операция «Урок» до сих пор не завершена. Имеется несколько объективных и субъективных причин. Не была вовремя замечена и нейтрализована группа бездельников, возглавляемая сыном Голубева. Своими действиями они мешали продвижению сотрудников, внезапное появление на улицах города большого количества крыс внесло сумятицу в работу транспорта, вызвало многочисленные пробки и помешало переброске в район сквера дополнительных сил. Нашими службами не было выявлено то обстоятельство, что Голубев имеет сообщников, личность которых устанавливается. Один из сообщников Голубева, пожилой мужчина среднего роста, имел при себе аппарат или прибор неизвестного назначения, выполненный в виде обыкновенного перочинного ножика. При помощи этого прибора фактически и была сорвана операция. Остановимся на этом подробнее. Наблюдения и съемка телеобъективом показали: неизвестный в самом начале операции провел аппаратом или прибором над своей головой, в результате чего по небу прошла тонкая белая полоса, напоминающая след алмаза на стекле. Не исключено и совпадение между движением руки с ножиком и появлением полосы. Примерно через две-три секунды по этому следу ударила молния. Прямая замедленная молния небывалой яркости. Подчеркиваю: молния среди ясного неба. Яркость ее равнялась вспышке заряда в одну мегатонну. Характерно, что полной потери зрения у людей, несмотря на яркость, не произошло. Была временная потеря зрения и ориентации в течение восьми минут. Еще одна деталь. Во время вспышки камера № 2 зафиксировала на пленке и передала на экран силуэты снесенной более полувека назад колокольни и собора с неповрежденными куполами. Все вышеназванные обстоятельства не позволили офицеру, возглавлявшему операцию, произнести публичное разоблачение Голубева-Прыща, создать соответствующее общественное мнение, не позволили огласить результаты медицинской экспертизы о том, что настоящее состояние Голубева вызвано беспрецедентной его распущенностью, аморальным образом жизни и инфекционной болезнью, разновидностью СПИДа, которой он заразился и которая угрожает населению города. Во время последовавшей за вспышкой всеобщей потери зрения Голубеву, пожилому мужчине, девушке и юноше удалось скрыться. В сквере в настоящее время находятся сын Голубева с приятелями, трое наших наблюдателей и случайные прохожие. Только что поступившая в наше распоряжение оперативная информация позволяет надеяться, что операция «Урок» уже сегодня будет успешно завершена. В боевую готовность приведены все окружные силы безопасности, все приданные им рода войск. На первый план операции выдвигается изъятие прибора или аппарата. Не исключено, что это пробный образец какого-то нового супероружия.

Из протокола №... (цифру поставить в скобках забыли) известного всем числа и года от рождения Христова, по всей видимости, последнего:

Гражданка С., прикрепленная к диетмагазину, что у лог:

«Это были высокие мужчины, одетые как-то странно, но во все импортное. Вероятно, род блестящего велюра. Куда пошли, с кем встречались — не видела».

Гражданин Г., пенсионер:

«Оттуда. Знаю их почерк. Насквозь вижу. А за этим типом давно наблюдаю. Вне всякого сомнения — детская и подростковая организация. Политическая. Возможно, террористическая. Цель: свержение, поправление, дискредитация. У меня подробный список с адресами, краткими анкетными данными и данными на родственников. Прилагаю. Извините, что копия. Оригинал там, где следует. Тех двоих засек сразу. Не наши. Тут и специалистом не надо быть. Идут на связь. В то время, как мы разоружаемся, противник нагледит».

Гражданка А., член родительского комитета школы:

«Его надо во что бы то ни стало изолировать. Я была на педсовете, где его разбирали. Только подумайте! — детям мыть ноги. Шизофреник. Самая крайняя и опасная форма. Нет, я не специалист в этом, я работаю в техбюро, но тут и простым глазом видно. А мы таким вот детей доверяем. Изолируйте, я вас прошу, товарищ милиционер. Поднимем общественность, выйдем на любой уровень. Он же губит юные души».

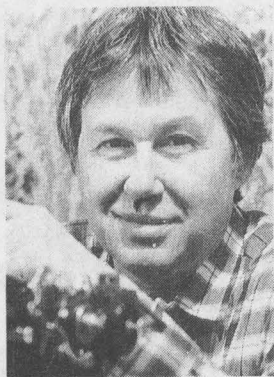
Участковый Л., лейтенант, столкнулся с неизвестными, обходя участок:

«Сразу подумал: надо попросить документы. Почему? Трудно сразу ответить. Наши люди так не ходят. А те идут — на все наплевать, все нипочем, море по колено и участкового не замечают. А я, между прочим, при форме. Двое мужчин, высокие, примерно метр девяносто. Вероятно, близнецы. Глаза светлые, волосы вьющиеся, соломенного цвета. Одежда свободного покроя из белой ткани. За ними толпа зевак, возглавляемая Вадимом Ивановичем, бывшим учителем. Почти все из его команды. Хотел выйти на середину тротуара и по всей форме, вежливо, попросить документы. Не смог. Парализовало. Временный какой-то паралич. Иначе объяснить не могу. Ни слова сказать, ни двинуться. И последнее, в чем не совсем уверен. Мне показалось, что двое в белом шлеме, как бы не касаясь земли. Между их обувью (что-то типа белых импортных кроссовок) и тротуаром оставался зазор сантиметров в 10—15. Повторяю, не уверен. Но если дальнейший опрос очевидцев подтвердит это, рост следует брать с соответствующей поправкой».

Молодой человек:

Я ж говорил, что они вернутся! Что легавым их не взять! Смотрите! Вы видите? Да не туда смотрите, а туда! Видите! Да, двое в белоснежных балахонах, как физики-ядерщики, за ними высокий и сутулый, похожий на не до конца разогнутый ножик. Дальше — группа дивных уродцев, бесценный материал для кунсткамеры. Почти всех знаю. Рука-плавник, череп-курдюк, нос-хобот, голова под металлической сеткой, как плафон в клозете, почерневший от страха зайка, две марафониистые старухи, которых время и дороги сточили ровно наполовину, известный мне и всему просвещенному перекрестку дедуна с тросточкой, мой знакомый стрелок с губной подсветкой, даже невозможный Прыщ — и тот плетется сзади. А вот и они! Вот и язвящая мою душу парочка. Юнца пропустим. Теперь все разом прочистили окуляры и смотрим на нее. Бесценный перл! О, трепещите, все четче проступают на смазанной репродукции города слова. Даже мои плавающие в пиве и нетерпении зрачки, кажется, различают их. Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающий посланных к тебе! сколько раз хотел Я собрать детей твоих, как птица собира-

ет птенцов своих под крылья, и вы не захотели... Но смотрите, что происходит за кустами! За группой наших славных знакомых целая туча мошкары в форме и без. И за деревьями. И за скамейками. И на крышах. И на той стороне улицы. И крадущиеся на цыпочках машины с красной полосой и глазом-мигалкой на крыше. И броневики, и амфибии! Наверное, объявлена всеобщая мобилизация. И все против моей девочки, я это чувствую. Пробил и мой час, братья-филины. Прощайте! Я должен быть там, где она. В дорогу, мой верный биплан. Нога все пролетает мимо педали, а вы смеетесь, филины-дальтоники... Вы не видите, что вижу я. Она вчekanена в реальность, она неопровержима, как моя рука на фоне сомнительных домов и ваших блестящих от пива рож. Она — единственная правда среди фантомов и мнимостей. О слезы! — очистительный дар детства. Он плачет, говорите, он надрался, говорите. Ваше дело — смеяться! Оставайтесь тут и смеяться. Моя крылатая тень (уже включены уличные фонари, уже дышат они ослепительным брызжащим светом) легко лавирует между кустами и скамейками, между прохожими и проезжими, между блостителями. Все — мимо, мимо... Безрукий памятник чугунному герою, раскрашенный под попугая домик билетерши, киоск с газетами — раскатанной в листы кашей из бумаги, пошлости из типографской краски, магазины, прилавки, банки, тряпки, одежда — свальщики для мертвых тел. Все мимо!.. А вот и они! Садятся в трамвай. Им пытаются помешать, задержать. Целая футбольная команда накаченных молодчиков с каменными подбородками. Бесполезно. Бьются, как мухи в стекло, в невидимую стенку. Трамвай трогается, скользит по рельсам, уцепившись дугой за провод. Гроздь оперативников повисает на каком-то выступе сзади, но от первого же толчка отваливается, как засохшая грязь. И я лечу в раскрытые еще двери и понимаю, что бабахнусь сейчас в прозрачное препятствие, и отлетят крылья моего биплана, а сам я с расквашенным носом и лбом брякнусь на асфальт. Я готов! Зажмуриваюсь... И успеваю на заднее сиденье... С ними! С ней! Вечер, и в вагоне, кроме нас, никого. Улицу лихорадит от мигалок. Военные и милицмейские машины заправили улицу. На рельсы выезжает броневик. Как бьется сердце! Не бойся, малыш, не бойся, убежим!.. Поднялся ветер. Роняет урны, летние прилавки. Ветер такой силы, что вгоняет заводские дымовые трубы в трубы, приподнимает броневики и катит по улице, как пустую консервную банку. Срывает крышу трамвая. Но ветра не чувствую, ветра не вижу, лишь чуть шевелятся кудри тех двоих, в белом, что стоят там, где должен быть вагоновожатый: аргонавты, ведущие трамвай между Сциллой и Харибдой. В далеком просвете улицы, куда мы летим на трамвае, поднимается луна — присыпанная пеплом желто-красная металлическая болванка. Луна висит на конском волосе, это хорошо видно. И дивно, и страшно. Чуть проведи ножом, и она ринется вниз, в просвет между домами, в точку, куда уходят рельсы и улица. И тогда улица, как доска качелей, подлетит другим своим концом к звездам, которые едва держатся на обсыпавшейся ткани, подлетит, разбрасывая по сторонам сверкающие безделушки автомобилей, засохшие прыжки домов. Ветра, бушующего в городе, не слышно, он странным образом не ощущается в трамвае, мчащемся без крыши. Но явственно доносятся звуки: сигналы патрульных машин, вой сирены, грохот железа, шипение сигнальных ракет, выстрелы, музыка, смех, звон стекла. И все это покрывает ясный звон колоколов, ликующий звон колоколов несущейся, взорванной полвека назад колокольной.



ВЛАДИМИР
РЕЙЦНЕР

Шагал

Женихи, скрипачи, петухи,
кони, козы, невесты, равнины —
здесь, в сетях дорогой чепухи,
все греховны, добры и невинны.

Он подвижен, как воздух; Шагал,
чудодей посвященного вальса.
Сколько раз он тебя прожигал:
что любил, от того оторвался.

И в местечке его родовом
я брожу и томлюсь у распятия,
а невеста летит за окном,
с нежной грудью и в призрачном платье.

Я не помнил ни витебских слез,
ни акцентов его местечковых,
но прибилсь, проник и пророс,
сам не свой в окоянных оковах.

Что ж, Россия, родная семья,
в эту глушь и зовет, и заводит?
Или тайная память твоя
за чертою оседлости бродит?

Не спеши улетать, не спеши,
продолжай свое чистое дело.
Нет Руси без еврейской глуши.
Нет Христа без еврейского тела.

☆☆☆

А эта целовалась лучше всех.
Пятнадцать лет и тысяча помех —
французский; и рояль; семья; «не время»...
Но между строк порой сквозила щель,
и языки сливались в вечной теме,
острей, чем стрелы, проникая щель.

А грудь ее была тверда, смугла;
рука остановиться не могла,
легко скользя по животу и ребрам
податливым, и острому бедру...
И нет стыда, и страх в уме недобром,
как будто я любил свою сестру...

И вот она влетает в дом ко мне
и жаждет оказаться в западне,
и маленькою дерзкою рукою
спешит узнать отличия мои...
В ней все от Евы или от змеи...
О Господи, да что это со мною?..

Прости, но разве скажешь между строк
о черной розе между стройных ног,
длиннющих, смуглых, тонких, как жердинки.
Душа моя, ты на моей руке...

Куда мне плыть в топленом молоке...
Ты тоже помнишь эти поединки?..

Сойди с ума и здесь остановись,
где эти два ребенка напряглись
в прекрасной и мучительной истоме.
«Люблю тебя!.. И все, что хочешь, кроме...»

☆☆☆

Менялись с Кузнецовыми, а те
въезжали в опустевшую по смерти
двух съемщиков квартиру; в суете
не вспомнили имен, и в круговерти
последующей жизненной борьбы
не задались вопросом их судьбы.
А жили здесь два тихих старичка,
и к лютеранской службе, а не к мессе
шли в Ковенский и об руку рука,
единые в высоком интересе,
являлись в кирху... Что они сказать
хотели Богу?.. Будем ли под стать

в согласии двум верным прихожанам,
супругам-немцам, выжившим в войну?..
Дубовый стол остался талисманом
от них, кого я в комнату верну
одним упоминанием, за которых
нам отвечать в различьях и повторах...

Ты знаешь, счастье старосветской пары,
с солеными грибами и дверьми
скрипящими (полны или поджары?) —
идиллия... Но продолжай, возьми
финал... Какой финал... От нас укрытый.
Больница. Интернат. Арест. Бандиты...

Их смерть темна. Известна лишь деталь:
варенье из большой разбитой банки
кровавило полы... И, глядя вдаль,
мы к черной обращаемся изнанке
события, мы примериваем боль,
как ношенный костюм и как пароль
естественного (дай-то Бог!) финала.
Бездетные. И немцы. Разве мало?..

Вот метод: только то, что знаешь сам,
попробуй передать другим; пробелы
нужны тебе, как воздух, как бальзам...
Варенье на полу... Пусть очумелый
нырнет за именами репортер,
а я страшусь узнать их до сих пор.

Воображение (тайные полеты,
разведка заблудившихся планет),
какие у тебя о нас заботы?
Чтоб мы не забывали верхний свет
иль добывали документ в архиве?
Но вот они идут, как будто вживе:

Испуганны и чопорны; она —
в потертой шубке, он — в потертой шапке;
страшится гололеда и темна,
переставляют маленькие лапки
в галошиках... Какого мне рожна
листать отравленные веком папки!..

☆☆☆

Как быстро жизнь течет во мне, как медленен я сам...
В недоверной тишине погладь по волосам.
Не знаю, сколько раз на дню и сколько раз во сне
клянусь себя, калю, казнию на медленном огне.
Ужасна двойственная жизнь и двойственная власть.
Два времени во мне сошлись, и совесть напряглась.
Обет молчания и страх приняв из рук отца,
я рос в великих лагерях без срока и конца.
И, сколок собственной страны, ответчиком за всех
я вижу, как со стороны, наш обоюдный грех.
В золе несчастья, как в тепле, счастливый с детских пор,
на общей и ничьей земле я полюбил позор.
И вечный стыд горит во мне, и в страхе стынет кровь,
и закаляются в огне проклятье и любовь...

г. Ленинград

Владимир МАКСИМОВ

ЗАГЛЯНУТЬ В БЕЗДНУ



Фото
Леонида Шимановича

...Чем дальше уносился поезд от центра России, тем заметнее оттаивала духом и обликом обитавшая за окном страна. Вчерашний день с его вечным страхом, недоеданиями, уличной злобой казался теперь отсюда просто дурным сном: после пайковой осмущенки — даровой хлеб в вагоне-ресторане, после липких очередей — на каждой станции базары со всякой съестной всячиной, после чадных «буржук» — укачивающее и ровное тепло спального купе. Было от чего празднично ликовать!

Проплывавшая мимо земля набухла веселой тяжестью, курилась по утрам в прогалинах и чащах, выдыхая вовне сбереженное в зимней спячке тепло, вспыхивала в солнечный полдень оживающей зеленью, с каждым днем вымывая из памяти тяжесть вчерашней безнадежности.

Остановки зачастую бывали долгими, общие неурядицы дотягивались уже и сюда, но дорожные эти бдения не тяготили ее, наоборот, она жадно хваталась за любую возможность, чтобы побродить по незнакомому городу, узнавая и не узнавая в каждом из них то, что называлось раньше российской провинцией. Выросши в провинции, она, наверное, могла бы с закрытыми глазами пройти по любому такому городу, не заблудившись, настолько все они похожи друг на друга: канцелярская и купеческая кладка в два-три этажа, гостиница и церковь в центре, а вокруг сонная топь приземистых пятистенников под разномастной кровлей, где улицы, люди, жирные свиньи в грязевой жиже сливались в одно безымянное, но пестрое пятно.

И хотя внешне ничего вроде бы не изменилось в их знакомом с детства обличье, над каждым из них нависала теперь едва ощутимая, но забивающая дыхание, как зной в предгрозе, тревога. Окраины как бы отделились от центра и зажили своей особенной от остального города жизнью. Оттуда тянуло острым настоєм гремучего раствора вызревавшей там ярости.

...Утро застало их на раскатистых виражах Амурской колесушки, построенной еще каторжниками вдоль извивчивой Шилки. Из окна взгляду открывались такие пади и взгорья в сосновых борах, как в мантиях, что порою дух захватывало, до того они казались ей сказочными, а в этих борах, словно птички гнездовья, — россыпи деревенских дворов с маковками церквей на отлете, от которых растекались во все стороны мерцающие огоньки как бы плывущих по воздуху свечей. «Вербная, — вдруг догадалась она. — Со всею ночью возвращаются».

...По пути на случайной остановке она столкнулась на перроне с лейтенантом Рыбалтовским, служившим когда-то перед самой войной под командой ее мужа и явно в те времена влюбленным в нее по уши.

— Анна Васильевна, — бросился тот к ней, — здравствуйте, какими судьбами?

— А вы?

— Да как-то так вот попал, — продолжал заливать радостным румянцем Рыбалтовский. — Хочу в Харбин перебраться.

— Зачем? — бездумно, лишь бы поддержать разговор, спросила она.

— А там сейчас Колчак.

— Вот как? — выдохнула она и сама не узнала своего голоса, звучавшего не изнутри, а словно бы издалека и со стороны. — И давно?

Видно, от него не укрылось ее внезапное смятение, он тут же смешался, погас и, торопливо пробормотав извинения, поспешил расстаться с нею...

Оставшуюся часть пути до Владивостока она не

Главы из романа. Печатается по книге, вышедшей в издательстве «Третья волна», Париж — Нью-Йорк, 1986 г. Полностью публикуется в журнале «Знамя».

помнила себя. Вокруг нее роились голоса, перед глазами мелькали предметы и лица, мимо окон, в смене дня и ночи, пронесился таежный простор, но все это только обволакивало ее со всех сторон, не затрагивая в ней ни слуха, ни зрения, она как бы забаррикадировалась в самой себе, в том самом прошлом, которое составляло с тех пор смысл ее существования. По малым крупницам — обрывкам фраз, отдельным жестам, сбереженной памятью улыбке — она мысленно восстанавливала его облик, растворенный было в быстроекующем и транжиристом времени, чтобы снова вернуться туда, откуда тянулся к ней один-единственный голос. Его голос:

— Я больше чем люблю вас...

Во Владивостоке, в отеле, едва оставшись наедине с собой, она написала ему письмо, а потом металась по городу в поисках оказии, пока ее не надоумили обратиться с этим письмом в английское консульство: после Бреста он все еще числился на английской военной службе.

Уже через несколько дней с нарочным ей был доставлен его ответ: «Передо мной лежит Ваше письмо, и я не знаю — действительность это или я сам до него додумался».

Связь времен, разорванная роковой катастрофой, сомкнулась в ней мгновенным решением: ехать, ехать, не мешкая ни дня, ни часа, ни даже минуты!

Казалось, Сергей Николаевич ждал ее с этим разговором. Едва выйдя и мельком взглянув на нее, он отвернулся и с заметным усилием выдавил куда-то в стену перед собой:

— Вы вернетесь?

Ей вдруг стало нестерпимо жаль мужа: для нее — женщины с головы до ног — нетрудно было представить его состояние, но изменить она уже ничего не могла.

Она встала, подошла к нему, молча взяла его за руку и тыльной стороной ладони легонько прижала к своей щеке.

— Я должна его видеть, Сергей Николаевич!..

* * *

В Харбине Адмирал не встретил ее, и у нее оборвалось сердце: должно было случиться что-то действительно из ряда вон выходящее, чтобы он не оказался на месте вовремя, тем более для свидания с ней.

После суматошных поисков и расспросов ей, наконец, удалось выяснить, где находится его салон-вагон. Она летела туда, не чуя земли под собой, но часовой на пороге тамбура, лениво позевывая сверху вниз, добродушно осадил ее:

— Его превосходительство на вокзал ушедши, гостей встречать, кажись, из Читы...

Кружа по лабиринтам станционных путей, она опять-таки разминувшись бы с ним, если бы в просвете между двумя составами они не столкнулись лицом к лицу.

— Александр Васильевич, милый, — задыхнулась она от неожиданности, — что за маскарад?

В английской, защитного цвета, форме он был почти неузнаваем: выглядел меньше ростом, суше, отчужденнее.

— А вы? — Он прижимал ее руки к губам. — Этот ваш траур?

— Зимой умер отец.

— Извините.

Они шли теперь наобум, куда глаза глядят, в полное пространство перед собой, где, кроме них двоих, не было никого, кто мог бы услышать слова, которые складывались между ними.

— Мы не виделись, по-моему, целую вечность, Анна.



На снимках: сверху вниз:
Адмирал А. В. Колчак (1919 г.)

А. В. Тимирева

Сидят (слева направо) — Клемм, Колчак, Хорват,

Устругов (1919 г.)

Адмирал Колчак (в центре) с военными и дипломатическими представителями стран Антанты (конец 1919 г.)

— Мне кажется, больше.
— Неужели через день-два опять на целую вечность?
— Теперь каждый день — вечность, милый.
— А вы не уезжайте.
— Не шутите так, Александр Васильевич.
— А я и не шучу. — Он остановился и с вопросительной требовательностью взглянул на нее. — Оставайтесь со мной, я буду вашим рабом, буду, к примеру, чистить вам ботинки, вы сами увидите, какой это будет удобный институт.

— Конечно. — Ей хотелось и смеяться, и плакать одновременно. — Вы можете уговорить кого хотите, но что из этого выйдет?

Он сжал ее руки в своих и отчеканил твердо, даже как бы с вызовом:

— Нет, уговаривать я вас не буду, вы это должны решить сами...

Затем дни и ночи слились для нее в одну ликующую полосу света, закружившего ее в своем хлопотливом водовороте. Они расставались только днем, когда ему приходилось заниматься делами в правлении дороги у Хорвата, откуда, вымотанный до предела, он возвращался к ней в гостиницу, садился рядом, припадал щекой в готовно подставленные ею ладони и тут же забывался в умиротворенной дреме. Она вглядывалась в его измученное дневной бестолковщиной лицо, боясь высвободить затекающие руки, чтобы не потревожить его, и сердце в ней сладостно обмирало от обожествляющей ее нежности.

В эти минуты она испытывала к нему такую щемящую привязанность, что, казалось, нет и не будет на свете силы, которая бы могла когда-нибудь заставить ее отказать от него. Но днем, наедине с собой, ей трудно было изыть из себя вязкие мысли о сыне и муже, составлявших немалую часть ее жизни, от которой, оказалось, не так-то просто было отмахнуться.

Главной, не оставлявшей ее болью был сын. В начале лета семнадцатого она отправила его к матери в Кисловодск, где он затерялся с тех пор и откуда о нем не поступало никаких известий. Ей оставалось только теряться в догадках, корить себя и обмирать от страхов. Дорого бы она дала, чтобы сын теперь оказался здесь, рядом с ней. От одной мысли о том, что ей уже не доведется увидеть его, у нее холодело сердце.

(Ровно через тридцать лет сердобольный вертухай на Карагандинском лагунке расскажет ей, как ссученные урки забивали ее сына насмерть в лагерной бане, как кричал он и рвался из-под их звериного нахрапа, как с номерной биркой на ноге сброшен был в общую яму за зоной, и она горько пожалеет тогда, что не сгинул он в самом начале и что вообще появилась на свет по ее вине для подобной участи.)

Закончить с мужем оказалось тоже не так-то просто, как представлялось раньше. Его умоляющие письма, наподобие охотничьих флажков, тянулись за ней по пятам, опутывая ее, словно зверя, почти непроницаемым для нее загоном. И в каждом из них одно и то же: готов все простить (как будто она в этом нуждалась), забыть (словно такое забывается!), не губить ни семью, ни себя (а что могло их спасти?) и вернуться к нему во Владивосток. Она слишком хорошо знала Сергея Николаевича, чтобы терзаться совестью за его душевный покой, он утешался так же быстро, как и расстраивался, но походя отмахнуться от прожитых с ним лет ей было не вмоготу.

Отшелестел календарными листочками месяц в Харбине, пронизанный праздничной лихорадкой их встреч и ее ожиданий, а она все еще не переставала разрываться между «остаться» и «уехать». Остаться означало разом переиначить свою судьбу заново,

уехать — оказаться в житейском капкане, из которого ей уж едва ли удастся вырваться.

С ним об этом она заговаривать не решалась, оберегая и без того быстротечные часы его равновесия и покоя, но однажды он сам вызвал ее на окончательную откровенность.

— Анна Васильевна... — По обыкновению подерывая на ее ладонях, он вдруг открыл глаза, повернулся к ней всем лицом, и она прочла в глубине его тревожных зрачков почти паническую мольбу. — Вы останетесь, не правда ли?

Эта рвущаяся из него мольба и освободила ее наконец от сомнений: отныне она, даже если бы и захотела, не могла, не имела права его оставить.

— Некуда мне от вас уходить, Александр Васильевич... — Чуть запнувшись, но затем выговорила твердо: — От тебя, Саша.

Весь разом озарившись, он вскочил, мгновенно расправился и закружил, замельтешил по комнате.

— Мы уедем в Японию, я уже попросил отставки, с Хорватом я, видно, так и не сговорюсь, он все еще живет в прошлом веке, одними призраками и химерами, ему продолжает казаться, что положение можно исправить с помощью лишней сотни нагаек или шпиц-рутенгов. Ему, из его китайской тмутаракани, события в Москве и Петербурге кажутся шалостями избалованных проказников, которым некому всыпать по первое число, а я-то через это прошел, знаю, что не порочные ребятишки безобразничают, а плотину прорвало, удержи теперь этот поток, попробуй, все на своем пути сносит. Пока мы здесь в политические бирюльки играем, огонь сюда подбирается, и почва кругом очень этому способствует, порохом почва у нас под ногами, не только спички, искры крошечной хватит, чтобы вспыхнуть, а тогда, как в народе говорят, пришла беда — отворай ворота, костей не соберем. — Он в изнеможении бросился опять на диван, закрыл глаза, успокаиваясь. — Да, да, в Японию, мне временно надо побыть в стороне, собраться с мыслями, поговорить с людьми, взвесить все «про» и «контра», решить, что еще не поздно предпринять. — И опять к ней, с той же мольбой: — Анна Васильевна, дорогая, прав ли я, а?

— Для меня — всегда.

— А мне больше ничего и не нужно! Нет, нет, Анна, я не шучу, кроме вашей поддержки, мне действительно ничего не нужно! Хотя, — он вдруг мечтательно расслабился, — иногда так хочется уйти, скрыться от всего этого, забыть о том, что творится на свете, запереться где-нибудь на краю земли в четырех стенах и заниматься наукой, одной только наукой, если бы вы знали, Анна Васильевна, сколько драгоценного материала накопилось у меня после моих северных экспедиций, все описать, жизни не хватит! — И тут же, спохватившись, одной лишь снисходительной усмешкой перечеркнул сказанное. — Но если не я, не такие, как я, тогда кто же?

И, словно отвечая ему, из-за окна к ним потянулся отдаленный звон колоколов. Долгий, протяжный, оплывающий звук словно взывал к кому-то издалека в надежде на отклик и возвращение. Звук тянулся так долго, гулко и маетно, что, казалось, ему не будет конца.

— Будто знамение! — невольно вырвалось у него, но тут же, смутившись, он поправился: — Странное совпадение, не правда ли?

Как и чем она могла ответить ему, кроме обращенной к нему молчаливой преданности?

А колокол гудел и гудел за окном, в комнате, в них самих.

* * *

Из дневника Анны Васильевны:

«Александр Васильевич увез меня в Никко, в горы. Это старый город храмов, куда идут толпы паломников со всей Японии, все в белом, с циновками-постелями за плечами. Тут я поняла, что значит — возьми одр свой и ходи: одр — это просто циновка. Везде бамбуковые водопроводы на весу, всюду шелест струящейся воды. Александр Васильевичо смеялся: «Мы удалились под сень струй...»

* * *

Отложившись в них, гул этот затем вобрал в себя их путь через горы, доли и морской простор в сказочное захолустье японской провинции, где однажды снова возник вонне, пробившись к ней в гостиничный номер сквозь бамбуковые жалюзи единственного окна. Возник, возвращая ее из ленивой дремы экзотической чужбины в гремучую явь оставленной, но так и не забытой ею земли: где-то там, на том берегу хмурого моря, осыпалась, обваливалась в пропасть земная твердь, еще хранившая следы ее ног, и плавился, выгорал воздух, которым она совсем недавно дышала.

В ней, как ожившая куколка в задубевшем было коcone, вдруг затеплилось, зашевелилось чувство боли, потери, горечи, растворявших наподобие щелочи панцирь сковавшего ее здесь обманчивого покоя: видно, не существует на земле места, где человеку удалось бы спрятаться от собственной памяти, настагающей его, будто тень, — везде и повсюду, в какие бы медвежьи углы света он ни пытался скрыться.

Колокольный гул заполнял ее, оседая в ней обреченной уверенностью, что нет для нее в этом мире счастья ни с кем и ни в чем, пока остается в нем хоть один угол, в каком сохранились корни ее родства и душевной сути. Вспомнить, понять, обернуться, увидеть истлевающее в муках прошлое и обратиться в соляной столп — это, наверное, выше сил человеческих.

И тут же ей почему-то передалось, что там, за стеной, в соседнем номере, Адмирал думает о том же самом, и, уже не сомневаясь в этом, она заторопилась к нему, безотчетно охорашиваясь на ходу: он выслушает, он поймет, он решит.

А тот действительно будто ждал ее, сразу же ожившись, расцвел к ней навстречу:

— Анна Васильевна, дорогая, у меня к вам просьба, пойдемте со мной в русскую церковь! Слышите, благовестят!

Вышли и подались через весь город туда — на колокольный звон, гулкой струной свисавший с безоблачного неба. Затеяливое кружево улиц и улочек, густо прошитое сверкающими в солнечном свете каскадами бамбуковых водопадов, в конце концов вывело их к подбористой, чуть выше кладбищенской часовни, церквушке, подпиравшей высь на городской окраине.

Внутри церквушка выглядела еще игрушечнее, чем снаружи, но и в этой малости прихожан собралось — по пальцам сосчитать, жались по стенам разрозненными группками, заученно повторяя вслед за священником вязь православных молитв по-японски. В душных сумерках людские силуэты и лица гляделись смутным продолжением стенных росписей, и оттого здесь казалось совсем пусто.

Тщедушный старичок священник, на котором колом коробилось новенькое, с иголки, облачение, невнятно проборматывал неожиданным в нем басом стих за стихом Евангелия, дымил ладаном, помахивал кропилом по сторонам, похрустывал при каждом движении жесткой ризой, будто доспеками.

Она не видела Адмирала, он стоял у нее за спиной, но исходящее от него оттуда взыскующее напряжение передавалось ей, проникая ее предчувствием скорой и уже решающей для них обеих дороги.

— Скоро предвари, прежде даже не поработимся, — беззвучно складывали ее губы, а душа исходила, источалась смертным томлением, — врагом хулящим Тя и претящим нам, Христе Боже наш: погуби крестом Твоим борющиеся нас, да уразумеют, како может православных вера, молитвами Богородицы, Едине Человеколюбие...

* * *

Из дневника Анны Васильевны:

«Когда мы возвращались, я сказала ему: «Я знаю, что за все надо платить — и за то, что мы вместе, но пусть это будет бедность, болезнь, что угодно, только не утрата той полной нашей душевной близости, я на все согласна».

Что же, платить пришлось страшной ценой, но никогда я не жалела о том, за что пришла эта расплата».

* * *

Некоторые сведения о А. В. Книпер-Тимиревой:

Родилась в 1893 году в Кисловодске. В 1906-м семья переехала в Петербург, где Анна Васильевна кончила гимназию кн. Оболенской (1911) и занималась рисунком и живописью в частной студии С. М. Зейденберга. Свободно владела французским и немецким. В 1918—1919 гг. в Омске — переводчица Отдела печати при Управлении делами Совета Министров и Верховного правления; работала в мастерской по шитью белья и на раздаче его больным и раненым воинам. Самоарестовалась вместе с Колчаком в январе 1920-го, освобождена в том же году по октябрьской амнистии, в мае 1921-го вторично арестована. Находилась в тюрьмах Иркутска и Новониколаевска, освобождена летом 1922-го в Москве из Бутырской тюрьмы. В 1925 году арестована и административно выслана из Москвы на 3 года, жила в Тарусе. В четвертый раз взята в апреле 1935-го, в мае получила по ст. 58-10 пять лет лагерей, которые через три месяца при пересмотре дела заменены ограничением проживания («минус 15») на 3 года. Возвращена из Забайкальского лагеря, где начала отбывать срок, жила в Вышнем Волочке, Верее, Малоярославце. 25 марта 1938 года, за несколько дней до окончания срока «минуса», арестована в Малоярославце и в апреле 1939-го осуждена по прежней статье на 8 лет лагерей; в карагандинских лагерях была сначала на общих работах, потом — художницей клуба Бурминского отделения. После освобождения жила за 100-м километром от Москвы (ст. Завидово Окт. ж. д.). 21 декабря 1949 года арестована в Щербакове как повторница без предъявления нового обвинения. 10 месяцев провела в тюрьме Ярославля и в октябре 1950-го отправлена этапом в Енисейск до особого распоряжения, ссылка снята в 1954 году. Затем в «минусе» до 1960 года (Рыбинск). В промежутках между арестами работала библиотекарем, архивариусом, дошкольным воспитателем, чертежником, ретушером, картографом (Москва), членом артели вышивальщиц (Таруса), инструктором по росписи игрушек (Завидово), маляром (в енисейской ссылке), бутафором и художником в театре (Рыбинск); подолгу оставалась безработной или перебивалась случайными заработками. Реабилитирована в марте 1960-го, с сентября того же года на пенсии. В 1911—1918 гг. замужем за С. Н. Тимиревым. Замужем за В. К. Книпером с 1922-го. До получения ответа прокурора о гибели и реабилитации сына В. С. Тимирева (1956) носила двойную фамилию.

В июне красные снова прорвали фронт у Сарапула и Бирска, а уже меньше чем через месяц взяли Пермь и Кунгур. Положение усугублялось разложением в войсках: 21-й полк перебил офицеров и в полном составе перешел к противнику.

Жара на дворе держалась адская, отчего вокруг плохо оборудованных лазаретов принялись распространяться эпидемии. Медикаментов и перевязочного материала едва хватало на иностранцев, со своими же обходились домашними средствами, а практически — стиранным тряпьем, хлороформом и касторкой. Угрожающе чувствовалось, что наступает перелом, и чем дольше, тем безнадежнее.

В эти дни Адмирал, оставаясь внешне спокойным, терял последние остатки самообладания. Укоренившаяся привычка в минуты волнения врезаться перочинным ножиком для чинки карандашей в подлокотники кресла заметно усилилась: на подлокотниках теперь, что называется, не оставалось живого места.

В такие минуты он предпочитал никого не принимать и встречался, и то по долгу службы, лишь с Удальцовым, а поздним вечером — с Анной Васильевной. Адмирала Начальник конвоя изучил давно и досконально, поэтому лишний раз ему на глаза не показывался, справедливо полагая, что, когда понадобится, его позовут.

К Анне же Васильевне Удальцов относился почти с благоговением, но понять ее до конца или хотя бы приблизиться к такому пониманию Удальцову было просто не под силу. Казалось бы, природа не обобщила ее ни одним достоинством или замечательным свойством. Ум, красота, обаяние, умение держаться и владеть собой, но — вот поди ж ты! — она держалась от Адмирала всегда на расстоянии, словно оберегая этим что-то такое, только для них двоих важное и дорогое, к чему не должно пристать ни одного, даже самого малого пятнышка.

Разумеется, Удальцов знал о них все или почти все, иного и быть не могло, каким бы он тогда оказался Начальником конвоя, но это его сокровенное знание лишь увеличивало в нем чувство самоотреченной привязанности к ним обоим.

Скажи ему, пожалуй: «Пусти себе, Удальцов, пулю в лоб ради них двоих!» — кажется, пустил бы не раздумывая. «Такое счастье, видно, — думал он, — на миллион двум выпадает, а то и реже!»

Поэтому, когда однажды Адмирал вызвал его и, виновато отводя от него издерганные глаза, предложил часть конвоя передать обескровленному фронту, он лишь вытянулся и с готовностью щелкнул каблукми:

— Когда прикажете выступить, Ваше высокопревосходительство?

Только тут Адмирал вдруг внимательно взглянул на него проникающим взглядом и, как бы впервые по-настоящему узнавая, совсем по-детски озарился откровенной радостью.

— Что ж мешкать, полковник, тотчас поступайте в распоряжение генерала Дитерихса, и с Богом!

— Я всего лишь ротмистр, Ваше высокопревосходительство.

— Старшие не ошибаются, полковник.

И снова озарился все так же: по-детски обезоруживающе.

Удальцова подхватила такая жаркая волна, смешанная из восхищения и сочувствия к этому большому ребенку, что все принятые в таких случаях уставные формулировки разом вылетели у него из головы.

— Благодарю вас, Ваше высокопревосходительство. — И уже на прощание, сквозь спазмы в горле,

с порога: — Бог не выдаст, Ваше высокопревосходительство...

...У Дитерихса в кабинете, как в келье у послушника: икона на иконе, пахнет воском и ладаном. На столе — штабные карты вперемежку с молитвенниками. Если бы не генеральский мундир на хозяине, его можно бы тоже принять за схимника: лицо одутловатое, болезненно бледное, глаза полуприкрыты, пухлые руки лодочкой сдвинуты у подбородка. На вошедшего даже не взглянул, произнес неожиданно густым басом:

— Положение отчаянное, Аркадий Никандрович, если не безнадежное, что делать — ума не приложу, в некоторых дивизиях по триста — четыреста боеспособных единиц, но когда положение безнадежное, — тут он поднял наконец на собеседника пухлое, в черных усах щеткой, лицо, — то, разумеется, зовут Дитерихса, а ведь я предупреждал, в самом начале предупреждал, что Пермь — это случайно удавшаяся авантюра. — Он скорбно вздохнул и снова прикрыл веки. — Ох уж мне эти нынешние наполеоны из бывших статских фельдшеров и полицейских исправников! Драть их надо почаще, а не войсковые соединения доверять! — Тут он будто с неохотой поднялся лицом к иконе Божьей Матери в красном углу, истово, с известным даже экстазом перекрестился. — Не оставь матушку-Россию, заступница наша вечная, не допусти ее бесноватым на поругание! — И уже окончательно поворачиваясь к Удальцову, буднично поинтересовался: — Кони оседланы?..

Через час спешных приготовлений конная колонна со штабным значком Главнокомандующего впереди уверенной рысью двигалась на Ишим. Даже неопытному глазу представлялось совершенно очевидным, что никакого фронта вообще не существовало, фронт давным-давно исчез, расплылся во все стороны, не зная, да и не имея особой охоты знать, где у него какие-либо концы и начала. Еще труднее было отыскать в этом хаосе разрозненных повозок, пеших и конных, здоровых и раненых, хоть какое-то подобие командования, которое пыталось бы управлять этим хаосом.

Единственное, что могло еще, если не изменить ход событий, то, во всяком случае, собрать эту одышливую мешанину во что-то целое, был успех, пусть самый маленький, самый иллюзорный успех.

И Дитерихс, несомненно, это понимал.

— Вот что, Аркадий Никандрович, — генерал повернул к Удальцову вдруг заострившееся и почерневшее лицо, — видите ту деревеньку под самой рекой? Если сейчас же, с ходу нам удастся ее взять, полдела будет сделано, люди опомнятся, вид хорошего подкрепления — лучшее лекарство от паники, и там посмотрим, на войне случай — великое дело. — И сразу же командовал: — Развернуться двумя лавами... Ну, с Богом, братцы!

Удальцову никогда не приходилось участвовать в конной атаке. Поначалу у него даже дух захватило: сливаясь с крупной рысью передовой лавы, он всем своим существом чувствовал ее всепоглощающую красоту и мощь. И только у самой деревни, у ее окраинных садов скорее осознал, а не услышал, что их беспамятное «ура» перекрывает прерывистый лай пулеметов, но, прежде чем почувствовать страх, увидел перед собой искаженное ужасом лицо пулеметчика и, опускаясь всем корпусом вместе с шашкой к этому лицу, почти со звериным восторгом увидел, как стриженный череп у того разваливается надвое под его острием.

Так близко, почти у себя под рукой, Удальцов видел смерть впервые в жизни. Наверное, оттого, когда схлынуло мгновение первого торжества, он

вдруг ощутил в себе, во всем своем теле такое опустошение, такую почти нечеловеческую усталость, как если бы внезапно сделался совершенно полым. Тогда Удальцов впервые оглянулся, поднял глаза к знойному небу, и оно неожиданно увиделось ему изжелта-желтым: «Господи,— безмолвно взмолился он туда, в это небо,— по плечу ли мне такой груз!»

* * *

Из записок генерала Филатьева*:

«Удар был очень удачен: весь правый фланг красных был совершенно разбит и отброшен за Курган; на всем остальном фронте они спешно отходили за реку Тобол, бросая большую военную добычу. Заключительным актом этого удара и должен был служить натиск казаков в тылу красных для окончательного их разгрома. Тогда Омск действительно получил бы большую передышку. 10 сентября казакам назначено было произвести удар.

С началом успеха Адмирал выехал на фронт к казачьему отряду, и 10 сентября, вместо донесения о начале налета, Дитерихс получает от самого Адмирала телеграмму: «Ввиду переутомления войск, и в особенности казаков, остановил войска на трехдневный отдых. Очень Вам благодарен за успех». Надо заметить, что до этих пор казаки ни в каких столкновениях не участвовали, а просто следовали походным порядком за левым флангом Дитерихса.

Остановка наступления, конечно, дала возможность красным одуматься и подвезти подкрепление в три дивизии, и в середине октября они сами сделали такой нажим, что 3-я армия генерала Сахарова неудержимо покатилась вдоль железной дороги на Петропавловск.

Не следует закрывать глаза, что в неудаче 10 сентября, точнее сказать, в невыполнении генералом Ивановым-Риновым поставленной ему задачи, значительная доля вины падает и на главнокомандующего генерала Дитерихса. Он знал, что полицейская ищейка Иванов-Ринов не имеет никакого понятия о командовании войсками, следовательно, под тем или иным предлогом он должен был не допустить его становиться во главе казаков в такую ответственную минуту, а если это было невозможно сделать по причинам внутренне-политическим, то ему самому надлежало быть при казачьем отряде. Во всяком случае, ему следовало энергично протестовать против вмешательства Адмирала в его боевые распоряжения и доложить, что остановить войска на трехдневный отдых в такую минуту является тяжчайшим воинским преступлением. Но, увы, как общее правило, все наши старшие начальники страдали одним и тем же недугом — полным отсутствием гражданского мужества в отстаивании своего мнения. Это не так бросалось в глаза в нормальное время, как с первых же дней революции.

С неудачей под Курганом пробил предпоследний час Адмирала как Верховного Правителя, его правительства и всей Сибирской Белой борьбы. Пора было взяться за ум, перестать надеяться на чудеса и отказаться от навязчивой идеи о невозможности покинуть Омск. Время было обратиться к какому-либо осуществимому плану, чтобы спасти хотя бы то, что было доступно».

* * *

На другой день ввечеру в здании городской женской гимназии устраивался бал в честь победителей. И хотя Удальцов в некотором роде мог считать себя

героем дня, особой охоты тащиться туда у него не было. В самой атмосфере этих балов, все учащавшихся по мере ухудшения общей обстановки, чувствовалось что-то обреченное, будто в бравурной музыке на официальных похоронах.

Каждый в таких случаях смотрел на каждого, и на себя самого в том числе, как на участника заранее отрепетированного маскарада, в котором следовало из всех сил разыгрывать спокойствие и непринужденность, долженствующие свойствовать подобного рода сборищам вообще и во все времена. Но каждый в то же время прекрасно сознавал, что участвует в очередном самообмане, что никакими благотворительными балами уже ничего не поправишь и что лучше было бы не мучить себя и других, а побыстрее разойтись по домам, где, оставшись наедине с собой, взглянуть в свою душу, как в бездну, и если не задохнуться от собственного страха, то хотя бы попытаться в трезвом размышлении перед самим собой преодолеть его упованием на лучшее или молитвой.

Но узнав, что Верховный отправляется туда же, Удальцов счел себя не вправе маневрировать своими обязанностями даже в такой, на посторонний взгляд, житейской ситуации.

Первый, с кем он столкнулся, оказавшись в гимназическом вестибюле, был генерал Нокс. И хотя отношения их до сих пор оставались чисто официальными, тот, не чинясь, первый бросился к нему с поздравлениями.

— Рад вас видеть, полковник! — Почти незаметно усилив интонацию на последнем слове, он явно подчеркивал свою осведомленность. — Блестящая операция! Говорят, вы оказались в самом пекле? Скажите, полковник, что я могу для вас сделать?

У этого человека все было безукоризненно, от пробора до произношения. Он выглядел джентльменом с головы до ног, но понять, что же все-таки происходит в стране, где он представляет Королевство Его Величества, ему, при всей его профессиональной наблюдательности, оказалось не под силу. Для него Россия представлялась чем-то средним между Индией и Непалом, проблемы которых решались в его ухоженной голове с простотой, достойной умственного уровня английского денди.

Но, надо отдать ему должное, Нокс старался, Нокс очень старался, а одно это заслуживало снисходительности.

— Благодарю вас, генерал, — как можно дружелюбнее откликнулся Удальцов. — Лично мне ничего не нужно, вот если бы вы помогли мне немного поприличнее обмундировать моих солдат, я был бы вам весьма признателен. По правде говоря, мне на них самому смотреть совестно.

Джентльмен мгновенно захлопнул раковину своего радушия, сделавшись сухим и чопорным:

— Постараюсь сделать все, что в моих силах. — Но тут же несколько смягчил свою, как, видно, ему казалось, слишком заметную холодность. — Тем не менее, полковник, что бы ни случилось в вашей жизни, вы можете всегда рассчитывать на мою помощь, слово английского офицера!

«Разведчика», — мгновенно уточнил Удальцов, глядя в натренированную верховой ездой стройную спину англичанина, но при этом Нокс так и не вызвал у него ни раздражения, ни тем более неприязни: не лучше и не хуже других иностранцев, прикомандированных к ставке Верховного, скорее даже лучше!

К Адмиралу было не пробиться сквозь штабную свиту и дамское окружение, но наметанным глазом Удальцов сразу определил, что его молодцы из конвой расположились вокруг Верховного с таким точным расчетом, что сколько-нибудь опасной личности доступ туда оказался закрыт наглухо.

* Генерал-квартирмейстер штаба Адмирала.

А бал тем временем закручивало все лихорадочнее. Гимназистки старших классов, впервые в жизни очутившиеся в такой волнующей близости с офицерским обществом, наподобие пестрых бабочек порхали по всему залу, бесцеремонно расхватывая смущенных их жадным напором кавалеров.

Вот тогда-то, в тот не по-сентябрьски душный вечер, Удальцов и выделил из этого ряда обгоравших в своем первом взрослом восторге мотыльков одного — с тонким, почти еще детским лицом, добрую половину которого занимали распахнутые от восхищения всем происходящим густо-василькового цвета глаза. «Боже мой, Боже мой,— обомлевая, подумал он тогда,— неужели такое бывает да еще и наяву!»

Ему, конечно, ничего не стоило пригласить ее на любой танец, он был в центре внимания, и она была бы только счастлива разделить с ним сегодняшнее торжество, но едва Удальцов решался, как что-то всякий раз останавливало его. Эта внезапная робость ему самому была в новинку: он — стреляный-перестрелянный ловелас и гуляка — вдруг спасовал перед первой попавшейся ему на глаза гимназисткой. Он даже пытался посмеяться над собой, но в конце концов ему пришлось признаться себе, что пасовал он все-таки не перед ней самой, а перед ее прямо-таки вызывающей беззащитностью. Наверное, эта хрупкая ее невесомость и служила ей лучшей защитой от слишком откровенных посягательств.

Неизвестно, чем бы все это кончилось, скорее всего очередным романтическим воспоминанием, если бы гимназистку не подвели к нему ее собственные родители:

— Вот полюбуйтеесь.— Тучный, страдающий одышкой, хотя и не старый еще, отец обливался смущенным потом.— Жаждет познакомиться с героем дня, а собственного духу, простите, не хватает.— И под строгим взглядом довольно сухопарой жены поспешил с представлениями: — Простите ради Бога, полковник, в этом бедламе часом о простейших приличиях забываешь! Статский советник Иоан Аристархыч Катусhev, по паровой, так сказать, части, речной жук, извините, а это моя дражайшая половина Анна Петровна, урожденная Тальберг, а это, так сказать, наше единственное чадо Елена, прошу любить и жаловать.

Преодолев весь этот многоступенчатый период, Катусhev наконец отбылся и поспешил ретироваться, но целенаправленно — в сторону буфета.

Во все время, пока мадам Катусheva старалась занимать почетного гостя светским разговором, Лена смотрела на него еще шире прежнего распахнутыми глазами, будто силилась вобрать его целиком, без остатка, в их густо-васильковый омут, чтобы уже никогда не выпустить оттуда.

(А ведь преуспела гимназическая пигалица! Долгие-долгие годы потом тянулся Удальцов за этим омутом по всему свету, но, по правде говоря, никогда и не жалел об этом!)

На прощанье мадам Катусheva настоятельно просила не обходить их пристанище стороной, бывать запросто, в любое время, благо живут они не за тридевять земель, а в двух шагах от губернаторской резиденции, где размещалась ставка Верховного, в собственном доме.

Собеседницы уже отплывали от него, когда он, едва опомнившись от только случившегося, вдруг увидел, что адмиральская свита направляется к выходу, по привычке метнулся следом, но дорожку не выдержал, обернулся и тут же встретился с тем же, широко распахнутым в его сторону васильковым колдовством. «Неужто судьба? — растерянно озадачился Удальцов, вынося разгоряченную голову в сентябрьскую ночь.— Вразуми, Господи!»

* * *

Сентябрьский успех оказался для армии Адмирала последним. И, как всегда в таких случаях, паутина общего тлена принялась опутывать не одних только людей или предметы, но даже, казалось, самый воздух, которым приходилось дышать. Тьма, сплошной завесойдвигающаяся с запада, виделась теперь даже незрячему окончательной и неотвратимой.

С каждым днем Адмирал становился раздражительнее и угрюмее. Всякая мелочь, любой пустяк, пошлая сплетня оборачивались для окружающих бурными сценами или молчаливым бешенством, что было еще неприятнее. С министрами он вообще теперь разговаривал, как с опостылевшей дворней.

— Что! — кричал он, принимая одного из них с докладом.— Опять новый закон? Нет уж, увольте, дело не в законах, а в людях. Мы строим из недоброкачественного материала. Все гниет. Я поражаюсь, до чего все испоганились. Что можно создать при таких условиях, если кругом либо воры, либо трусы, либо невежи! И министры, честности которых я верю, не удовлетворяют меня как деятели. Я вижу в последнее время по их докладам, что они живут канцелярским трудом, в них нет огня, активности. Если бы вы, вместо ваших законов, расстреляли пять-шесть мерзавцев из милиции или пару-другую спекулянтов, это нам помогло бы больше. Министр может сделать все, что он захочет. Но никто сам ничего не делает. Вот вы излагаете мне разные дефекты управления, ваш помощник их видел — что же вы сделали, чтоб их устранить? Отдали вы какие-нибудь распоряжения?

Потом горячо убеждал второго:

— Они могут взять Омск, если Деникин придет в Москву. Я знаю, что большевики обрушатся тогда всей силой на Сибирь. Я боюсь, что мы не выдержим... Вы правы, что надо поднять настроение в стране, но я не верю ни в съезды, ни в совещания. Я могу верить в танки, которых никак не могу получить от милых союзников, в заем, который исправил бы финансы, в мануфактуру, которая бы ободрила деревню... Но где я это возьму? А законы ерунда, не в них дело. Если мы потеряем новые поражения, никакие реформы не помогут. Если начнем побеждать, сразу и повсюду приобретем опору. Вот если бы я мог как следует одеть солдат и улучшить санитарное состояние армии! Разве вы не знаете, что некоторые корпуса представляют собой движущийся лазарет, а не воинскую силу? Дутов пишет мне, что в его оренбургской армии более половины больных сыпным тифом, а докторов и лекарств нет. Во всем чувствуется неблагоустроенная и некультурная окраина, которой напряжение войны не по силам. Устройство власти — это менее важный вопрос, чем ресурсы страны и снабжения. Я понимаю, что большевики действуют, как шайка, которая повсюду насадила своих агентов и не только дисциплинировала их, но и заинтересовала привилегией положения. Я не имею партии, никогда не соблазняю преимуществами и не верю в то, чтобы деньгами или чинами можно было преобразовать наше мертвое чиновничество, но если можно как-нибудь изменить систему управления, то я хотел бы этого...

Третьего пробовал уговаривать:

— Я знаю, вы имеете в виду военное положение, милитаризацию и так далее. Но вы поймите, от этого нельзя избавиться. Гражданская война должна быть беспощадной. Я приказываю начальникам частей расстреливать всех пленных коммунистов. Или мы их перестреляем, или они нас. Так было в Англии во время войны Алой и Белой Розы, так неминуемо должно быть и у нас, и во всякой гражданской войне.

Если я сниму военное положение, вас немедленно перерестуют большевики и эсеры, или ваши члены Экономического Сопения, или ваши же губерна-торы.

Частые смены его настроений смягчали только де-кинские успехи на Юге, но и этого ему стало доста-вать ненадолго: ноша заметно начинала перевешивать его силы. Теперь, отпуская очередного докладчика, Адмирал просил Удальцова остаться, чтобы в очеред-ной раз излиться перед ним в приступе внезапной откровенности:

— Прав был, тысячу раз прав был наш Пушкин, когда учил нас в «Капитанской дочке»: «Не приведи Бог видеть русский бунт бессмысленный и беспощад-ный!» Впрочем,— мрачновато усмехнулся он,— дру-гие не умнее и не добрей, разве что короче...

За те многие, почти в год длиною месяцы, что Удальцов находился при Адмирале, он достаточно хорошо изучил его. В этом удивительном для него человеке сочетались самые, казалось бы, взаимо-исключающие качества: отзывчатая доброта сосед-ствовала с напускной суровостью, детское упрямство с безвольной уступчивостью, а редкостное великоду-шие с крайней жестокостью. Но — странное дело! — казалось, избавься он хотя бы от одной из этих черт, цельный облик его несомненно потускнел бы, а то и вовсе сошел на нет. В этой его мятежной противо-речивости и таилась для Удальцова колдовская при-тягательность Адмирала. Такого человека он ждал всю жизнь, а дождавшись, предался ему отчаянно и самоотреченно.

Последняя поездка в Тобольск лишь окончательно утвердила в Удальцове его слепую привязанность к Адмиралу. Плыли на фронт, которого не было, и говорить с народом, который давно потерял охоту кого-либо слушать. Плыли по осенней, черного коле-ра воде Иртыша мимо унылых топей и затаившихся пред зимней спячкой боров. Плыли утлым ковчегом среди раскаленного злобой и кровью потопа матерой российской смуты. И никто в нем не ведал, что ожида-ло их впереди.

Едва этот ковчег отчалил от берега, как все запол-нившие его «чистые» и «нечистые» растеклись по каютам и затихли, затаились там наедине с собой и своим одиночеством. Видно, не существовало уже между ними никаких связей, что могли объединить их в разговоре или хотя бы в молчаливом общении. Пепел вешего извержения засыпал каждого из них по отдельности.

Проводив Адмирала и расставив охранение, Удаль-цов тоже заперся у себя в каюте, но одиночество было неведомо ему, тем более сейчас, когда в его жизнь вошла, ворвалась, вломилась девочка, подро-сток, женщина с незаменимым отныне для него име-нем — Лена, Елена, Элен.

Удальцов лежал и думал о ней, об их ставших необходимыми для них обоих встречах, о будущем, в котором — конечно, если ему повезет — он не мыслил себя без нее.

С тем он и уснул, чтобы, проснувшись, ошеломлен-но увидеть в окне каюты будто выступившие из воды белые стены града Китежа, увенчанные сквозными гнездами колоколен и церковных маковок: Тара! Не хотелось верить, что и там, за этой белизной и храмо-вым великолепием, тоже смердела земля сырой золой и людской падалью!

Вечером в кают-компани за чашкой чаю Адмирал с воодушевлением излагал собравшимся план Тоболь-ской операции, разработанный его штабом:

— Сейчас основная группа красных идет на Омск кратчайшим путем — через Тюмень. Их преследуют наши отряды, создавая видимость фронтального на-ступления. Но когда через болота потрепанные части

красных выйдут на Тобол, то сразу же попадут в окру-жение. Впереди окажется главная группа наших войск, идущая сейчас на Тюмень прямо из Тобольска, а сзади них — преследующие их отряды...— Адмирал прямо-таки сиял от предвкушения быстрой и верной удачи, горделиво оглядывал присутствующих победи-тельно уверенными глазами.

«Боже мой,— слушая его, не переставал удивлять-ся ему Удальцов,— как он наивен, этот поразитель-ный человек! Он думает, что маневрирует элегантно-эскадрой, а не случайно набранным с бору по сосенке сбродом, которым командуют бестолковые дуrolомы в генеральских погонах, но с мозгами полковых интен-дантов. Не говори нынче «гоп», а то завтра плакать придется!»

Так оно и случилось. Красные не пошли по кратчай-шему пути отступления, путь этот оказался для них труднопроходимым из-за сильной распутицы. Вопреки всем ожиданиям, они повернули обратно на Тобольск и по частям разбивали небольшие отряды преследую-щих.

Когда пароход Адмирала подходил к Тобольску, артиллерия красных гремела уже под самым городом. Окруженными в конце концов оказались не красные, а белые части, шедшие по Тоболу в тюменском на-правлении. Только благодаря тому, что весь водный транспорт оказался в их руках, запертые в полуколь-цо войска удалось посадить на баржи и вывезти в безо-пасное место.

Так обескураживающе жалко закончилась опера-ция, амбициозно задуманная адмиральскими штабни-ками. Слово сила солому, судьба упрямо ломил все замыслы Адмирала к земле, которая тут же предава-ла их огню.

В Тобольске их застало известие, что денкинское наступление захлебнулось где-то между Орлом и Ту-лой.

* * *

Из воспоминаний Г. К. Гинса *:

«Из Тобольска Иртыш так широк, что не похож сам на себя. У самой реки, на низком берегу — глав-ная часть города, позади крутая возвышенность, а на ней белеют стены кремля и блестят маковки церквей. Там находится большая часть официа-льных учреждений и сад с памятником Ермаку.

В кремль ведет высокая и крутая каменная ле-стница. Подымаемся. Перед нами богомольная ста-рушка, а навстречу спускается пьяный офицер. Он берет старушку за подбородок и говорит ей: «Иди, иди, старушенция, выпей».

Пьяных офицеров было вообще много.

А между тем, о красных никто дурно не отзыва-ется. Расстреляли двух: одного за организацию про-тивосоветского отряда, другого, еврея-«буржуя», за защиту своей собственности. В городе поддержи-вался порядок, пьяных не было. Когда уходили, увезли меха, городскую кассу и пожарный обоз, но никого не грабили.

В музее мы нашли комплект советских газет за период пребывания большевиков в Тобольске. Видно было, что газеты шаблонны и заготовлены заранее. В них разъяснялись задачи советской власти, приво-дились биографии выдающихся советских вождей, в частности, командующих, давались указания о не-обходимости уважать кооперацию, подымать произ-водительность крестьянского хозяйства и т. д. Все было рассчитано на завоевание симпатий населе-ния. Мотивы новые, незнакомые, не похожие на прежних большевиков.

* Управляющий делами Совета министров в правительстве.

Среди героев революции и красной армии особенно восхвалялся командующий красной дивизией, «товарищ» Мрачковский. Судя по газете, этот рабочий обладал необычайными способностями и железной волей. Одного взгляда на пленного белогвардейца было ему достаточно, чтобы определить, подлежит ли белогвардеец расстрелу или может быть принят на службу. Дисциплина у него строгая. В его дивизии каждый знает, что за малейшую провинность будет отвечать. Мы раньше не раз встречали фамилию Мрачковского в военных сводках. Возможно, что эта характеристика не отличалась преувеличением.

(От автора: Возможно. Но только ровно через шестнадцать лет «этот рабочий», который «обладал необычайными способностями и железной волей», будет ползать в ногах у начальника иностранного отдела ОГПУ Абрама Слуцкого, слезно вымаливая у него пощады, но так и не вымолит. Впрочем, спустя год тот же Слуцкий, вызванный в кабинет своего ближайшего друга и собутыльника Фриновского, примет из его рук цианистый калий, а через месяц — другой и сам Михаил Фриновский отправится следом за ним. «Все-таки есть Бог! — воскликнет перед казнью их общий пахан Генрих Ягода, — есть!» Хоть перед смертью, но догадался-таки сукин сын!)

Другой советский «генерал», Блюхер — тоже из рабочих. О нем мы много раз слышали в пути. Крестьяне рассказывали, что всегда при трудных обстоятельствах красные говорили о Блюхере: «он выручит», «он нас не выдаст». И, действительно, выручал.

(Снова от автора: Только когда пришел его собственный час, самого себя он выручить так и не смог — его не сохранили даже для того, чтобы расстрелять, забили насмерть на допросах. Увы!)

Наиболее интересным в газетах было, однако, интервью преосвященного Иринарха. О нем говорил весь город, который, кстати сказать, представлялся вымершим: так мало было в нем народа после эвакуации всех правительственных учреждений.

С архиереем говорили об отношениях советской власти к церкви и об его впечатлениях о большевиках. Он отзывался о них хорошо. Сказал, что удивлен порядком и доброю нравственностью, что он считает Омск Вавилоном и что колчаковцы вели себя много хуже, чем красные. Преосвященный, в свою очередь, посетил совдеп. Ему показали издания классиков для народа, и он пришел в восторг. Далее выяснилось, что все церковное имущество останется неприкосновенным, но только церковь не может рассчитывать на содержание от казны. Архиерей был доволен.

Теперь он встретил Адмирала с иконою и речью на тему: «Дух добра побеждает дух зла».

(Еще раз от автора: Воистину так, владыка! По этой причине ты и сгинеешь ровно через десять лет, ограбленный до нитки поклонниками «порядка и доброй нравственности» где-то на безымянном станке под Туруханском, и окоченевший труп твой без покаяния и молитвы бросят в ближайший сугроб на съедение прожорливым в эту пору песцам! Так-то.)

Адмирал заходил в покои епископа. У крыльца его выхода ждала небольшая группа любопытных, преимущественно женщин и детей. Никакого воодушевления в городе не было».

* * *

Тобольск запомнился Удальцову не историческими местами и даже не губернаторским домом, где до отъезда в Екатеринбург содержалась императорская семья, а мимолетной встречей, случившейся с ним

около одной из городских церквей. Растерянно потоптавшись перед ее наглухо закрытыми дверями, он вдруг боковым зрением выделил в затененной части ограды сидящего на лавочке рядом с церковной сторожкой сухонького старичка в аккуратных лапотках и легкой поддевочке, устремленного в его сторону из-под затертого до лоска картуза темным, в густой бороде лицом.

— Здорово, отец, — опустил рядом с ним Удальцов, — не прогонишь?

— Сиди, коли сел, — бесстрастно ответил тот, продолжая слепо глядеть перед собой, — места хватит.

— Сторожуешь здесь, что ли?

— А чего тут сторожить, авось не убежит куда.

— Утварь растащат.

— Не до утвари теперича людям, свое бы не потерять, а то и голову.

— Глядишь, пронесет.

— Нынче не пронесет, господин хороший, час земле пришел.

— Какой же?

— Урочный. Созрела земля наша грешная для большого мора и глада и для больших кровей.

— И что же будет, по-твоему?

— А будет, как в Писании сказано: новая земля и новое небо, все новое, а какое, один Бог знает. Знающие люди сказывают, кажинные тыщу лет эдак случается.

— Может, ты и прав, отец, только людей жалко.

— А чего их жалеть, люди что — Божья слизь, одну смоешь, другая народится, чего жалеть, коли сами себя не жалеют, поглядишь на иного, а из него псиный волос прет, быдто из лесного зверя, а из ноздрей дым идет, хучь бери и запирай в замочную клеть.

— Я, отец, про невинных говорю.

— А иде ты их видал, невинных-то, господин хороший?

— А Император, семья его в чем виноваты?

— Царь-то наш, господин, самый виноватый и есть. Упреждал его Григорий Ефимыч: не ходи на немца, нечего тебе с ним делить, оба-два сгинете не за полушку, не послушал Божьего человека, по своему слабому разумению порешил, а Рассея теперича расхлебывай.

— Это Гришка-то Распутин — Божий человек?

Только тут старичок резко повернулся к нему, с острой неприязнью проникнув его выцветшими, но не по возрасту зоркими глазами:

— Для тебя он, господин хороший, может, и Гришка, а для нас, грешных — Григорий Ефимыч, святая душа, Царствие ему небесное, за простой народ радетель перед царем и Господом.

— Видно, отец, мало ты о нем знаешь.

— А! — брезгливо отмахнулся тот. — Байки мне станешь сказывать о пьянках его да гулянках, об етом тебе тут всякий встречный-поперечный понарасказывает, ето усё шелуха, короста человеческая, от твари грех, а душа сама по себе живет, токо бы с Богом, а не супротив, а Григория Ефимыча душа с Богом жила, вот и дано ему было свыше, сподобился, святыми прозрениями озарен был.

— А с царем сладить не мог?

— Видал я этого царя, вот как тебя видал, нешто ему царем быть, нешто по плечам его такое-то царство, земля отцовская огнем горит, а он дрова пилит, царское ли это дело в эдакую пору?

— Что ж, по-твоему, ему делать было, отец?

— Не моего ума ето дело, но уж коли хочешь знать, то, по моему убогому соображению, самому бы себя отдать катам на растерзание принародно, кровь бы его тогда по всей земле возопила, покойники и те услышали, поднялся бы народ, ой как поднялся!

— Так ведь ты сам говоришь: срок земле пришел, может, и ему о том знамение было?

— Знамение знамением, а токмо в Писании сказано: Царствие Божие силой берется, Бог с ним искуплением своим волю даровал выбирать себе судьбину, а не уповать на одне Его милости.

Старичок умолк, снова замкнувшись в своем выходящем оцепенении. Удальцов, в свою очередь, задался над только что сказанным, стараясь перебороть в себе соблазн продолжить этот опустошающий его душу разговор, но, когда в конце концов не выдержал искуса и вновь оборотился к собеседнику, того уже и след простыл, будто приснился, пригрезился наяву, не оставив после себя ни следа, ни отзвука.

Вернувшись на судно, он подался было к себе, но, проходя мимо раскрытой двери кают-компании, услышал оттуда глуховатый голос Устрялова.

— Аркадий Никандрыч, не заглянете ли, у меня для вас имеется кое-что весьма интересное!

Тот сидел за общим столом, обложенный со всех сторон целыми ворохами газет, брошюр и листовок самого разнообразного формата и величины.

— Вот полюбуйтесь-ка, Аркадий Никандрыч. — Устрялов протянул ему навстречу серый прямоугольник оберточной бумаги. — Замечательный в своем роде документик, если хотите.

Это оказалась листовка из тех, что тысячами растеклись тогда по самым глухим уголкам взбалмошенной Сибири. Аляповатый набор, презрев какие-либо знаки препинания или правила синтаксиса, причудливо расплывался перед глазами. В тексте высокопарно сообщалось, что на Дальнем Востоке уже выступил Великий князь Михаил Александрович, что он назначил Ленина с Троцким своими министрами, что Семенов к нему присоединился и что осталось только общими силами добить Адмирала. Подписано все это было с исчерпывающей лапидарностью: Щетинкин.

— Бред какой-то, — досадливо поморщился Удальцов, — зачем только вы все это собираете, Николай Васильевич?

— Ох, не скажите, Аркадий Никандрыч, не так-то этот Щетинкин глуп. Сам он из мужиков, на германской пробылся в офицерство, поэтому психологию своего брата-мужика знает превосходно. Он предлагает массе комбинацию, которая устроит всех. Как говорится, и волки сыты, и овцы целы. Ведь главный вопрос для крестьянина сегодня один: за кем идти, чтобы не прогадать, — а тут им в двух словах полная программа, и думать больше не о чем. Вы не находите, Аркадий Никандрыч?

— Не так уж он глуп, наш мужик, Николай Васильевич, вы человек сугубо городской, а я вырос в Сибири, среди крестьянства, на такой мякине его не проведешь, он у нас битый, стреляный воробей, мужик-то наш.

— Вы полагаете? — В вялых губах Устрялова утвердилось скептическая усмешка. — Мужик наш, Аркадий Никандрыч, по-моему, не столько умен, сколько хитер, на эту его хитрость Щетинкин и рассчитывает.

— Не просчитался бы.

— Не просчитается, Аркадий Никандрыч, уверяю вас, мужицкое царство нашему пахарю столетиями снилось, теперь он случая своего не упустит, с этой стихией Лейбе Троцкому вместе со всем его еврейским кагалом едва ли удастся справиться, перемелет она их, захлестнет и накроет с головой и навсегда, не по силам они себе задачу взяли, одними словами тут не обойдешься, а, кроме слов, у них за душой ничего нет.

— А у Щетинкина?

— Щетинкины, Аркадий Никандрыч, знают, чего хотят, эта порода живуча, как дикая растительность,

он-то сам, может, и сломает голову на своей партизанщине, но именно этот тип человека в конце концов одержит верх в нынешней драке, и ему принадлежит будущее. Крикуны и фанатики перегрызут друг друга в междоусобной драке, а щетинкины выждут своего часа и заполнят после них вакуум. Подлинные щетинкины даже не участвуют сейчас ни в чем, сидят себе по своим избам, покуривают да посматривают, им спешить некуда, чутье у них звериное, знают — время их впереди.

— В таком случае, что же вы предлагаете, Николай Васильевич, у вас есть рецепт?

Скептическая усмешка соскользнула с устряловских губ, он напрягся и отвердел:

— Драться до конца, перемолоть в этой драке как можно больше большевистской накипи, а после поражения идти на союз со щетинкиными, только с ними можно сделать Россию еще более могущественной, чем она была, другого пути у нас, истинных русских людей, нет.

(Сколько ты еще, Устрялов Николай Васильевич, соблазнишь этой романтической блажью, обрекши их на собственную Голгофу по всем девяти кругам гулаговского ада, пока, через пятнадцать лет, сам не сгинешь в той же беспощадной мясорубке: щетинкины, придя к власти, окажутся не большими патриотами России, чем Лейба Троцкий или Бела Кун!)

Удальцов вдруг почудилось, что в отчетном и как бы сонном лице его собеседника проступили острые черты недавнего старичка, встреченного им у церкви, тот же зоркий взгляд, та же отчужденность от окружающего, та же упрямая уверенность в своей правоте. Но усилием воли он мгновенно стряхнул с себя возникшее наваждение.

— Чем со щетинкиными, — выговорил он, поворачивая к выходу, — лучше пулю в лоб.

И вышел.

* * *

По возвращении в Омск худшее подтвердилось: 20 октября распространилось известие о взятии Петрограда, но уже на другой день оно было опровергнуто — кровопролитные бои под Царским Селом и Гатчиной завершились победой красных. Юденич отступил по всему фронту. Деникин же продолжал откатываться от Орла.

В кабинете Адмирала шли непрерывные заседания. Правительство и общечетность разделились на две непримиримые группировки: одна стояла за немедленную эвакуацию, другая — за оборону города до последнего. Каждая из сторон приводила неопровержимые, по ее мнению, доводы, но они наталкивались на столь же убедительные возражения. И все требовали от Верховного Правителя решающего слова.

Адмирал бесстрастно выслушивал спорящих, что-то чертил в блокноте перед собой, невидяще смотрел впереди себя в глубь кабинета и лишь после того, как пыл оппонентов, иссякнув, сошел на нет, заговорил, словно бы размышляя вслух:

— Если генерал Сахаров считает возможным защищаться, я не вправе ему мешать, победителей, как у нас говорят, не судят, мы должны ему дать шанс и полную карт-бланш, тем более что эвакуация так или иначе равна поражению, почему не сделать последнюю попытку? Но я не возражаю против эвакуации желающих членов правительства и населения, в случае неудачи это облегчит отступление войскам. Лично я покину Омск только с войсками. Вы свободны, господа.

Отпустив присутствующих вялым кивком головы, он, как это уже повелось между ними в последние дни, предложил Удальцову остаться.

— По всему вижу, полковник,— проговорил Адмирал, когда за последним посетителем закрылась дверь,— что вы тоже считаете защиту Омска бессмысленной, но поймите меня: если я сам бессилён что-то предпринять, я обязан предоставить такую возможность любому, кто хочет сопротивляться!

— Ваше высокопревосходительство, ваши решения для меня — закон, я не могу и считаю даже немыслимым для себя обсуждать их. Считаю своим долгом следовать за вами, куда бы вы меня ни позвали.

Адмирал облёгченно поднялся.

— Не знаю, как с кем,— темные глаза его празднично ожили,— а с начальником конвоя мне повезло. До завтра, полковник...

Заворачивая к себе, Удальцов зазвал за собой ординарца.

— Садись, Филя,— устало опустился он за стол против Егорычева,— есть у меня к тебе разговор, без чинов, как говорится, по-свойски. Человек ты молодой, но бывалый, вон сколько тебе пришлось пережить со мной вместе, скажи мне, положила ли тебе руку на сердце, выдюжим мы или нет?

У того от неожиданности и напряжения даже испарина на лбу выступила.

— Наше дело маленькое, солдатское, вашевысокбродь Аркадий Никандрыч, начальству виднее.

— Да не приbedняйся ты, Филя,— подсадовал Удальцов,— знаю ведь я тебя, как себя знаю, у тебя на все свое суждение есть, мало, что ли, мы с тобой вместе хлеба-соли съели, чтоб друг от друга таиться?

Тот смущенно засопел, заерзал на красешке стула, заскучал глазами по сторонам.

— По правде говоря, вашевысокбродь Аркадий Никандрыч, не потянем боле, выдохся народ.

— А что говорят?

— Говорят, замирать нужно, опять же комиссары в листах ихних землю сулят, а чего еще мужику надобно?

— Обманут ведь, Филя.

— Омманут, не омманут, а мужик верит, гадают, бабушка, мол, надвое сказала, а, глядишь, говорят, не омманут.

— Ну, а сам ты как думаешь?

— Мне и думать нечего, вашевысокбродь Аркадий Никандрыч, куда вы, туда и я, у меня с вами одне пути.

— А как посоветуешь?

— По мне, так часу ждать нельзя, уходить нужно, без задержки уходить, спасти Верховного и самим спастись.

— И золото народное им оставить?

— А што золото, от народа уйдет, к народу и придет, не одним золотом жизнь красна.

— Куда уходить-то?

— А хоть к монголам или китайцам, не погибать же ни за что, ни про что, а там видно будет.

Удальцов встал.

— Ладно, Филя, иди, спасибо за правду.

Егорычев, поднявшись, потоптался было около стула в заметном смятении, словно собираясь добавить что-то к сказанному, но, видно, раздумал и тихонько, чуть не на цыпочках вышел из комнаты.

Лишь теперь, после разговора с ординарцем, Удальцов по-настоящему представил себе всю серьезность создавшегося положения. И первая забота, которая овладела им сразу вслед за этим, была связана с одним-единственным именем: Елена! Через полчаса он уже был в порту и звонил у двери Катушевых.

Ему открыл сам хозяин, еще более одышливый, чем обычно, и заметно опустившийся.

— Аркадий Никандрыч, голубчик, вас словно Бог к нам послал.— Он пропустил гостя мимо себя, пахнув на него табачным запахом.— Что делать, ума

не приложу.— Катушев шел следом за ним, подсвечивая ему путь керосиновым ночником.— Дамы мои в совершеннейшей панике, хотят, жаждут бежать. Но куда и на чем, вот вопрос? На станции даже товарные поезда с боем берут, может быть, хоть вы что-нибудь посоветуете.

Слабо освещенная гостиная, в которой очутился Удальцов, походила на забитую до отказа камеру хранения, откуда навстречу ему устремились две пары вдруг загоревшихся надеждой женских глаз.

— Аркадий Никандрович, милый,— первой сорвалась с места Лена,— если бы вы знали, как я вас ждала.

И она, уже не стесняясь родителей, приникла к нему, голова ее оказалась на уровне его груди, и он, в восхищенном изнеможении склонившись над ней, бережно коснулся губами ее прически.

— Успокойтесь, Элен, прошу вас, все будет хорошо, я вам обещаю, вот увидите, все будет хорошо...

Потом в той же забитой кладью гостиной они сидели за наспех собранным чаем, за которым гость поспешил успокоить хозяев, поклявшись, чего бы это ему ни стоило, устроить им место в ближайшем спецешелоне, с каким они доберутся хотя бы до Красноярска.

— Оттуда,— облёгченно закончил он,— вам будет уже легче двигаться дальше, туда еще не докатилась общая паника.

— А вы? — Она внезапно вскинула на него полные слез глаза.

— Элен, дорогая, я офицер, мой долг оставаться с Верховным до самого конца, но, если судьбе суждено меня миловать, я найду вас, где бы вы ни были.

В том кошмарном бедламе, в каком им выпало существовать в те дни, это выглядело официальным предложением.

* * *

Собрались у Бразилизовского. Двадцатилетний красавец, только что произведенный в генералы за блестящую операцию по выводу своей дивизии из окружения, первым с воодушевлением ухватился за идею Удальцова:

— Надо смотреть правде в глаза, господа, это не классическая война, где случай может повернуть фортуна на сто восемьдесят градусов, это гражданская бойня, в которой, к сожалению, все против нас: и фронт, и тыл. Необходимо спасти хотя бы что есть. С атаманщиной у нас не может быть ничего общего, и у Семенова нам делать нечего. Остается единственный выход: отступить к восточным границам и там, в Монголии или Китае, попытаться воссоздать боеспособную силу.

Апоплексическое лицо генерала Зенкевича страдальчески передернулось:

— Господа, господа, зачем же смотреть на вещи так пессимистически, вы забываете, что за нашей спиной стоят союзники, у которых по отношению к нам есть известные обязательства, они помогут нам пробиться на Дальний Восток!

Но тут взвился с места обычно помалкивающий поручик Мельник, зять погибшего в Екатеринбурге вместе с Императором доктора Боткина.

— О каких союзниках вы говорите, генерал? Если английский король отказался дать убежище своему двоюродному брату, то неужто вы полагаете, что ваш английский коллега генерал Нокс рискнет хоть чем-нибудь ради нас с вами? Или, может быть, вы надеетесь на другого вашего коллегу из бывших чешских костоломов — генерала Гайду, но единственное, в чем он поможет кому-нибудь, так это накинуть петлю вам

же на шею, а о третьем вашем коллеге, генерале Жанен, мне даже говорить тошно, его давно по всем Божеским и человеческим законам надо было бы вздернуть на первой же русской осине, как Иуду. Что же касается свободолюбивых американцев, то они давно братаются с красными во Владивостоке. Не следует самообманываться, господа!

(Знать бы, знать бы тогда поручику Мельнику, что пройдет без малого пятьдесят лет и будущий сын его, Константин Мельник, сделается начальником контрразведки в той самой стране, одному из генералов которой он намеревался подобрать в России вполне заслуженную этим генералом осину!)

— Молодо-зелено, господа,— вмешался в перепалку генерал Редько, только что прибывший в Омск с Тобольского фронта, где бросил свою Северную группу войск на волю случая и судьбы, да и оставалось ли там что-нибудь от этой группы, один Бог знал.— На зиму глядя в непролазную тайгу двигаться безумство; пока есть возможность, нам от Московской дороги ни на шаг нельзя отходить, только в ней спасение.

— Под железнодорожным конвоем союзников,— бросил кто-то безликий из притемненного угла комнаты.— До самых чекистских заслонов.

Видно, решив, что в один вечер договориться о чем-либо будет трудно, Зенкевич решил разрядить атмосферу, примирительно заключив:

— Сколько бы мы здесь ни спорили, господа, за спиной у Верховного мы не вправе делать какие-либо заключения, только он может разрешить наш спор. Поэтому необходимо, чтобы кто-то из нас взял на себя ответственность в подходящий момент доложить Адмиралу суть нашего сегодняшнего разговора. Предупреждаю заранее, господа, я отказываюсь.

Воцарилось красноречивое молчание: догадывались, что подобного рода объяснение с Верховным Правителем могло окончиться для смельчака более чем печально.

После паузы, которой, казалось, не будет конца, поднялся Удальцов.

— Разрешите мне, господа?

На том и разошлись.

* * *

Поездка по фронту закончилась в Екатеринбурге, где было белым-бело. После первых февральских метелей наступило морозное безветрие. Снежный покров осел, засахарился, отчего выглядел как бы спекшимся. В его крахмальной белизне город походил на полустершийся чертеж, в котором едва угадывались полоски крыш, изгородей и оконных переплетов. И над всем этим нависало повитое печными дымками, белесое от стужи небо.

Позади оставалась долгая, но ободряющая дорога: фронт, несмотря на лютые холода, продвигался по всем направлениям, радушие населения было неподдельным, боевой дух на позициях держался без дисциплинарных понуканий, будущее представлялось обнадеживающим. Пожалуй, впервые за последние два года Адмирал несколько приободрился, уповая на лучшее. Но даже в эти, казалось бы, безоблачные дни к нему нет-нет да подступала сосущая сердце тревога: надолго ли все это?

Город, сквозь который несли его штабные сани, смотрелся вымершим: жизнь его, словно зверь в берлогу, забралась под снег, напоминая о себе лишь курной куделью над заснеженными кровлями.

С того самого дня, когда на Адмирала обвалилась высь известием о гибели Монарха, его тянуло сюда, в этот город, как притягивает путника близкая бездна: взглянуть, увидеть собственными глазами всю смертную жуть ее влекущей глубины, чтобы или

окончательно сойти с ума, или навсегда излечиться от безумия.

Поэтому прямо с вокзала он приказал вести себя к дому Ипатьева, где его, по предварительной договоренности, уже должны были ждать с подробным докладом обо всех обстоятельствах этого рокового для России убийства.

Дом развернулся к Адмиралу с лету всем фасадом — двухэтажный, приземистый, но не без претензий на некоторую вычурность. Его мертвые окна тускло посвечивали по сторонам из-под обледенелых наростов, одновременно маня и отпугивая содеянным в нем злодейством. Было в нем что-то от разграбленного склада или заброшенного могильника, откуда исчезло содержимое, оставив после себя лишь тлен и дыхание смерти.

Во дворе навстречу Адмиралу высыпала небольшая группа людей, из которой сразу же выделился, приближаясь, высокий, остролиций, в черных усах человек в барашковой шапке и шинели без погон.

— Здравствуйте, Ваше высокопревосходительство, разрешите представиться: судебный следователь Соколов.— Он близоруко вглядывался в Адмирала сверху вниз, будто гадал, не ошибся ли адресом.— Дозвольте также представить вам моих сотрудников...

После церемонии беглого знакомства все следом за Адмиралом гуськом потянулись в дом. Сумрак, царивший внутри, только подчеркивал его отпугивающую заброшенность. Все здесь носило следы разнузданной вольницы: замызганные полы, испещренные ругательствами стены, перекореженная в беспорядке мебель. Было видно, что бежавшие даже не пробовали замести следы совершенных бесчинств, настолько оставались уверены в своем праве на них.

С глухо бьющимся сердцем спускался Адмирал в подвальную часть дома, с каждым шагом все более ощущая приливавшую к ногам ватную слабость: «Хоть бы детей, женщин пожалели, Господи!»

Ему вдруг вспомнилась его единственная аудиенция у Императора в могиловской Ставке, перед назначением на Черноморский флот. Тот принял его без обычных официальных, усадил в кресло против себя, с отсутствующим видом глядел сквозь него, заученно складывая формулы Высочайшего повеления, но голос его при этом не выражал ничего, кроме укорененной усталости и безразличия ко всему окружающему.

Помнится, уже в тот июльский вечер шестнадцатого года Адмиралу передалась эта безвольная обреченность Императора, и он с тоской подумал тогда: «Не жилец».

И еще одно отчетливо отложилось в памяти: в разговоре с ним Император то и дело досадливо морщился, отмахиваясь от назойливо кружившей перед его лицом мухи...

Тусклый свет керосинового фонаря из-за плеча Адмирала слабо озарял перед ним небольшую, если не сказать крохотную комнату об одно окно, с растерзанной в беспорядочной стрельбе стенкой впереди.

«И как только они все здесь поместились! — заворуженно вглядывался он в выщербленную штукатурку и черные пятна на полу.— Это же бойня, настоящая бойня!» И уже почти задыхаясь, отвернулся, дернулся к выходу:

— Разрешите, господа...

Наверху, в наспех приборанной столовой, на покрытом белой простынею обеденном столе были выставлены для обозрения разрозненные останки императорской семьи.

Перед Адмиралом, аккуратно разложенное и пронумерованное, лежало то, что осталось от Дома Романовых, целой династии, трехсотлетней истории России: пепел, прах, горстка костей. Стоило ли строить государство, вести страну через кровавые бунты и еще

более кровавые войны, правдами и неправдами умножать ее славу и богатство, чтобы в конце концов обратить все в ней и обратиться самим в щепоть безымянного тлена? Конечно, тут сошлось множество разных причин и роковых случайностей, но уверенная в себе монархия вековым инстинктом должна, обязана была предугадать все эти причины и случайности вместе взятые и в судьбоносный час противопоставить смертельному стечению обстоятельств всю мудрость и глубину своего Божественного знания.

Только целиком проникшись этой единичностью, можно разрешить себе, не угрызаясь совестью, отправлять на плаху собственных детей, не брезговать святотатством и клятвопреступлением, преступать, если нужно, все Божеские и человеческие законы, а потом, в редких промежутках между громкими победами и еще более громкими поражениями, замаливать собственные грехи смиренными молитвами и показной щедростью.

И сразу же почему-то отчеканилось в памяти из переписки Грозного с Курбским: «Како же сего не могл еси разсудити яко подобает властителем не зверски яритися, ниже бесловесно смирятися? Яко же рече апостол: «Овех убо милуйте разсуждающе, овех же страхом спасайте, от огня восхищающе». Видиши ли, яко апостол страхом повелевает спасти? Тако же и во благочестивых царех и временех много обрящеши злейшие мучения. Како убо, по твоему безумному разуму, одинако быти царю, а не по настоящему времени? То убо разбойницы и татие мукам неповини суть (паче же и злейша сих лукавая умышления!). То убо вся царствия нестроения и междоусобныи бранями разлитыя. И тако ли убо пастырю подобает, еже не рассмотреть о нестроении о подвластных своих?»

Но как раз этим качеством и был обделен от природы последний монарх династии. Взамен этого она одарила его многими иными добродетелями — простотой, деликатностью, редким великодушием, но первая зачастую оборачивалась для окружающих хуже воровства, вторая воодушевляла проходивцев, а третьей пользовались все, кому не лень, — от казнокрадов до бомбодетелей. Его государство была собственная семья. Только в ней он находил опору в повседневных делах, только в единении с нею чувствовал себя полноценным человеком и лишь ее считал гарантией будущего России. Все, что находилось за пределами этого замкнутого мирка, представлялось ему крикливой и докучливой суетой, на соприкосновение с которой его обрекало происхождение и долг, вытекающий из этого происхождения.

Поэтому в роковой час, когда от него потребовалось усилие воли, чтобы взять на себя окончательную ответственность за судьбу династии и государства, он предпочел малодушно бежать в этот мирок, оставив страну на поток и растерзание разнузданной бесовщины. И затем бесславное отречение, прозябание в Тобольске, скорая нелепая гибель.

Монархия, по его глубокому убеждению, могла и еще сможет стать надежным залогом непрерывности истории и культуры, только если не будет пытаться приспособлять их к своему образу и подобию, а, наоборот, приспособит себя к ним, сделавшись лишь регулирующей силой, способной с чуткостью любящей, но умной матери мгновенно отзываться на их взлеты и падения и при этом помочь им в первом, но удержать во втором...

Потом Адмирал почти машинально листал объемистое следственное дело, мелькали даты, имена, фамилии так и не схваченных обвиняемых. Откуда, из какой тьмы возникли они, все эти белобородовы, голощековы, юровские или медведевы, и сколько они еще прольют невинной крови, пока та же тьма не

поглотит их?

(Много, много, Адмирал, они еще прольют невинной крови, но Тьма, породившая их, поглотит всю эту свору скорее, чем вы думаете, Ваше высокопревосходительство. Правда, прежде чем поглотить, она протаскает их через все девять кругов пыточного ада, и некому им будет помолиться, чтобы облегчить хотя бы душевные свои муки. Когда одного из них уже поволокут на плаху, ему только и останется, что вопить благим матом: «Я Белобородов, передайте в ЦК, меня пытаются!» Но ЦК не Господь Бог, кричи не кричи, не поможет!)

— Благодарю вас, господа. — Его неудержимо тянуло прочь от этого места, от этого дома, от этой засасывающей душу пропасти. — Честь имею.

И снова по коридору, через двор, наружу, а затем в сани и сквозь городскую белизну — к надежному теплу штабного бронепоезда.

На станции его застала необычная суматоха: на вокзальной платформе, оцепленной часовыми, бурлила толпа чешских легионеров, по путям беспокойно сновала железнодорожная обслуга, вокруг бронепоезда настороженно сгрудился адмиральский конвой.

— Беда, Ваше высокопревосходительство, — кинулся оттуда навстречу Адмиралу Удальцов: обычно невозмутимый, он выглядел не на шутку встревоженным. — Один из наших застрелил легионера.

— Кто? — на ходу бросил Адмирал, направляясь к поезду.

— Егорычев.

— Каким образом?

— Действовал по уставу, Ваше высокопревосходительство, — возбужденно дышал ему в затылок тот. — Стоял на посту, сначала крикнул, потом дал предупредительный выстрел, но ведь вы сами знаете, Ваше высокопревосходительство, чехам теперь сам черт не брат и море по колено, тип этот только обложил Егорычева матом, а на выстрел даже ухом не повел, ну, Филя мой и хлопнул его, как его по уставу учили.

— Так в чем же дело, если по уставу?

— Чехи подняли союзников, те грозятся разорвать отношения, легионеры, как видите, тоже бешут, Сыровой вот-вот прибудет для объяснений.

— Что ж, примем. — После пережитого им в этот день нервы его были напряжены до предела. — Пора наконец действительно объясниться.

Сыровой вкатился к нему в салон без предупреждения, волчком закружил по ковру перед ним, возмущенно поблескивая в его сторону своим единственным глазом.

— Когда прекратится это беззаконие, адмирал, я больше не намерен этого терпеть, вы можете безнаказанно лить кровь своих соотечественников, вы сами ответите за нее перед историей, но я не могу допустить, чтобы ваши люди лили чешскую кровь, за нее отвечаю я! — Но тут же осекся, поймав на себе побелевший от ярости взгляд Адмирала. — Это очень серьезно, Ваше высокопревосходительство.

Адмирал медленно поднялся, не спуская с гостя помертвевших в иступленном гневе глаз.

— Слушайте, вы, как вас там, господин Сыровой, вы не в пражской пивной, а в салон-вагоне Верховного Правителя России, держите себя в руках или я прикажу выбросить вас вон. Вы прекрасно знаете, что часовой действовал согласно существующим воинским правилам, поэтому незачем разыгрывать передо мной дешевую мелодраму. Зарубите себе на носу и передайте вашим иностранным друзьям: за неукоснительное исполнение служебного долга я объявляю часовому благодарность в приказе и рассылаю этот приказ по войскам.

— Но, адмирал...

— Для вас я не «адмирал», а «Ваше высокопревос-

ходительство», видно, генеральский мундир еще не сделал из вас военного, Сыровой, не сделал он таких и из ваших подчиненных, иначе они бы знали, что такое честь, а они ведут себя в приютившей их стране, как шайка обезумевших мародеров. Сначала вы изменили одной присяге, теперь изменяете другой, и все это ради спасения своей собственной шкуры, чего вы стоите вместе со своим воинством, Сыровой, плевка не стоите!

— Я вынужден доложить об этом своему Правительству, — еще догорал, попыхивая угольным треском, тот. — Это неслыханно!

— Под шумок большой войны, за спиной у истекающей кровью Европы вырыли себе свою национальную норку и думаете отсидеться в ней от всемирного потопа. Не получится, Сыровой, рано или поздно потоп этот доберется и до вашего иллюзорного убежища, где вы вознамерились теперь избавиться от своей лакейской мизерабельности за счет чужой крови, а от этого можно избавиться только за счет своей, но она достигнет вас, эта кровь, и падет, если не на вас, то на ваших детей. — Гнев в нем схлынул так же внезапно, как и возник, он даже не сел, а обессиленно упал в кресло, отвернувшись к окну. — Среди вас был лишь один человек — полковник Швец, который понимал это, вот он и покончил с собой, чтобы не разделять с вами вашего позора.

— И все же, Ваше высокопревосходительство...

Адмирал только отмахнулся с вялой брезгливостью:

— Я вас более не задерживаю, Сыровой, но в следующий раз соблаговолите предварительно докладывать о своем визите по форме, иначе, повторяю, я прикажу спустить вас с лестницы.

И прикрыл веки, словно занавес опустил между собой и гостем.

* * *

Сквозь смотровую щель штабного блиндажа и расступавшееся впереди редколесье обзор открывался как на ладони. Адмирал поднял бинокль, и полевая даль за лесной опушкой приблизилась к нему почти вплотную.

Сначала в знойном мареве над июльским полем перед ним выявилась кромка березовой рощицы, дальним своим краем стекающей за горизонт. Затем, от этой рощицы, словно стронувшийся с места подлесок, выделилась изреженная россыпь темных фигурок. Издалека казалось, что они не передвигались, а плыли поверх некошеной травы, устремляясь туда, где на крутом изгибе речного берега сгрудились вприпрыжку друг к другу тесовые крыши облепившего его села.

Фигурки плыли в полной тишине, прошитой лишь шипом и стрекотом полевого царства, и, глядя со стороны, можно было подумать, что происходит безобидная игра в «детские солдатики».

Но чем короче становилось расстояние между атакующей цепью и селом на взгорье, тем явственней обозначался в фокусе адмиральского бинокля облик наступающих: жесткие, без кровинки лица, напряженно откиннутый немного назад корпус, руки, судорожно слившиеся с прикладом и ложем винтовки у плеча, — знак смерти на гимнастерке.

В двух шагах впереди цепи, словно возглавляя парадный строй, вышагивал подбористый, саженного роста офицер, и, остановив на нем окуляры, Адмирал сразу узнал его: Каппель.

«Будто сам смерти ищет, — горько отложилось в нем, — не к добру это».

Что он знал об этом Каппеле? Почти ничего, кроме обычного послужного списка: Николаевское кавалерийское училище, Академия Генштаба, мировая вой-

на, герой штурма Симбирска и Казани. При немногих, да и к тому же коротких, встречах сух, подтянут, исполнителен до подобострастия: типичный выученик старой школы. Но что-то привлекало в нем Адмирала, тянуло встретиться в другой, менее официальной обстановке, даже пооткровенничать под сурдинку, но ежедневная суета закручивала его с утра до ночи, не давая опаматоваться, выбрать случай для душевной беседы, а время той порой шло и шло, упрямо увлекая их, отдаленных друг от друга людьми и расстоянием, к одному и тому же концу.

Чуткая, а потому осторожная к людям Анна, словно угадывая его слабость к Каппелю, не раз замечала ему в разговорах:

— Один у вас друг, Александр Васильевич, без лести преданный, — это Владимир Оскарыч, вот кому бы вам довериться...

За месяцы Верховной власти он так и не смог избавиться от некоторого ученического почтения к армейскому генералитету. Ему казалось почти непостижимым искусство распоряжаться целыми массами людей, двигая их по своему усмотрению в любую сторону и маневрируя ими в зависимости от случайностей, возникающих уже по ходу боя. Для этого, по его убеждению, они должны были обладать каким-то особым даром постоянного чувства личного взаимопонимания не только с этими массами, но и с каждым из подчиненных в отдельности.

Во флоте дело обстояло совершенно иначе. Флотоводцу вообще почти не было нужды выходить за пределы флагманской каюты или соприкасаться со скольким-нибудь большим количеством людей. Корабельная армада жила сама по себе, как предельно отлаженный механизм, в котором воля командующего играла не направляющую, а скорее регулирующую роль. Знания и точный анализ считались здесь важнее интуиции и таланта.

Наверное, поэтому Адмирал так благоволил к Гайде и младшему Пепеляеву, прощал им их своеволие и заносчивость. Для него — образованного и опытного моряка — было почти сверхъестественным, что вчерашний поручик и неудачливый фельдшер безбоязненно брались за любые крупномасштабные операции и, что самое поразительное, доводили их до более или менее успешного завершения.

Эта его слабость к сухопутным практикам не раз оборачивалась для него промахами в выборе военачальников...

Пулеметная очередь вперемежку с одиночными выстрелами, словно град ребячьих хлопучек, вдруг прошила раскаленную тишину и пошла, пошла сыпать, выхватывая из плывущих цепей мишень за мишенью. Но, не замедляя и не ускоряя шага, цепи продолжали двигаться, неотвратно, волна за волной накатывались, приближались к сельской околице, увлекаемые волей ведущего, и, наконец, растекаясь, слились с контурами далеких построек.

Стрельба, будто захлебнувшись, мгновенно смолкла.

— Взяли! — азартно выдохнул у него за спиной Удальцов. — Молодец Каппель!

Но в отличие от него Адмирал не испытывал радости. «Ради чего, — изводился он, — и зачем все это? За что, во имя какой корысти эти безусые мальчишки кладут свои головы вот так, еще не вздохнув полной грудью?»

Ответить на эту источавшую его муку, после всего пережитого им за последние месяцы, он не мог даже самому себе. События развивались так, что эти мимолетные успехи только подчеркивали общую обреченность.

Ему вспомнилась его зимняя поездка вдоль прифронтовой полосы. Тогда, после Перми, счастье, ка-

залось, улыбнулось им: взятие Оханска и глубокий обход Осы, бегство красных от Камы в сторону Вятки, победный штурм Уфы и, наконец, соединение передовых линий лыжников с архангельцами. Признание союзников ожидалось в ту пору со дня на день.

Но и тогда Адмирал не спешил оболящаться. Если бы враг у него существовал только впереди, ему не о чем было бы беспокоиться: под его рукой имелось достаточно боеспособных сил и опытных военачальников, чтобы одолеть любого противника. Но враг был сзади, у него за спиной, — в штабных и гражданских канцеляриях, на железнодорожных путях и проселочных трактах, в салон-вагонах и резиденциях союзников, в рабочих поселках, лесных деревнях, казачьих станицах: человеческая душа страшилась упустить выпавший ей случай пожить по своей воле и собственному разумению, не имея, к несчастью, ни того, ни другого.

Поэтому царившее зимой вокруг него повсеместное ликование не вселило в него особых надежд, слишком поучительным оказался для него весь его послефевральский опыт, чтобы утешаться иллюзиями удерживать прорванную плотину всеобщего безумия хрупкими подпорками фронтовых успехов.

Еще там, на Черноморье, в июне семнадцатого, когда корабельные заводы вломились к нему во флагманскую каюту с нелепым постановлением судового комитета о его смещении и аресте, он понял, что это конец всему и всего: то, что еще вчера казалось ему хорошо и надолго отлаженным механизмом, у него на глазах превращалось в груды беспорядочного лома, вдруг потерявшего всякое понятие о своем назначении.

У них не было причин подозревать его в чем-либо или за что-то ненавидеть: он не лукавил с ними и был к ним неизменно справедлив, но в их тогдашней торжествующей возбужденности и не чувствовалось ни обиды, ни злости, а лишь одно ликующее упоение властью над тем, что еще вчера оставалось им неподвластно.

Сколько разговоров, сколько мифов и легенд распустилось потом обо всей этой сцене, а в особенности о выброшенном Адмиралом за борт Георгиевском кортике! На самом деле все происходило обыденней и короче, без красивых жестов и аффектации. По правде говоря, он не прочь был даже подчиниться: в конце концов что, собственно, означал для него этот самый кортик, если рушилась сама основа, которая еще сообщала смысл каким-либо ценностям или отличиям? Но победительная ухмылка главаря — в прошлом знающего и покладистого боцмана — вызвала в нем такой прилив черного бешенства, что на минуту он потерял контроль над собой.

«Руки прочь, не ты мне его давал, — кортик со свистом рассек синеву за распахнутым настезь иллюминатором, — не ты его и отберешь...»

Приходя в себя, Адмирал повернулся к Удальцову: — Каптеля ко мне!

Потом, когда в сумерках они сидели друг против друга за собранным на скорую руку ужином, Адмирал вглядывался в невозмутимое, без единой морщинки лицо собеседника в поисках хотя бы тени, проблеска, налета тревоги или беспокойства, но тот в продолжение всего разговора производил на него впечатление человека, только что вернувшегося с безобидной прогулки и готового по первому приглашению ее повторить.

И лишь прощаясь, Каптель впервые напряженно потемнел, выдавая выжигавшую его изнутри муку.

— Вы спрашивали, Александр Васильевич, стоит ли командующему самому подставляться под пули? — В выпуклых глазах его проступила сдержан-

ная ярость. — Не знаю, может быть, и не стоит, но только мне с ними, — он кивнул куда-то за спину себе, — на одной земле не быть, а единственное, что у меня есть в обмен на это, — моя жизнь. — И тут же официально вытянулся. — Разрешите идти, Ваше высокопревосходительство?

После его ухода Адмирал долго еще сидел в одиночестве, глядя сквозь блиндажную щель в наступающую снаружи ночь. Он снова думал о тех, кто poleg сегодня там, в июльских лугах, и для кого уже не существовало ни этой ночи, ни этой тишины, ни завтрашнего, может быть, еще более тяжелого для них дня.

«Кто знает, — складывалось в нем, — не придется ли мне еще завидовать их участи? И одному ли мне?»

Впереди, над зубчатой кромкой отдаленного леса, вдруг возникла, мерцая и разрастаясь, одинокая, но торжественная в ночной тверди звезда. Звезда, от которой веяло горькой полынью. Его звезда.

Не оборачиваясь, он позвал Удальцова и, едва услышав за спиной легкое движение, распорядился:

— Попросите заготовить приказ о производстве генерал-лейтенанта Каптеля в полные генералы.

— Слушаюсь, Ваше высокопревосходительство!

А звезда продолжала набирать силу и возноситься.

* * *

Из записок Г. Гинса:

«В начале октября Верховный Правитель соби-
рался в дальнюю поездку, в Тобольск. Я решил
сопровождать Адмирала. Мне хотелось ближе позна-
комиться с ним, хотелось также побывать на фрон-
те, у самого огня увидеть солдат, офицеров, ознако-
миться с их настроением.

Как раз накануне отъезда в доме Верховного был
пожар. Нехороший признак. Трудно было предста-
вить себе погоду хуже, чем была в этот день. Не-
скончаемый дождь, отвратительный резкий ветер,
невероятная слякоть — и в этом аду огромное
заревое, сног искр, суетливая беготня солдат и по-
жарных, беспокойная милиция.

Это зарево среди пронизывающего холода осенней
слякоти казалось зловещим. «Роковой человек» —
уже говорили кругом про Адмирала. За короткий
период это был уже второй несчастный случай в его
доме. Первый раз произошел разрыв гранат. Огром-
ный столб дыма с камнями и бревнами взлетел на
большую высоту и пал. Все стало тихо. Адмирала
ждали в это время с фронта, и его поезд приближал-
ся уже к Омску.

Взрыв произошел вследствие неосторожного обра-
щения с гранатами.

Из дома Верховного Правителя вывозили одного
за другим окровавленных, обезображенных солдат
караула, а во дворе лежало несколько трупов, извле-
ченных из-под развалин. Во внутреннем дворе про-
должал стаять на часах оглушенный часовой. Он
стоял, пока его не догадались сменить.

А кругом дома толпились встревоженные, расте-
рванные обыватели. Как и часовой, они ничего не
понимали. Что произошло? Почему? День был яс-
ный, тихий. Откуда же эта кровь, эти изуродован-
ные тела?

Когда Адмиралу сообщили о несчастье, он выслу-
шал с видом фаталиста, который уже привык ниче-
му не удивляться, но насутился, немного побледнел.

Потом вдруг смущенно спросил: «А лошади мои
погибли?»

Теперь, во время пожара, Адмирал стоял на
крыльце, неподвижный и мрачный, и наблюдал за
тушением пожара. Только что была отстроена и ос-

вящена новая караульня, взамен взорванной постройки, а теперь горел гараж. Что за злой рок!

Кругом уже говорили, что Адмирал несет с собой несчастье. Взрыв в ясный день, пожар в ненастье... Похоже было на то, что перст свыше указывал неотвратимую судьбу.

Поездка в Тобольск состоялась. Для Адмирала был реквизирован самый большой пароход «Товарпар». Он должен был отойти в Семипалатинск. Уже проданы все билеты, и публика начала занимать каюты, когда пришло известие: «Всем пассажирам выгружаться». Шел дождь. Другого парохода не было, а публику гнали с парохода.

Бедный Адмирал! Он никогда не знал, что творилось его именем. Исправить сделанного уже было невозможно, и я ничего не сказал ему.

* * *

После тобольской поездки что-то словно бы хрустнуло, надломилось в налаженной было Адмиралом машине.

Тюменская операция окончательно захлебнулась. Началось беспорядочное отступление, а вернее бегство. Северный фронт разошелся по всем швам.

Затем, словно сползши по сухой стерне, пошли дымить крестьянские бунты, отзываясь на усмирения все новыми и новыми зарницами. Волнения подступали к самому Омску из Славногородского и Тарского уездов, с юго-востока и северо-запада, прервав линию сообщений Семипалатинск — Барнаул. Земля уходила из-под ног Адмирала.

После чего и с запада посыпались известия одно тревожнее другого. В конце октября Юденич отступил от Петрограда. Почти одновременно Деникин сдал Орел и начал стремительно откатываться к Ростову. Архангельского фронта больше не существовало. Омск оставался в одиночестве с глазу на глаз с Пятой армией наступающего противника.

И пошло, поехало.

Атаманщина в полном составе окончательно вышла из повиновения. Верным оставался только Дутов, но до него было далеко, и поэтому он мало чем мог помочь. Семенов удельным князьком отсиживался в Чите, Аненков куролесил по Семиречью, а Калмыков жег и грабил вокруг Харбина. И не существовало отныне на этой земле силы, которая смогла бы обуздать или утихомирить их.

Чехи, поддержанные союзниками, с каждым днем вели себя все более вызывающе. Их эшелоны забили железнодорожную сеть до самого Новониколаевска, блокируя любые перевозки в каких бы то ни было направлениях. Не считаясь ни с грузом, ни с графиком и пренебрегая чьими-либо приказами и просьбами, они самочинно реквизировали тягу и подвижный состав для подручных нужд и праздного передвижения. Сибирь сделалась заложницей этой разнузданной орды у себя, в своей собственной стране.

Омск стал походить на осажденную крепость. Вокруг города дымили кострами таборы беженцев, из которых наспех формировались разношерстные соединения: мусульмане, legionеры, православные крестовосцы. Молва перекачивала из конца в конец города недавние слова Адмирала: «Бежать больше некуда, надо защищаться».

На полыхающий неподалеку фронт были брошены последние резервы: морской батальон, городское ополчение и даже большая часть адмиральского конвоя. Упорство наступающих схлестнулось насмерть с отчаянием оборонявшихся.

Но — странное дело! — чем хуже и безнадежнее становилась общая ситуация, тем увереннее и тверже чувствовал себя Адмирал. Осознав худшее, он словно бы отряхнул душу от страхов и тревог вчерашней

неопределенности и с облегчением взглянул в глаза своей гибели. Царившая вокруг него паническая суета, обтекая его со всех сторон наподобие гулкого водоворота, почти не отзывалась на нем. По сравнению с тем, что ожидало его впереди, волнения и страсти вокруг виднелись ему теперь словно сквозь опрысканный бинокль, настолько они выглядели микроскопическими.

Видит Бог, он сделал все, бывшее в его силах, чтобы, оказавшись в самой стремнине сокрушительного потока, попытаться если не остановить этот поток, то хотя бы прикрыть собою тех, кто был ему особенно близок, а если и не сумел этого сделать, то не по своей вине.

Да и кому на его месте удалось бы совершить большее? Едва ли вокруг него имелись люди, видевшие дальше, чем он, и понимавшие, что все случившееся в России только начало пожара, который рано или поздно охватит остальной мир, и что война, залившая ее, теперь уже не кончится до тех пор, пока на земле останется хотя бы одна живая душа. Простому смертному не под силу была бы догадка, что человек впервые в истории затеял войну, которая захлестнет землю, а затем, дробясь и дробясь на все более малые боины, обернется последним поединком двух живых существ, после чего победитель, в последний раз огласив мертвую землю предсмертным криком, уничтожит самого себя. И тогда над поверженным миром прокатится торжествующий хохот Сатаны: «Я победил тебя, Галилеянин»...

* * *

Из дневника Анны Васильевны:

«Как трудно писать то, о чем молчишь всю жизнь, — с кем я могу говорить об Александре Васильевиче? Все меньше людей, знавших его, для которых он был живым человеком, а не абстракцией, лишенной каких бы то ни было человеческих жертв. Но в моем ужасном одиночестве нет уже таких людей, какие любили его, верили ему, испытывали обаяние его личности, и все, что я пишу, — сухо, протокольно и ни в какой мере не отражает тот высокий душевный строй, свойственный ему. Он предъявлял к себе высокие требования и других не унижал снисходительностью к человеческим слабостям. Он не разменивался сам, и с ним нельзя было размениваться на мелочи — это ли не уважение к человеку?»

И мне он был учителем жизни, и основные его положения: «ничто не дается даром, за все надо платить — и не уклоняться от уплаты» и «если что-нибудь страшно, надо идти ему навстречу — тогда не так страшно» — были мне поддержкой в трудные часы, дни, годы».

* * *

Из записок Г. Гинса:

«В день отъезда ударил мороз. Стало легче на душе: армия сможет отойти за Иртыш».

По обе стороны пути тянулись обозы отступающих частей. На станциях стояли длинной цепью эшелоны эвакуирующихся министерств и штабов. Платформы были наполнены всяким скарбом.

В Новониколаевске мы получили известие, что дела Деникина идут очень плохо. Я посетил стоявшее там Дитерихса. Он показал мне торжествующее радио большевиков, которое заканчивалось словами: «Плохо, брат Деникин, пора умирать».

Мы тронулись дальше. Ехали спокойно, но чувствовали себя путешественниками, а не правительством. Все разбилось, разорвалось на части и жило своей жизнью по инерции, не зная и не ища власти.

Только начиная от Красноярска, где путь уже не был так разбит, стали выходить местные администраторы, чтобы встретить и получить инструкции.

Но что мог дать им Вологодский, который в то время больше походил на путешественника, чем когда-либо! И встречавшие получали только последний номер «Правительственного Вестника» с Положением о Государственном Экономическом Совете. Это была последняя ставка правительства.

Любопытно, что одна из последних телеграмм Деникина извещала о разработке проекта учреждения законодательного органа. Этого же хотел и Миллер в Архангельске. Все пришли к этому выводу. Но Миллер просил одновременно дать ему право производить в чины и награждать орденами. Эту телеграмму мы оставили без ответа...

Армия Адмирала обратилась в беспорядочное бегство, а в район расположения сил генерала Деникина врезался клин наступающих красных войск. Деникин отступал, и не только миновала опасность Москвы, но и открылись перспективы освобождения хлебных районов. Юденич отступил к границам Эстляндии. В Юрьеве было достигнуто соглашение между советской Россией и Эстляндией о признании последней и прекращении военных действий. Юденич уже не думал о взятии Петрограда, его внимание было направлено в сторону спасения остатков разбитой армии.

Было чему радоваться в красной Москве.

Омское Правительство выехало 10 ноября, а 14-го Омск был уже занят красными. Произошло занятие Омска с той же понятной только для свидетелей гражданской войны, объяснимой только социальной психопатологией, катастрофической быстротой. Восстание внутри, неожиданное появление отрядов красных с севера — и все побежало, все силы гарнизонов куда-то испарились, одни отнимали у других лошадей, одни других пугали.

Впечатление непреодолимости красных сил усиливалось от стихийности их движения. Красная армия начала казаться всем непобедимой. Сила сопротивления становилась все слабее. Перелом наступления в сторону большевиков вызвал массовый переход на их сторону всех тех, кто относился безразлично или с антипатией к власти Верховного Правителя».

* * *

В Нижнеудинске поезд Верховного Правителя застрял в тупик. Адмирал сразу же почувствовал себя будто под стеклянным колпаком, настолько осязаемой сделалась окружающая его тишина. Связь с внешним миром прервалась окончательно, и лишь невероятными ухищрениями Удальцова, правдами и неправдами уломавшего станционных связистов, удалось дважды соединиться со штабом Западного фронта, но вести оттуда не принесли облегчения: фактически боевая сила продолжала существовать только на штабных картах.

На следующий день нарочным было доставлено два пакета: от Совета министров и генерала Жанена. В первом ему предлагалось отречься в пользу Деникина, во втором — отдаться под опеку чехов. Ультиматум вчерашних подчиненных выглядел дурной шуткой, предложение союзников о чешской опеке — смертным приговором.

Но, давно приготовившись к худшему, Адмирал не считал себя вправе связывать своей судьбой сопровождавших его людей.

— Вот что, полковник. — Он брезгливо протянул Удальцову обе бумаги. — Передайте этой сволочи, что

я согласен, и соберите ко мне тех, кто еще остался: офицеров, службу, конвой, я хочу попрощаться с ними.

Бумаги тот взял, но так и остался стоять с ними в вытянутой по шву руке.

— Разрешите, Ваше высокопревосходительство, изложить вам кое-какие соображения?

— Только давайте теперь попросту, Аркадий Никандрыч, без чинов. — От Удальцова исходила жаркая волна ожесточенной решимости, которой так не хватало сейчас ему самому. — Чего уж там, выкладывайте.

— Надо пробиваться в Монголию, Ваше высокопревосходительство. — Под укоряющим взглядом Адмирала он тут же с усилием поправился: — Александр Васильевич, к весне собрать там силу и ударить снова, я уже говорил с людьми, два десятка соберется вполне надежных, медлить нельзя никак, каждую минуту могут разоружить. — Видно, уловив в лице Адмирала проблеск колебаний, заговорил еще жарче, еще убежденнее: — Пробьемся, Александр Васильевич, легко пробьемся, комитетских здесь кот наплак, если бы не чехи, мы бы их без выстрела сняли, они носа за нами не высунут, а в тайге мы сами себе хозяева, я ведь родом из этих мест, с завязанными глазами проведу и выведу...

Надежда золотой рыбкой встрепенулась было в Адмирале, но померкла так же мгновенно, как и занялась.

— Верность вашу, Аркадий Никандрыч, я всегда ценил и ценю, но бегство — это не для меня. — Он устало горбился за столом вполоборота к Удальцову, но на собеседника не глядел, разговаривая скорее с самим собою. — За мной пошла армия, тысячи людей, они поверили мне, сколько из них сложили головы, а теперь, когда им совсем плохо, когда у них ничего не осталось, кроме веры в меня, я соглашусь их бросить? Нет, Аркадий Никандрыч, этому не бывать, это означало бы предать и живых, и мертвых, погибать, так уж вместе с ними.

— Но без вас-то нам уже и вовсе не подняться, Александр Васильевич, — почти выкрикнув, взмолился Удальцов. — Тогда всему конец!

— Пробивайтесь на соединение с Каппелем, Аркадий Никандрыч. — Все так же, вполоборота к собеседнику, Адмирал поднялся. — Во Владимира Оскарыча я верю, он еще сумеет, за ним пойдут. — Он медленно повернул к Удальцову опустошенно схлынувшее лицо. — Храни вас Бог, Аркадий Никандрыч!

И весь ушел в свои глаза, замкнувшись в них, как в раковинах.

Какой долгой видится жизнь вначале и какой короткой она оказывается в конце! Теперь ему представлялось, будто ее и вовсе не было, и мгновение, когда он осознал свое «я», все еще длится, вобрав в себя его путь от первых шагов по земле до сегодняшнего дня. Прерывистыми кадрами вспыхивали в его памяти фантомы и видения прошлого, сливаясь в конце концов в одно целое, в котором полностью замыкался магический круг его судьбы...

У него не было надобности даже оборачиваться, чтобы почувствовать ее присутствие, а почувствовав это, он тихо спросил, все так же глядя перед собой, но в себя:

— Вы уже знаете?

— Да.

— Что вы об этом думаете?

— Будем надеяться, Александр Васильевич, они все-таки европейцы.

— Европейцы обычно употребляют это слово, когда хотят оправдать свое равнодушие.

— Но они военные, дорогой Александр Васильевич, для них безразлично понятие чести.

— К сожалению, они давно забыли о том, что это такое.

— Но они предлагают нам перейти в вагон под их флагами.

— То есть в мой собственный гроб, покрытый их знаменами.

— И все же будем надеяться, Александр Васильевич, будем надеяться...

Легкие ладони ее легли ему сзади на плечи, и от этого их летучего прикосновения все в нем затихло, выровнялось, улеглось. Поэтому, когда на пороге появилась тучная фигура генерала Зенкевича, он был уже снова собран и предупредителен.

— Слушаю вас, генерал.

Тот некоторое время смущенно таращился на Адмирала базовыми глазами, грузно переминался с ноги на ногу и, наконец, выдал из себя с заметным усилием:

— Простите, Ваше высокопревосходительство, союзники торопят... Мы должны немедленно перебраться в чешский эшелон... Иначе они не ручаются за вашу безопасность... На станции беспокойно...

— Кто с нами?

Зенкевич еще более сник и напрягся.

— Только ближайшее окружение, Ваше высокопревосходительство... Такого условия чехов... Генерал Сыровой уже распорядился поставить нас на общий солдатский котел...

Адмирал равнодушно пожал плечами: Сыровой мстил. Мстил мелко и глупо, как всякий торжествующий плебей. На таких у Адмирала обычно не хватало даже презрения.

(Новоиспеченный чешский генерал великодушно дарил полному русскому адмиралу, Верховному Правителю России, право пользоваться котлом иноземных солдат, состоявшим из харчей, реквизированных ими у сибирских крестьян: не правда ли, восхитительно, а?)

— Я готов. Надеюсь, эти милостивые государи не оставят здесь, вместе с моим конвоем, русского золота?

— Золотой запас, Ваше высокопревосходительство, уже отбыл в Иркутск.

— Я был уверен, что об этом они позаботятся, деньги они считать умеют, в особенности чужие. Попросите собрать для меня самое необходимое, больше мне уже, наверное, не понадобится. Благодарю вас.— И к ней, с обреченной решимостью: — Анна Васильевна, милая, оденьтесь потеплей, холод на дворе анафемский...

С этого момента их отношения, дошедши до своего последнего предела, сделались обыденнее, проще, доверительней. У них уже не было надобности считаться с какими-либо ограничениями или условностями, связанными с их официальным положением. Впервые за эти годы существовавшей между ними переменчивой близости они стали наконец по-настоящему близки...

Ночь обвалилась на них звездной пропастью, перехватила дыхание режущей стужей и хрустко закричала под ногами, сопровождая их путь к чешскому эшелону.

Где-то далеко впереди, из-за крыши станционных построек, призывно пофыкивали огневые зарницы и перекачивался гул оружейной переклички. Тепло живой жизни затаилось под кровлями жилищ и вагонов, посвечивая оттуда тусклыми огоньками притененных окошек, а над всем этим, угрожающе сдвигаясь, аспидно возносилось раскаленное от звезд небо.

(Мне кажется, что я и вправду вижу ее — эту маленькую процессию на железнодорожных путях заштатной сибирской станции, с падающими летучими

теньями на сверкающем снегу, и все во мне устремляется следом за нею, этой процессией, чтобы, преодолев барьеры времени, настичь ее и остановить: куда вы!)

В коридоре вагона второго класса было не протолкнуться, но при появлении Адмирала и его спутницы солдатский гомон затих, раздвинулся вдоль окон, уступая им место для прохода, а затем молча, со смущенным любопытством, пропустил мимо себя в отведенное для них купе.

Щелчок замка задвинутой за ними двери отделил их от этого любопытства, и они наконец остались наедине.

— Я виноват перед вами, Анна.

— Александр Васильевич, милый, полноте!

— Милая Анна, Аннушка, Аннет...

— Если бы всегда так...

— Еще не поздно, Анна, еще не поздно...

— О, если бы!

Потом он укладывал ее на диване, кутал ей ноги своей шубой, а после сидел над ней, уже спящей, глядя в плывущую за окном ночь.

Сидел и думал о том, зачем и откуда он появился на этой земле, где и как его жизнь кончится и что останется после него на ней? В чьей гремучей смеси славянской и восточной кровей пустило корни родословное дерево, одним из побегов которого сделался он, — нынешний адмирал и Верховный Правитель России в самую, может быть, страшную пору ее истории...

Ему не требовалось гадать о своем конце. Конец этот был совсем близок и уже неотвратим. Гадать он мог лишь о том, где и как это произойдет. Но вот что останется после него на земле и останется ли вообще что-нибудь, это сейчас занимало и мучило его более всего.

Где-то там, в далеком Париже, затерялись два близких ему существа — жена и сын. С женой они расстались без объяснений: у нее оказалось достаточно ума, силы и великодушия, чтобы понять, что случившееся между ним и Анной не было мимолетным увлечением, и вовремя отойти в сторону, но судьба сына продолжала терзать его до сих пор. Что будет с ним, кем он вырастет и каким запомнит отца?

В последние месяцы, оставаясь наедине с собой, Адмирал часто мечтал о том, чтобы после него остался хотя бы один-единственный свидетель, который когда-нибудь рассказал его сыну историю выпавшего ему крестного пути. С каким облегчением он принял бы тогда свой конец!..

Дверь распахнулась, будто вывалилась, обнажив прямоугольник тускло освещенного коридора, а в нем, как в портретной раме, приземистую фигуру чешского офицера.

— Наше командование, — тот старательно выговаривал явно заранее выученные наизусть слова, но на Адмирала не смотрел, скосил взгляд в сторону, в глубину купе, — передает вас иркутским властям в целях вашей собственной безопасности.

И хотя Адмирал ждал этого и давно приготовил себя к самому худшему, все в нем мгновенно оборвалось и зябкой волной схлынуло к ногам.

— Значит, союзники предают меня? — Но усилием воли ему тут же удалось встряхнуться и взять себя в руки. — Пройдемте в коридор, даме необходимо привести себя в порядок...

При этом Адмирал смотрел мимо чеха, в окно за его плечом, где на черном фоне холодной ночи, словно вклеенная в верхний угол оконного стекла, неслась навстречу ему одинокая и торжествующая в своем одиночестве звезда.

Его звезда.

В ярко освещенной зимним солнцем комнате перед ним собралось четверо. Разглядывая их, он не находил ничего такого, что отличало бы хотя бы одного из них от простых смертных единой чертой или поведением. Встретить такого случайно на улице, пройдеши мимо, даже не заметив. Но вот теперь именно им — этим четверым, предстояло вести допрос и решать его судьбу.

Да и сам допрос менее всего походил на допрос. Это было скорее нечто среднее между праздным разговором и школьным экзаменом, где стороны заранее знают, о чем пойдет речь. Он старательно пересказывал им свою биографию (будто они ее сами не знали!), политические взгляды (словно взгляды эти оставались для них секретом!), историю его деятельности на посту Верховного Правителя (деятельность эта была им известна лучше, чем ему самому!), следовательно благодушно попиwali себе чаек (впрочем, подследственного тоже не обносили!) да посматривали на него с неослабевающим любопытством.

Собственно, из всех четверых и старался-то только один, некто Алексеевский, этакий въедливый господин с обличьем испитого сельского учителя. Он явно дорвался до своего звездного часа и старался вовсю, но особенно не поддержанный остальными, тоже вскоре заразился общей вялостью и сник, уступая очередной вопрос кому-либо из коллег.

Они словно бы играли с ним в какую-то еще непонятную ему игру. Постепенно у него стало складываться впечатление, что у них самих нет уверенности в своем праве вести такой допрос, что судьба его решается не ими и что все происходит по инерции, в ожидании некоего подлинного хозяина положения, который и должен будет решить участь арестованного.

Поэтому, машинально отвечая на вопросы, он стал теперь мысленно конструировать для себя прошлое каждого из следователей, и это отвлекало его от томительных мыслей о завтрашнем дне.

Кем бы мог, например, быть Председатель Попов в своей прошлой жизни? По внешнему облику, по манере двигаться и немногословности в нем чувствовался полунинтеллигентный мастеровой из кадровых подпольщиков, а вот в его заместителе со странной фамилией Денике проглядывался скорее тип хлопотливого, но не слишком удачливого земца с большими, хотя и едва ли осуществимыми амбициями.

Особенно Адмирала заинтересовал четвертый член комиссии — Лукьянчиков, более других походивший на судейского, но за все дни допроса так и не проронивший ни единого слова, даже поглядывавший на него временами с некоторым сочувствием.

«Что он, кто он? — терялся Адмирал в догадках. — На чиновника не похож, на «светлую личность» из обиженных тоже, слишком интеллигентен для этого, тогда кто же он все-таки?»

Его занятиям физиономистикой положило конец появление на очередном заседании быстрого в движениях, грациозного облика человека в щегольской солдатской гимнастерке, перепоясанной наборным казачьим ремешком. С этого дня Адмиралом занялись всерьез, хотя сам новопривыкший в разговоре участия не принимал, сидел себе, поигрывая своим ремешком, искоса поглядывая на подследственного.

Но в нескрываемом нетерпении, с каким тот выслушивал вопросы и ответы, в той почти безусловной непоседливости, с которой он обсиживал свое место, и в самом этом его нервном поигрывании ремешком сквозила уверенная повадка человека, облеченного настоящей, а не одной лишь видимой властью. Машина допроса сразу же закрутилась, избегая длиннот

и каких-либо околичностей. Речь теперь шла только о фактах и месте этих фактов в общей цепи доказательств.

К тому же, Адмирал сразу отметил, что с появлением этого непоседливого грача чаем его стали обносить, но всякий раз, когда стаканы проплывали мимо него, рука Лукьянчикова, будто невзначай, пододвигала ему свой. В таких случаях Адмирал благодарно кивал, но тот мгновенно отворачивался от него.

«Господи, — удивлялся он, — есть ведь и среди таких вот нормальные люди! — А про грача сразу подумал: — Мелок, ты, брат, мелок, а в большую власть войдешь, еще мельче станешь!»

И чувствуя, что развязка скользко устремилась к концу, стал с большей охотой возвращаться к себе в почти нетопленную камеру, чем сидеть в этой ярко освещенной январским солнцем и жаркой комнате за уже ничего не означавшими в его судьбе разговорами с чужими для него людьми. Там, в тюрьме, у него все еще оставалась возможность встречаться с Анной на прогулках и разговаривать, разговаривать, разговаривать с ней.

Когда перед очередным допросом его после завтрака вывели на прогулку (о, если бы ему знать тогда, что эта его прогулка с ней будет в их жизни последней!), он, взяв по обыкновению ее руки в свои, вдруг почти с детским восторгом просиял в лицо ей:

— А что, Анна Васильевна, неплохо мы с вами жили в Японии!..

Это было последнее, что она услышала от него на земле.

ИЗ ПРОТОКОЛА ДОПРОСА

21 января 1920 г.

Председатель: Вы присутствуете перед Следственной Комиссией в составе ее Председателя Попова, заместителя председателя В. П. Денике, членов комиссии: Г. Г. Лукьянчикова и Алексеевского для допроса по поводу Вашего задержания. Вы адмирал Колчак?

Адмирал: Да, я адмирал Колчак.

Председатель: Мы предупреждаем Вас, что Вам принадлежит право, как и всякому человеку, опрашиваемому Чрезвычайно-Следственной Комиссией, не давать ответов на те или иные вопросы и вообще не давать ответов. Вам сколько лет?

Адмирал: Я родился в 1873 году, мне теперь 46 лет. Родился я в Петрограде на Обуховском заводе. Я женат формально законным браком, имею одного сына в возрасте 9 лет.

Председатель: Вы являлись Верховным Правителем?

Адмирал: Я был Верховным Правителем в Омске Российского Правительства — его называли Всероссийским, но я лично этого термина не употреблял. Моя жена Софья Федоровна раньше была в Севастополе, а теперь находится во Франции. Переписку с ней я вел через посольство. При ней находится мой сын Ростислав.

Председатель: Здесь добровольно арестовалась г-жа Тимирева. Какое она имеет отношение к Вам?

Адмирал: Она моя давнишняя знакомая, она находилась в Омске, где работала в моей мастерской по шитью белья и по раздаче его воинским чинам — больным и раненым. Она оставалась в Омске до последних дней и затем, когда я должен был уехать, по военным обстоятельствам, она поехала со мной в поезд. В этом поезде она доехала сюда до того времени,

когда я был задержан чехами. Когда я ехал сюда, она захотела разделить участь со мною.

Председатель: Скажите, адмирал, она не является Вашей гражданской женой, мы не имеем право зафиксировать этого?

Адмирал: Нет.

Н. А. Алексеевский: Скажите нам фамилию Вашей жены.

Адмирал: Софья Федоровна Омирова. Я женился в 1904 году, здесь, в Иркутске, в марте месяце. «...» Отец мой, Василий Иванович Колчак, служил в морской артиллерии. Как все морские артиллеристы, он проходил курс в Горном институте, затем он был на уральском Златоустовском заводе, после того он был приемщиком морского ведомства на Обуховском заводе. Когда он ушел в отставку, в чине генерал-майора, он оставался на этом заводе в качестве инженера или горного техника, там я и родился. Мать моя Ольга Ильинична, урожденная Посхова. Отец ее происходит из дворян Херсонской губернии. Мать моя уроженка Одессы и тоже из дворянской семьи. Оба мои родители умерли. Состояния они не имели никакого. «...» Сестра моя Екатерина замужем, фамилия ее Крыжановская. Она осталась в России, где она находится в настоящее время — я не знаю. Жила она в Петрограде, но я не имею о ней никаких сведений с тех пор, как я уехал из России.

Свое образование я начал в 6-й Петроградской Классической Гимназии, где я пробыл до 3-го класса, затем в 1888 «86?» году я поступил в Морской Корпус 12 лет и окончил свое воспитание в Морском Корпусе в 1894 году. В Морской Корпус я перевелся по собственному желанию и по желанию отца. Я был фельдфебелем, шел я все время первым или вторым в своем выпуске, меняясь со своим товарищем, с которым поступил в Корпус, из Корпуса вышел вторым и получил премию адмирала Рикорда. Мне тогда было 19 лет. «...» По выходе из Корпуса в 1894 году я поступил в Петроградский 7-й флотский экипаж, пробыл там я несколько месяцев до весны 1895 года, когда был назначен помощником вахтенного начальника на только что законченном тогда постройкой и готовящемся к отходу за границу броненосном крейсере «Рюрик». Затем я пошел в первое мое заграничное плавание. Крейсер «Рюрик» ушел на восток, и здесь во Владивостоке я ушел на другой крейсер «Крейсер» в качестве вахтенного начальника в конце 1896 года. На нем я плавал в водах Тихого океана до 1898 года, когда этот крейсер вернулся в Кронштадт. Это было первое мое большое плавание. В 1898 году я был произведен в лейтенанты и вернулся уже из этого плавания вахтенным начальником. Во время моего первого плавания главная задача была чисто строевая, на корабле, но, кроме того, я специально работал по океанографии и гидрологии. С этого времени я начал заниматься научными работами, я готовился к Южно-Полярной экспедиции, но занимался этим в свободное время, писал списки, изучал южно-полярные страны, у меня была мечта найти Южно-Полярный Полюс, но я так и не попал в плавание на Южном океане.

«...»

Председатель: Иначе говоря, мирились ли Вы с существованием монархии, являлись ли Вы сторонником ее сохранения, или Японская война и революция 1905—06 гг. внесли изменение в Ваши политические взгляды?

Адмирал: Моя точка зрения была точкой зрения служащего офицера, который этими вопросами не занимался. Я считаю, что при нашей присяге моя обязанность заключается в несении службы так, как эта присяга этого требовала. Я относился к монар-

хии как к существующему факту, не критикуя и не вдаваясь в вопросы по существу об изменениях строя; я был занят тем, чем занимался. Как военный, я считал обязанностью выполнять только присягу, которую я принял, и этим исчерпывалось все мое отношение. И сколько я припоминаю, в той среде офицеров, где я работал, никогда не возникали и не затрагивались эти вопросы.

Н. А. Алексеевский: Среди военных, как среди всего русского общества, условия и политические события, связанные с династией и, в частности, с семьей бывшего императора, события последних лет перед революцией повлияли в значительной степени на разрывание тех симпатий, которые существовали раньше. Военная среда в этом отношении не была чужда этой перемены. В частности, появление Распутина, его роль, насколько мне известно, повлияли на изменение отношений к династии и, в частности, к императору Николаю среди военных. Я имею сведения, что и в военно-морской среде существовали такие же настроения. Так вот, захватывали ли Вас эти настроения и в какой степени?

Адмирал: Насколько мы получали эти сведения и, в частности, о распутинской истории, они глубоко возмущали ту среду и меня, и тех, которые об этом деле осведомлялись и получали какие-нибудь известия. Я, например, помню такой случай. В 1912 году, когда плавал на «Уссурийце», — верно это или нет, — прошел слух, что Распутин собирается из Петрограда прибыть на место стоянки императорской яхты в шхеры и для этого будет дан миноносец. Я помню, со стороны офицеров было такое отношение: что бы там ни было, но я не повезу, пусть меня выгоняют, но я такую фигуру у себя на миноносце не повезу. Это было общее мнение командиров...

В. П. Денике: Мы как будто бы остановились на том, как сложились Ваши воззрения к концу 1906 года. Что же в дальнейшем за этот период времени с 1906 г. по 1917 г. ко времени революции происходили ли изменения Ваших политических воззрений и принимали ли Вы какое-нибудь прямое или косвенное участие в политической жизни страны?

Адмирал: Нет. Я не принимал участия, я в это время был занят чисто технической работой, у меня не было времени, я соприкасался с ними, поскольку бывали разговоры.

Н. А. Алексеевский: Здесь уместен один вопрос, который касается вот чего: Вы сначала нам скажите, имели ли Вы личные отношения с бывшим Императором и с выдающимися членами и деятелями династии и, в частности, имели ли Вы хоть одно свидание с Распутиным.

Председатель: Я прибавлю, не изменились ли эти отношения до самой революции 1917 года.

Адмирал: Я никакого участия в политической работе не принимал. Я скажу прежде всего о Государе. Нужно сказать, что до войны — меня выдвинула война — я был слишком маленьким офицером, слишком маленьким человеком, чтобы иметь соприкосновение вообще с какими-нибудь высшими кругами, и потому я непосредственных сношений с ними не мог иметь по существу. Я не имел ни связей, ни знакомств, ни возможностей бывать в этой среде, среде придворной, среде правительственной. Соприкасался я с отдельными высшими правительственными лицами только тогда, когда я работал в Генеральном Штабе, когда я бывал в Думе, где мне приходилось встречаться с отдельными министрами, а кроме своего прямого начальства, я непосредственно не мог ни с кем сталкиваться. Государя я видел в Могилеве, в Ставке, перед этим я видел его, когда он приезжал на смотры на флот. При дворе я никогда не бывал. В 1912 году я видел Государя и царскую фамилию,

когда царская фамилия стояла на рейде «Штандарт» — в шхерах. Туда были вызваны отряды заградителей для постановки пробных заграждений и отряд миноносцев для конвоирования этих заградителей. Я тогда командовал «Пограничным». Туда прибыл Эссен. Мой миноносец состоял в распоряжении Эссена. Характер постановки мин был такой, что заградители шли из строя и сбрасывали мины, но для того, чтобы видеть характер этой постановки, мой миноносец назначен был идти рядом с ними. Вот на мой миноносец прибыли Государь, свита его и адмирал Эссен. Мой миноносец шел рядом с одним из заградителей, «Амуром», который ставил мины. Это был случай, когда Государь был у меня на миноносце, но так как я был командиром, стоял на миноносце и управлял им, то не мог с ним разговаривать. Затем после окончания постановки мин я пришел на «Штандарт».

Председатель: Вы уклоняетесь от прямого ответа: были ли Вы монархистом или нет?

Адмирал: Я был монархистом и несколько не уклоняюсь. Тогда этого вопроса: «каковы в Вас политические убеждения» — никто не задавал. Я не могу сказать, что монархия — это единственная форма, которую я признаю, я считаю себя монархистом и не мог считать себя республиканцем, потому что тогда такого не существовало в природе. До революции 1917 года я считал себя монархистом. Итак, я был на завтраке на «Штандарте», затем я второй раз видел Императора в Ревеле, когда Государь прибыл на смотр, на крейсер «Россия». Я тогда стоял во фронте, он пришел, обошел фронт, поздоровался с командой и уехал. Никаких других по своему положению я не мог иметь связей. Императрицу я видел единственный раз, когда я был на «Штандарте» — во время завтрака. Из Великих Князей до 1917 года я встречался в Морской Академии с Кириллом Владимировичем, видел я также Великих Князей, когда были смотры.

Н. А. Алексеевский: С Распутиным Вы ни разу не виделись?

Адмирал: Нет, ни разу не видал.

Н. А. Алексеевский: В числе вещей у Вас есть икона — золотой складень; там, как будто, есть надпись, что она Вам дана от Императрицы Александры Федоровны, от Распутина и какого-то епископа.

Адмирал: У меня есть благословение епископа Омского Сильвестра, которое я от него получил, это маленькая икона в голубом футляре. Эта икона принадлежит ему, он получил ее от каких-то почитателей с надписью, и так как у него другой не было, то он мне эту и подарил.

Н. А. Алексеевский: Мы бы хотели, чтоб Вы нам сказали, не касаясь всех событий, какие произошли после февральского переворота, изменились Ваши политические взгляды за это время и какими они представляются в настоящее время?

Председатель: Какова была Ваша общая политическая позиция во время революции?

Н. А. Алексеевский: Если угодно, мы зафиксируем в протоколе, что с высшими представителями прошлого режима личных отношений Вы не имели.

Председатель Чудновский: Мы бы хотели знать в самых общих чертах Ваши политические взгляды во время революции, о подробностях Вашего участия Вы нам расскажете на следующих допросах.

Адмирал: Когда совершился переворот, я получил извещение о событиях в Петрограде и о переходе власти к Государственной Думе непосредственно от Родзянко, который телеграфировал мне об этом. Этот факт я приветствовал всецело. Для меня было ясно, как и раньше, что то правительство, которое существовало предшествующие месяцы, Протопопов

и т. д., не в состоянии справиться с задачей ведения войны, и я вначале приветствовал самый факт выступления Государственной Думы как высшей правительственной власти. Лично у меня с Думой были связи, я знал много членов Гос. Думы, знал как честных политических деятелей, совершенно доверял им и приветствовал их выступление, так как я лично относился к существующей перед революцией власти отрицательно, считая, что из всего состава министров единственный человек, который работал, это был Морской Министр Григорович. Я приветствовал перемену правительства, считая, что власть будет принадлежать людям, в политической честности которых я не сомневался, которых знал и поэтому мог отнестись только сочувственно к тому, что они приступили к власти. Затем, когда последовал факт отречения Государя, ясно было, что уже монархия наша пала и возвращения назад не будет. Я об этом получил сообщение в Черном море, принял присягу вступившему тогда первому нашему Временному Правительству. Присягу эту я принял по совести, считая это правительство как единственное правительство, которое необходимо было при тех обстоятельствах признать, и первый эту присягу принял. Я считал себя совершенно свободным от всяких обязательств по отношению к монархии и после совершившегося переворота стал на точку зрения, на которой я стоял всегда, что я в конце концов служу не той или иной форме правительства, я служу родине своей, которую ставлю выше всего и считаю необходимым признать то правительство, которое объявило себя тогда во главе Российской власти. Когда совершился переворот, я считал себя свободным от обязательств по отношению к прежней власти. Мое отношение к перевороту и к революции определилось следующим. Я видел, для меня было совершенно ясно уже ко времени этого переворота, что положение на фронте у нас становится все более угрожающим и тяжелым и что война находится в положении весьма неопределенном в смысле исхода ее. Поэтому я приветствую революцию, как возможность рассчитывать на то, что революция внесет энтузиазм — как это и было у меня в Черноморском флоте вначале — в народные массы и даст возможность закончить победоносно эту войну, которую я считал самым главным и самым важным делом, стоящим выше всего — и образа правления, и политических соображений. <...>

* * *

Из дневника Анны Васильевны:

«И вот, может быть, самое страшное мое воспоминание: мы в тюремном дворе вдвоем на прогулке — нам давали каждый день это свидание, — и он говорил:

— Я думаю, за что плачу такой страшной ценой? Я знал борьбу, но не знал счастья победы. Я плачу за вас — я ничего не сделал, чтобы заслужить это счастье. Ничто не дается даром».

* * *

Из записей Пьера Бержерона *:

«16 января. Вчера Адмирала вместе с золотым запасом выдали Иркутскому комитету. В среде союзников все наперебой спешат свалить вину на чехов. Мы усиленно стараемся перекрыть других, что вполне понятно: наше участие в этом сомнительном деле слишком бросается в глаза. Генерал Жанен офи-

* Французский разведчик. — Прим. ред.

циально Главнокомандующий Чехословацким корпусом в Сибири, и без его ведома чехи никогда не решились бы на такой шаг. Головой несчастного Адмирала союзники расплатились с комитетчиками за свой беспрепятственный проезд через Байкальские туннели на Восток. Тимирева сдалась добровольно, предпочитая остаться с ним до конца. Какая сила любви и духа перед лицом циничного предательства! Стыдно считать себя после этого женщиной и офицером. Встречаясь, мы стараемся не глядеть друг на друга, делаем вид, будто не случилось ничего из ряда вон выходящего, в разговорах об аресте Адмирала ни звука, словно мы и впрямь находимся в доме покойника. Такое чувство, что все кругом обгажены с головы до ног, но трусят в этом признаться. Боже, как это унижительно! Утром у меня был на эту тему разговор с полковником Пишоном. Он выслушал меня без особого интереса. «Ах, Пьер,— горестно воскликнул он в ответ,— если бы вы знали, как мне все это надоело! Мы лжем, изворачиваемся, лукавим, лишь бы уйти от ответственности. Вам, Пьер, известны мои взгляды, я никогда не симпатизировал Адмиралу, но то, что сделали с ним при нашем молчаливом согласии, это свинство, это больше, чем свинство, Пьер, уверяю вас, нам еще придется за это очень дорого расплатиться».

Мне стало ясно, что я не одинок в своих пугающих предчувствиях. Россия вдруг представилась мне огромной опытной клеткой, в которой некоей целенаправленной волей проводится сейчас чудовищный по своему замыслу эксперимент. В чем замысел этого эксперимента и почему именно здесь, оставалось только гадать. Может быть, географическое пространство России, ставшее плавильным котлом для множества рас, вер и культур Востока и Запада, оказалось наиболее отзывчивым полем для социальных соблазнов и заманчивых ересей, а может, историческая молодость этой страны сделала ее столь беззащитной перед ними, кто знает, но что рано или поздно она втянет в свой заколдованный омут весь остальной мир, сомневаться уже не приходилось. И нечего теперь искать виноватых в этой роковой неизбежности. Большевики, инородцы, еврейский кагал, масоны или русские, с их рабскими инстинктами, какое то имеет значение? Все они, вместе взятые заодно со своими врагами, лишь слепые пешки в чьих-то искусственных и неумолимых руках, от которых не спасется никто: ни побежденные, ни победители. Вполне возможно, что погибающие сегодня окажутся счастливее оставшихся в живых и мне еще придется позавидовать судьбе Адмирала: ему в его трагическом пути было дано то, что навсегда утерять я,— Надежда. Итак, Адмирал: идущие на смерть приветствуют тебя!»

Поэзия



Мария
ГАЛИНА

Девятая
ЮНОСТИ

☆☆☆

В слепящем свете фар — о, как снега чисты!
Летят под колесо крахмальные бинты,
и белый снежный столб кивает и смеется.
Но позади бежит неровный красный след —
там странный край лежит, там утешенья нет.
Там красный снег летит, там красный ветер вьется.

☆☆☆

И если я — то лишь вдвоем с тобой.
И если тьма и глад — то несмертельны.
Выводит голос песни вразнобой
от погребальной и до колыбельной.
От черных дней — до будущей зари,
не помня своего предназначенья;
где если я — то в доме свет горит,
где если ты — то на небе свеченье.

☆☆☆

Л. Ямской

Такую картину и я бы хотела
иметь у себя на стене:
там бродит душа в ожидании тела,
там облако плачет во сне.
Там лица размыты, там звуки разъяты,
поскольку уже не слышны,
и тропки прокладывают закаты
к рассветам другой стороны.
И если придется проститься с надеждой, —
что нам остается тогда —
на грани тоски осторожная нежность,
и совесть на грани стыда.

☆☆☆

Здесь дожди, и в дожди опять холода идут от реки,
рыжий пес пытается снять мне зубами кольцо с руки.
Рыжий пес, он машет хвостом и бежит за лошадью вслед
через мост — а под тем мостом
рыбы спят — миллионы лет.
Ах, цепочка холодных дней до последующей зимы.
Рваной нитью сигнальных огней
самолеты встают, из тьмы.
И над всей полосой земли посередине материка
только поздние журавли, самолеты и облака.

Август

Поставлены рамы, оконные стекла промыты,
хозяйки уже сквозняки из квартир выгоняют,
и тычутся осы в кухонные сладкие плиты,
а там, за порогом, деревья окраску меняют.
Все необратимо, и время уже на исходе,
и тени уже от хозяев своих уползают.
Неважно, неважно — а все-таки, красное в моде,
и женщины серьги в прихожей, смеясь, примеряют.

Так просто дарить, не спросив никакого совета,
и не запастись ничего на грядущие годы,
оставив себе лишь немного печали и света,
да красное платье, которое вышло из моды.

☆☆☆

Равновесие — хрупкая вещь. Вот уже повело, потянуло.
Так продрогнувшую землю качнуло,
что уже ничего не сберечь.
Так гудят, увлекая с собой потайные, крутые течения —
даже то, что казалось судьбой,
может быть, не имеет значенья.

☆☆☆

По Украине движется ночная
темнота, зализывая хаты.
Месяц, точно грош, в кулак зажатый:
«Помираю, братцы, помираю!»
Уходил спокойный и веселый,
а в дому и холодно, и сыро.
В небесах — одни сплошные дыры,
а под ними — города и села.
Пахнет серпень молоком и медом,
чернобытьем, клевером, травой,
дальним громом, перезрелым плодом...
Отчего ж ты плачешь, Бог с тобою!

☆☆☆

Такие блага сыплются с небес
на нас, на наши скромные жилища,
что ранним утром мерно дышит лес,
проклюнувшийся в ночь на пепелище.
Казалось бы — деревьям и траве,
и птице — до людей какое дело?
Но так земля прогретая гудела,
так гнала сок по веткам, по листе,
что птица пела и брусника рдела.
Ее дыхание носится в полях,
дрожит, касаясь почек на ветвях,
и образы творит из мертвой глины...
К нам до сих пор добра еще земля —
в ней столько наших близких и любимых.

г. Москва



Марк
СЕРГЕЕВ

Диалектика

Был круг идей.
Проверили — кружок.
Был грозный Бог.
Проверили — божок.
Был сатана —
он все печати сжег.
Был поцелуй.
Проверили. Ожог!

Была беда.
Развеяли — туман.
Была святыня.
Глянули — обман.
Где было «да» —
владевает «нет»,
стоит вопрос,
где должен быть ответ.

Торможение

Что отдал — твое...
Ш. РУСТАВЕЛИ

Мы просим Бога одарить нас счастьем,
мы просим власти одарить нас благом,
людей мы просим быть милосердней,
а Время просим сохранить нам младость.
Не потому ли в час, когда тревога
зовет на баррикады перестройки,
мы не спешим свои покинуть блага,
чужой кусок не застревает в горле,
огонь мы открываем по убитым,
и милосердие в сердце к нам нейдет.
И мы не можем дерзко разогнуться,
и стать лицом к опасности и правде,
не потому ль, что мы просить привыкли,
а человек лишь тот, кто отдает.

☆☆☆

Холодный ветер треплет рощу,
и, стоя на ногах прямых,
деревья жалуются, ропщут
на языке глухонемых.
Они ветвями машут грозно:
«Остановись в конце концов!»
И не выдерживают гнезда
неоперившихся птенцов.
И, где взъерошенные кочки
весенней свежести полны,
лежат невинные комочки,
как жертвы мировой войны.

☆☆☆

Чем выше в гору — тем Байкал видней.
Вдали вода прозрачность потеряла
и кажется мерцанием металла,
что выплавлен из наших дум и дней.
Чем выше в гору — тем видней окрест,
всю мелочевку погасили воды,
возник мираж простора и свободы,
как испытанье, как особый тест.
Душа, душа, трудись, ищи ответ,—
уступы круты, кислород разрежен,
но если мы наросты не разрежем —
то счастья нет нам и спасенья нет.
Чем выше в гору — тем все реже лес.
И глаз с тебя природа не спускает,
и чистота святая возникает
от близости Байкала и небес.

Отзвук

Памяти Ояра Вацетиса

Я здесь брожу так много лет спустя,
внимаю шуму странноватых сосен.
О ком у них с тобой мы, сердце, спросим?
Кого зовем, надеясь и грустя?
Все изменилось здесь за долгий срок,
то — появилось, это — обветшало,
лишь над заливом тот же ветер шалый,
да чаек крик, да вымокший песок.
Старинный лес преобразился в парк,
все ж из души уходит все мирское,
и кажется, протяжно крикни: «О-яр!», —
и голос мне ответит: «Здравствуй, Марк».
Пронзил закат залива синеву,
рыбак-борей с небес уводит сети...
Был Ояр младше — нет его на свете,
я старше был — и все еще живу.
Я здесь брожу так много лет спустя,
меж Лиепупе и заливом Рижским,
здесь все звенит его стихом латышским,
живым, как жизнь, и чистым, как дитя.
И я душою обнимаю парк,
дугу реки, волнение морское,
и я кричу протяжно: «Здравствуй, О-яр!»,
и голос отвечает: «Здравствуй, Марк».
г. Иркутск



Геннадий
КРАСНИКОВ

Постскриптим

Всего хватало — и презренья,
железа и огня в крови,
лишь самой малости — прозренья
нам не хватало. И любви.
Любой, кто был здоров и ловок,
«громил», «вгрызался», «штурмовал»!
И нависал во всех столовых
над мисками «Девятый вал».
Работа. Марши. Речи. Голод.
И светлый впереди мираж.
Мир на «своих», «чужих» расколот.
И — берегитесь, кто «не наш»!
Так в этой схватке благородной
мы вырвали свои «права» —
теперь у нас была свободной
от всех сомнений голова.
Кому не били мы поклоны,
увы, не сосчитать уже,
менялись божества, иконы,
а Бога не было в душе...
Но время есть еще, Россия.
Начав с вражды, вернись к любви,
целуя головы седые,
детей своих благослови!
И вы, испив чужбины чашу,
кого Господь хранил и спас,
простите ныне нас «не наши»,
как мы с трудом прощаем вас...

☆☆☆

Призрак бродит по Европе...

Сгинь, Призрак бледный и унылый
(уже трикраты пел петух!),
и, вроде немочи постылой,
не утомляй болезный дух!
Под небом с грозovým отливом
зачем тебе судьбу пытаться,
зачем бродить по нашим нивам
и наши васильки топтать?..
Мелькая тенью в заоконье,
пугаешь маленьких ребят,
в полях стреноженные кони,
тебя почуявши, храпят...
Не заменяем мы ничими
свои грехи, свои пути,
не стой под окнами ночными,
в колодцах воду не мутить!
Сгинь за моря и за болота,
мы сыты до скончанья дней
твоею призрачной заботой,
свободой призрачной твоей!..

☆☆☆

Что там — рай впереди или ад,
что там — свет или тьма суждены,
сгинь, движенью мешающий гад,
нет обратной дороги назад —
все мосты сожжены, все мосты сожжены...

То гремели приказы: «Вперед!»
То кричат: «Возвращаться должны!»
Черт ли это безумье поймет,
и темнеет, как туча, народ...
Все мосты сожжены, все мосты сожжены!..
Мы же сами сожгли дочиста
все, чем с прошлым соединены,
ночь тосклива кругом и пуста,
головою бы в омут с моста —
все мосты сожжены, все мосты сожжены.
И отныне, куда ни шагни,
мы нигде никому не нужны,
впереди — лишь иллюзий огни,
сзади — в черном дыму головни,
все мосты сожжены, все мосты сожжены!..

Родное

Все тот же городок: дворы и подворотни,
состарившийся «центр», «модерн»-микрорайон,
сегодня — как вчера, а завтра — как сегодня,
заело в небесах, наверно, граммофон!..
Все те же облака, испачканные пылью,
все та же нищета и стыдоба витрин,
как в местный мавзолей — народа изобилье
в торжественном строю у магазина вин.
Все та ж речей и слов напыщенность чинушья,
как думать, жить, хотеть, вам объяснят Они;
все тех же сонных лиц святое простодушие,
что, Господи прости, лишь глупости сродни!
Все те же за окном весь день мелькают спицы,
и в воздухе сухом висит козлийный пух;
в тюремно-голубых пижамах у больницы
в тени акаций вновь томится чей-то дух.
Все так же чуть жива газетная колонка,
ведь ничего давно не происходит тут,
ну разве на плите взорвется самогонка,
да в темноте ножом кого-нибудь пырнут.
Все те же у крыльца бессмертные старушки,
Просвечивают вас дотошней, чем рентген...
А в общем, лень, тоска... И — хоть стреляй из пушки —
Не будет перемен... Не будет перемен.

☆☆☆

Как мы его ни упростили
(То он опасен, то смешон!..),
Спор Чаадаева с Россией
Еще отнюдь не завершен!
Уже и век переиначен,
Перелицован белый свет,
Но так же Чаадаев мрачен,
И мы раздражены в ответ.
В чем, в чем, а в кривде мы практичны,
Имеем опыт — возражать:
Ведь это непатриотично —
Родные язвы обнажать!..
Из всех-то изб натащим сору,
Уж то-то будет стыд и срам,
А ну как через эту гору
Побед не станет видно нам?!
И коль уж не переведутся
Грехи в Отечестве родном,
Пусть отвечают правдолюбцы
За них... И порешим на том!
...От возражений до напраслины
прямая — коротка весьма:
В России ум — всегда опасен,
И горе, горе — от ума!..
Пусть проклянут и отрекутся —
От слов, от слез, от горьких строк,
Но лишь такое безрассудство —
Всем нашим умникам — урок!
Пусть властный голос утверждает:
«Да будет свет! Окончен спор!»,
Но Чаадаевых рождает
По-прежнему родной простор!

Леонид БОРОДИН

РАССТАВАНИЕ

Роман

В десять утра звонит Андрей Семеныч. Это он как бы закрепляет нормализацию отношений. Сообщает мне, что вспомнил очень интересный эпизод кенигсбергской операции, который почему-то забыл, а теперь даже название фронтовой газеты вспомнил, где о том писалось. Я по телефону минут двадцать записываю его голос на магнитофон, зажав ладонями телефонную трубку и микрофон. Потом Андрей Семеныч стучит пальцем по трубке, я благодарю его и назначаю очередную встречу. Назначаю ее в моей квартире, и это настораживает Андрея Семеныча, он робко зондирует, нет ли в том моего нежелания появляться у него дома; я успокаиваю его: здесь под рукой все материалы и так мне удобней и прочее, но мне действительно не хочется ехать к нему, потому что знаю, жена его тоже будет извиняться, а извиняться ей, в сущности, не в чем. Он еще некоторое время говорит и никак не может закончить, словно боится первым положить трубку.

Я пытаюсь настроиться на дело — убираю постель, принимаю душ, пью кофе и говорю вслух: «Поработаем! Поработаем!» Но когда я уже неотвратимо один на один с рукописью, признаюсь себе, что работать сегодня не могу. Пересчитываю деньги, свой трудовой аванс, вычисляю истраченные, прикидываю, смогу ли при желании вернуть аванс в редакцию. Мне это очень хочется сделать. И уехать в город Урюпинск, в чудесный мирок отца Василия! Это было бы подлинно македонским решением, как распутать узел моих проблем.

Еще вчера это можно было сделать. И смешно сказать, связывает меня с Москвой нынче всего лишь поспешное обещание превратить мою халтуру в добросовестный мемориал для потомков Андрея Семеныча.

Попытаюсь сегодня написать главу о победе: мой герой в госпитале узнает об окончании войны. Все это уже тысячекратно описано, обэкранено, и я обязан найти новый нюанс, оттенок, не придумать его, а найти... Я хочу это пережить! Но сначала я должен определить свое отношение к войне, чем она была бы для меня, если б я жил в то время. Но если бы я жил тогда, что мог я знать обо всем, что было раньше — лагеря, пытки, измороженное крестьянство и очумелые от власти хамы... Нет, чтобы быть героем, как мой Андрей Семеныч, я должен был ничего этого не знать, ничего не понимать в происходящем. Или еще один вариант, в порядке исключения: я мог что-то знать и даже иметь к этому свое отношение, но война могла зародить во мне надежду, что мы потом разберемся во всем и всем воздадим по заслугам. Своеобразный кретинизм... Есть еще один, совсем частный случай — это если бы я осознал себя личностью именно на войне. Как бы воспринял я победу и возвращение к строительству все того же социализма?

Но при чем здесь мой конкретнейший Андрей Семеныч, и при чем здесь книжка, заказанная официальным издательством? Никаких вариантов мне не остается. А что остается? Радость героя по поводу великой Победы, скорбь о погибших! Это, конечно, имело место, и в массовом количестве, но почему-то и самый крепкий кофе не вдохновляет меня. Я же в конце концов не множительный аппарат, не однозвучное эхо партийных установок, я личность с запросами. Мне и калым подай, и чтоб совестью не тревожиться, ведь есть она у меня, пусть вся в ущербинках, как лицо после осы, но есть.

Я набираю номер Женьки Полуэктова, слышу

Рисунок Ивана Бронникова

Окончание. Начало см. в №№ 7—8 за 1990 г.

в трубке его солидный голос, завидую его солидности и мямлю:

— Слушай, Жень, а если я вообще пошлю всю эту халтуру и верну аванс, это будет очень неприлично? Женька долго кашляет.

— Старик, — говорит он голосом разъяренного дипломата, — если бы кто-нибудь видел, как я вожусь с тобой, меня приняли бы за гомосексуалиста. У тебя что, период духовного климакса?

— Как раз наоборот — у меня период духовного возрождения.

— Ну, так возрождался бы! — рычит Женька. — Я тут при чем?

Я тяжело вздыхаю и достаточно громко, чтобы Женька услышал и оценил, как мне тяжело.

— А и правда, ради чего ты со мной возишься?

— Ради чего? — Кажется, он скрипит зубами, а может, просто жвачку жует. — Ради того, чтобы твои планы осуществились полностью.

Он подчеркивает слово «полностью», и я глупо хихикаю.

— Ты хочешь жениться на Ирине?

— Хочу! — отвечает он лаконично.

— Разве только во мне дело? А ее мнение тебя не интересует?

— Слушай, старик, мы уже и так сказали много лишнего...

Но у меня зуд, я перебиваю его:

— Между прочим, Ирина ждет ребенка, и, заметь, не от меня, но ведь и не от тебя.

Я краснею, я чувствую, что совершаю подлость.

— Ты что говоришь! — Женька разом охрип.

— Знаешь, я, кажется, ляпнул лишнее. Прошу, будь умницей, забудь. Она мне так сказала. Может быть, просто придумала. У нас было объяснение...

— Стоп, старик! — Женька некоторое время молчит и затем отключается.

Я браню Женьку, я прохаживаюсь на его счет язвительными умозаключениями — и понятно: самого себя бранить скучно и неблагодарно... и к тому же я не решаюсь звонить Ирине...

Звонок. Я отскакиваю от телефона. Это, конечно, Женька! До него, наконец, что-то дошло, и он намерен выяснить... Я беру трубку и облегченно вздыхаю. Это Леночка Худова, я знаю ее по всхлипам, целую минуту одни всхлипы, я терпеливо жду.

— Генночка, — промямливает она, наконец, членораздельно, — женись на мне, а? Я буду хорошей женой.

— Договорились! Прямо сейчас? Но мне некогда. Ну, что случилось? Только без мокроты, трубка ржавеет.

Отчасти я даже рад ее звонку. Леночка всхлипывает и швыряет носом.

— Ну, докладывай.

— Можно, я к тебе приеду? Я не могу по телефону.

А что? Пусть приезжает. Мне нужно убить время до вечера, когда явится эта женщина по имени Валентина, а может быть, даже... Прекрасная мысль! Я задержу Леночку и включу ее в компанию. Все упростится, Леночка умеет создавать непринужденную обстановку, она вся такая домашняя, комнатная, уютная, мы споем с ней на два голоса старинный романс.

Я растолковываю, как лучше добираться до меня, она обещает взять такси.

Вот я опять думаю об Ирине, и опять мне неспокойно. Есть Тося, которая больше их всех, ее невозможно анализировать, о ней можно только мечтать, ее нужно видеть и чувствовать, она — сама жизнь.

Звонок в дверь, я открываю, и на грудь мне падает

Леночка Худова. Удивительно, как она умеет включать слезы, ведь в такси небось не рыдала.

— Помоги, Генночка! — пищит Леночка мне в ухо, орошая его слезами.

— Пойдем в комнату.

Я усаживаю ее в кресло, беру бумажную салфетку и прикладываю к ее щекам. Она спохватывается, достает из кармана брюк платочек и наполняет мою комнату запахами тонких духов. Через минуту она улыбается, глядя, как я с серьезным видом выжимаю салфетку в пепельницу.

— Ну тебя, Генка! — Она надувает губы. — Моя жизнь на волоске, а тебе все шуточки.

Я падаю на кушетку и говорю деловито:

— Рассказывай.

— Ну, чего рассказывать-то? Жуков совсем осатанел. Папа грозит выследить меня, я же где-то ночую.

— Где же мы ночуем? — спрашиваю с любопытством.

— Перестань! Жуков, наверно, бросит меня. Генночка, как мне его оженить, а? Ты вот женишься, как это Ирка сделала, расскажи.

— Очень просто, — отвечаю я с ленцой. — Нужен третий лишний.

Она хлопает длинными ресницами, потом говорит разочарованно:

— Нет, это я уже пробовала. Я ему говорю, что мне один режиссер с Мосфильма предложение сделал, а он говорит: «Ну и прекрасно, валяй».

Я поднимаюсь с кушетки, подхожу к ней, наклоняюсь.

— Дурочка. Третий, да не тот. Нужен маленький-маленький третий, чуть побольше моей ладошки и чуть поменьше твоей мордашки.

Она снова хлопает ресницами. В ее головке совершается какой-то мыслительный процесс, глаза расширяются, губы расплываются в улыбке.

— Ирка беременна! — восклицает она почему-то радостно.

Теперь я моргаю. А ведь и правда, и если допустить, что ребенок мой, то...

— Ирина здесь ни при чем, — отвечаю поспешно. — Но для тебя это вернейшее средство припечатать твоего Жукова к паспорту.

Леночка погружается в размышления.

— А если это не поможет, что со мной будет? — со спокойной задумчивостью говорит она, а глаза тем не менее мокры, и я снова лезу в стол за салфетками. Но, кажется, она пришла к какому-то соображению и решила отдохнуть от страданий.

— Как профессор живешь, — кивает она на машинку и россыпи листов и копирки. Она встает, подходит к стеллажам, пробегает пальцем по корешкам книг, как по клавиатуре.

— Это кто? — тычет она пальцем в портрет Солженицына.

Я отвечаю.

— Вот он какой! — удивленно щурится Леночка. — Я по-другому его представляла. А он и правда некрасивый. Злой к тому же.

Я не намерен это обсуждать с Леночкой и пытаюсь переключить ее внимание, но она стоит и щурится.

— Мой папа очень плохо говорит о нем.

— Твой папа лично знавал его? — спрашиваю я насмешливо.

Леночка утвердительно кивает.

— Кто же он, твой папа? — спрашиваю не без любопытства.

Леночка колеблется, кидает последний сердитый взгляд на портрет и отворачивается.

— Папка мой полковник, — говорит она с непонят-

ной ревностью и даже вызовом.— Он на Лубянке работает. Ты ведь не трепач, правда?

Я по-новому смотрю на Леночку Худову. Оказывается, она такая безобидная,— случайный выброс в нашу среду из того мира, который мы едва ли воспринимаем как мир людей, скорее как мир функций. К примеру, с детства знакомое «железный Феликс» я понимал как нечто железно-функциональное и менее всего личностное. Конечно, Леночка своего рода выродок, если оказалась в нашем кругу. Я смотрю на нее и молчу. Она по-своему понимает мое молчание и говорит не без обиды:

— Этот вот (кивок на портрет) и всякие другие чего только не наговорили, а папка мой честный и справедливый, а я его (кивок) и читать не буду.

Пора мне что-то сказать, но я, как тупица, не могу оторвать глаз от ее лица. Леночка начинает краснеть и, кажется, обижается.

— Папка говорит, что если им волю дать, то все развалится, а им и нужно, чтобы все развалилось. А китайцы сожрут все по частям. Что, не так?

Не могу я говорить на такие темы с Леночкой Худовой, имеющей главной своей целью оженить на себе посредственного режиссера телестудии. Но Леночке и самой эта тема уже прискучила.

— А мне все это надоело. Я хочу просто жить. Не-на-ви-жу политику!

Я верю ей, я верю, что она не-на-ви-дит даже ту «политику», какую отстаивает ее «папка».

Мне приходит в голову интересный вопрос:

— За что ты любишь Жукова?

Она удивленно смотрит на меня.

— Он талантлив?

Она поводит глазами туда-сюда...

— Кажется, не очень...

— Тогда за что? Может, ты свою любовь придумала?

— Может быть,— соглашается она спокойно.— Но я хочу выйти за него и только за него. Думаешь, других не было?

Бедный папа-полковник! Что ему какой-то второстепенный режиссеришка да еще с сомнительными связями вроде меня, или Юры-поэта, или Женьки?

— А Жуков знает о твоей родословной?

Она мотает головой.

— Прекрасно! Считаю, что ты его жена.— Я отдаю себе отчет, что не одну Леночку хочу осчастливить, но и не известному мне полковнику имею тайную мысль сделать небольшую гадость.

Леночка вся трепещет. Она верит мне. Она на меня надеется.

— Любезность за любезность,— говорю я.— Сегодня у меня трудное деловое свидание. Составь мне компанию.

Она кидается мне на шею. Надо полагать, целоваться — ее главная и единственная профессия.

5

Отец при полном параде, но ему не очень-то удаётся сохранить в лице обычное спокойствие, а увидев Леночку, он встревоженно хмурится. Я оставляю спутницу у двери, беру отца за локоть, отвожу в кухню.

— Это твоя новая?..

— Не новая и не моя, но мне кажется, она упростила ситуацию, впрочем, если тебе не угодно...

— Ну почему же...

— Не волнуйся,— успокаиваю его,— в любой момент ее можно отправить, это вполне в нашем стиле.

— Ну, если в стиле.— Отец улыбается.— Может быть, так будет лучше.

— А...— как бы это спросить? — Валентина... уже здесь? Как ее отчество?

— Николаевна,— буркает отец.

Бедный! Впервые я его вижу в таком несолидном положении, он нервничает, для него это противоестественно.

— Ты, пожалуйста,— говорит он просительно,— будь снисходителен и терпим, ты ведь можешь.

Господи, отец просит меня! Да чего я не сделаю для него, я сто лет мечтал услышать просьбу из его уст.

В отцовскую комнату мы входим все трое, и я испытываю удовлетворение: женщина моего отца очень мила и молода, и, когда жмутся руки и произносятся имена, она держится просто и естественно. А я боялся увидеть ученую мымру.

Отец сдержан, он уже спокоен, все происходит наилучшим образом. И я решаюсь немного покачать лодочку образовавшегося уюта.

— А не кажется ли вам,— говорю я, потягивая мускат,— что мы совершенно излишне перегружены знаниями? Вот я, например, ведь я уйму чего знаю, могу назвать имена всех членов Конвента времен Робеспьера, всех исполнителей роли Бориса Годунова, все полотна раннего Ван Гога и позднего Сезанна, в моей голове тысячи имен, названий, чисел — хотите знать, сколько световых лет до шестьдесят шестой звезды Лебеда? Или в каком году была битва при Кресси?

— В каком? — ловит меня Леночка.

Я только руками развожу, дескать, разве меня поймаете на таких пустяках.

— И вообще я сам не помню, сколько помню обо всем. А зачем? Это же бессмысленность. Знания — самообман.

— Ну как вы можете так говорить! — вскидывает Валентина, и я рад, кинула.— Вы решительно не правы!

Валентина явно малорусских кровей, у нее этакие украинские брови-дужки и характерный овал лица, но глаза светлые, какие бывают у казаков донских и кубанских. Если она и старше меня, то ненамного. Впрочем, с женским возрастом я не раз попадал вприсак. А что она возразить хочет, я знаю. Тема сама по себе с бородой.

— Феномены культуры такие же реальности, как мы с вами. Они имеют самостоятельную, непреходящую ценность, и человек имеет право жить в мире этих феноменов и считать себя не только полноценным, но и вообще...

— Даже слегка повыше прочих? — вклиниваюсь я.

Валентина теряется на мгновение, чуть краснеет, как девушка, и Леночка спешит ей на помощь:

— Ну и что? Если ценности культуры являются высшими в мире, то культурный человек — это больше, чем просто человек. Не выношу ханжества. Простые советские люди! Пусть только кто-нибудь назовет меня так.

— Леночка, успокойся, ты не простой советский человек.

Она не обращает внимания.

— Все политикой занимаются, сегодня одно, завтра другое, а вот Бах и Рафаэль — это на все времена, и я больше скажу...— Леночка сияет, я такой ее не видывал.— ...все человечество существует для Рафаэля. И для тех, кто его понимает, потому все остальное просто брехня.

— Несколько радикально,— мягко комментирует Валентина.

Отец незаметно толкает меня, и мы с ним выходим на кухню варить кофе.

— Валентина,— спрашиваю я,— она кто?

— Кандидат философских наук.

— А если не секрет, на чем она за кандидатилась?
— По-моему, ее тема — о главном звене в цепи исторических событий, есть такой момент в марксизме.

В его голосе так тонка ирония, что ее невозможно вычленишь, но и не заметить нельзя.

— И что же оказалось тем звеном в ее диссертации?

— По тем временам это называлось «плюс химизация».

— Понятно.— Я ухмыляюсь.— Развить эту тему до докторской помешало диалектическое колебание курса партии.

В ответ лишь пожатие плеч, в котором все ответы, выбирай, какой хочешь.

— Тебя интересует, мое мнение? — спрашиваю с некоторой наглостью, потому что знаю — интересуется, и еще как!

Опять пожатие плеч, на этот раз улавливаю нервозность.

— По-моему, она славная женщина и, ей-Богу, красивая.

Отец стреляет в меня глазами. Выдержка — одна сотая секунды, и в эту сотую секунды он успевает поблагодарить меня, и делает это таким образом, что я никак, даже при желании, не смог бы злоупотребить его благодарностью.

Мы несем в комнату чашки и торт, а там уже смех, гости переключились на иные темы, и по лукавым их глазам мы понимаем, что разговор был сугубо женский.

Некоторое время женщины полностью поглощены тортом, две милых кошечки у блюда со сливками, и это такое радостное зрелище — глаза сверкают, пальчики мелькают, и притом ни одного движения в ущерб очаровательности, сплошное совершенство движений и мимики. Мы с отцом насколько же грубее и примитивнее!

Вспыхивает эмоциональный обмен историями, где фигурирует какое-нибудь сверхтонченное блюдо, и отец начинает проявлять беспокойство — как я понимаю, не роняет ли себя Валентина в моих глазах столь пылкой увлеченностью гурманской темой. А меня так и зудит бес усложнить ситуацию, и я спрашиваю Валентину будто между прочим:

— Вы работаете вместе?

Взглядом этот вопрос переадресую и отцу и чувствую, как все сразу меняется, переходит в напряженную готовность.

— Даже на одной кафедре, — отвечает Валентина. — Только у нас скорее не работа, а служба, правда?

Это она спешит за помощью к отцу.

— В известном смысле, — говорит отец, — как работники идеологического фронта, мы, пожалуй, действительно состоим на службе.

Это он уводит в сторону, но я не поддаюсь.

— Значит, вы давно знакомы?

— Да уже лет пять или шесть...

— Семь, — уточняет отец и уже не смотрит на меня.

Я вовсе не хочу портить им настроение, мне хотелось бы видеть хоть намек на их близость, я хочу узнать, станет ли мне неприятно, когда увижу чувства отца к другой женщине, не сработает ли во мне еще не вытравленный остаток семейного чувства, хотя, что и говорить, наша семья так давно и прочно рассыпалась, что умерли все охранительные семейные инстинкты. Я искренне хочу отцу счастья, я убежден, что с матерью они уже никогда не сойдутся, я знаю, наконец, что и наши с отцом взаимоотношения невозможно ни испортить, ни улучшить. И в итоге что

в моей воле? Единственное — облегчить отцу дорогу к возможному счастью. Я встаю со стула, чуть-чуть, совсем не панибратски, касаюсь отцовского плеча, гляжу в прохладные зрачки Валентины и говорю довольно естественно:

— Я рад. Честное слово, рад! И вообще все правильно.

Переполненный ощущениями «правильности» происходящего, я выскакиваю из комнаты, бегу к себе. Ищу в записной книжке телефон Жукова, набираю, строгий женский голос сообщает мне, что Анатолий Дмитриевич на студии, звоню туда.

— Привет, — говорю, — как жизнь и прочее?

Жуков удивлен моим звонком и настроен.

— Слушай, — говорю дружески-заговорщицким тоном, — я насчет твоей Леночки. Ты знаешь, кто ее папаша?

— А это имеет значение? — осторожно спрашивает Жуков.

— Для меня не имеет, не знаю, как для тебя... Так вот, ее папаша полковник из одного учреждения на Лубянке. И есть агентурные данные, что сей полковник не на шутку встревожен тем обстоятельством, что его любимая дочь не ночует дома. Более того, намерен посредством своей сети установить подробные детали.

— Ты это серьезно?

Восторг! Жуков в шоке. Теперь можно помочь ему подняться с ковра.

— С Лубянской не шутят. Так что, пожалуйста, оцени по достоинству мою услугу, то есть информацию. И когда, став супругом знакомой нам особы, выбьешься в великие, не забудь, кто тебе первый стукнул о приближении эпохи грез. Не забудешь?

— Черт возьми! — бормочет Жуков. — Если ты не врешь, это все гораздо серьезнее, чем ты предполагаешь.

— Я ничего не предполагаю, я всего лишь из корыстных соображений информирую старого приятеля.

Жуков сопит в трубку. Как в зеркале, вижу его самодовольную физиономию в состоянии растерянности и тревоги. Но знаю, намек на перспективы он тоже усек.

— Ну пока! — кричу. — У меня, брат, тоже куча проблем, так что до встречи в лучшие времена.

В комнате отца я слышу смех. Там сидят счастливые люди. И я тоже хочу, чтоб мне было хорошо. Мое желание ни с чьим другим не пересекается, я никому дороги не заступаю. Я пробираюсь извилистой тропкой в обход чужих троп. И не так уж тесен мир, чтобы непременно толкаться локтями.

Я стою у двери в отцовскую комнату, слушаю бойкий говорок Леночки, мягкое щебетание Валентины, спокойное гудение приятного отцовского тембра и думаю, что хорошо бы поставить здесь рядом с дверью кресло, сидеть и дремать под шелест счастливых голосов милых и приятных тебе людей. Я взял бы на себя роль Цербера и кусал бы всех, приближающихся к этому порогу чем-то недобрый.

Разве не заложена в моей душе благородная ярость, не ловил я себя на желании иной раз оскалить зубы?

Петербургский мечтатель Достоевского — это величайший человеческий тип, он нашел в себе силы превратить грезу в источник жизни и тем напрочь избавился от мира необходимости. В новой реальности человек оказался целью, причиной и следствием, он был богом, пусть с маленькой буквы, это лучше, чем быть Человеком с большой, великовеличание

человека всегда оборачивается очередным его порабощением и уничтожением.

А мне, а нам не нужно величания, мы хотим покой! Вот те, трое за дверью, что им еще нужно в жизни?

— Я читала Шопенгауэра, — провозглашает Леночка. — Господи, какой дурак! Нет, вы не представляете, что он пишет!

— Что же пишет дурак Шопенгауэр? — спрашиваю я со смехом.

Леночка кидает на меня презрительный взгляд.

— Ни одна женщина... так он и говорит... ни одна женщина не станет сама предлагать себя, потому что при всей своей красоте она рискует быть отвергнутой, мужчинам, видите ли, часто не до любви. Но когда мужчина сделает первый шаг сам, то женщина, дескать, сразу становится сговорчивой. Ну, не дурак разве?

— Да, пожалуй, это не лучшая мысль Шопенгауэра, — с улыбкой соглашается Валентина.

Леночка энергично трясет кудряшками.

— Мужчина, который ничего не понимает в женщине, он вообще ничего умного сказать не может. Он же просто самец! Или вот еще: самый умный тот, по мнению этого философа, кто не проявляет жалости, потому что знает, что не встретит ее по отношению к себе. А вот мне его жалко, и значит, вся его философия — чепуха.

Леночка поджимает губки и затем сообщает полупшепотом:

— И Маркс ваш тоже дурак.

Теперь уже все смеются. И Леночка вместе со всеми.

Я ловлю переглядку Валентины с отцом и понимаю, что ей пора уходить. Но что-то во взгляде отца настораживает меня: он, кажется, огорчен или разочарован, и мне по-прежнему не ясно, что все-таки между ними...

И тут мне, последнему выходящему, вонзается в спину телефонный звонок. Я секунду колеблюсь, затем машу рукой, дескать, пусть звонит. Но отец, как всегда, деловит.

— Мы подождем тебя у подъезда.

И я возвращаюсь в комнату. Голос матери узнаю сразу.

— Гена, — говорит она неестественно спокойно, — ты не мог бы сейчас приехать ко мне?

Честно говоря, именно сейчас мне не хочется ехать к матери, не то у меня настроение.

— Прямо сейчас? — спрашиваю. — А может, завтра? У меня кое-какие дела...

Мать молчит.

— Что-нибудь серьезное?

Она по-прежнему молчит. Как будто телефон отключился.

— Алло! — кричу. — Ну, мама, в чем дело?

— Люсю арестовали, — говорит она глухо, и до меня не сразу доходит смысл слов.

— Почему? — спрашиваю глупо и тут же кричу: — Когда?

— Сегодня. Я прошу тебя приехать.

Я давлюсь словами:

— Конечно, конечно, я сейчас приеду.

И только выйдя из подъезда, глотнув прохладного воздуха сумерек, я вдруг совсем четко осознаю, что моя ненормальная Люська допрыгалась и этот факт входит в мою биографию...

Отец и женщины ждут меня. Я иду к ним медленно, и они настораживаются. Я отзываю отца в сторону и говорю, не глядя в глаза:

— Люся арестована.

Вижу при этом только руки отца, как-то нервно нырнувшие в карманы пиджака. Это жест не отцовский, это или испуг, или что-то другое... Я поднимаю глаза и вижу каменное его лицо и слышу полупшепот:

— Допрыгалась.

То же самое слово, что было сейчас и у меня на языке.

— Едешь к матери?

— Да.

— Я буду дома. Позвони мне... все подробно, пожалуйста.

Дверь мне открывает незнакомая женщина, смотрит на меня враждебно-вопросительно, за ее плечом вижу заплаканное, в красных пятнах лицо матери. Она стоит, подняв сжатые руки к подбородку, и только качает головой. Потом молча ведет меня в комнату.

В комнате полно диссидентов, они сидят, ходят, стоят, почти все курят, и, хотя окно распахнуто настежь, дым висит плотной завесой. Некоторых из них я знаю, видел здесь или в других местах, кого-то вижу впервые. Они угрюмы, и на меня никто не обращает внимания. По беспорядку в комнате понимаю, что был обыск.

— Что-нибудь нашли? — Это первое, о чем я спрашиваю мать.

По ее слабому жесту догадываюсь, что ничего существенного в квартире не было. Мать молча садится на стул у окна, ей тут же подают сигарету, щелкает зажигалка. Общее молчание, будто в доме покойник.

Ей трудно говорить. Я кладу руку ей на плечо, я бы обнял ее, но слишком много людей в комнате, к тому же звонок в дверь, и мать вспархивает, это ее почти судорожное движение отдается во мне болью — она на что-то надеется, даже не умом, а одним только инстинктом жизни. Да и я сам вдруг обнаруживаю в себе эту нелепую надежду, что, дескать, ну, поугали, пострашали, ведь девочка-истеричка, и больше ничего, совсем ничего, я же знаю точно, одна романтическая влюбленность в отступника-диссидента... Ну не дураки же они там, должны же понимать элементарные вещи!

Прибыли иностранные корреспонденты. Я замечаю их цепкие взгляды, охватывающие этак профессионально квартирный беспорядок, и я уже заранее читаю созревающие репортажи: «По сообщению из диссидентских кругов...»

Та женщина, что открывала мне дверь, диктует корреспондентам готовым текстом, и я с удивлением узнаю, что моя истеричная сестренка была чуть ли не инициатором движения, что за ней числится и то, и другое, и третье, и что ее арест есть нарушение международных конвенций, и потому еще раз анафема этому государству, которое еще со времен царя Гороха прославилось своим людоедством, и что к ряду его жертв — от Радищева, декабристов и петрашевцев — прибавилось новое имя, имя моей Люськи!

Если власть охраняющие соображают, как я, то такого опасного человека, как моя сестренка, непременно нужно упечь подальше и наподольше, но с еще большим удивлением я узнаю, что все перечисленные Люськины деяния совершенно не противоречат существующим законам, напротив, деяния властей — вопиющее нарушение этих законов, и потому Люську должны освободить немедленно, если власть не хочет, чтоб мировое общественное мнение неправильно поняло правильные основы советского законодательства.

Я сам в былые времена десятки раз подписывал подобные документы, не вникая в их смысл, мне

достаточно было эмоций, пафоса, и вот что странно — подписывался прежде в защиту чужих людей, а сейчас за свою родную сестру ни за что бы не согласился.

Я смотрю на мать — у нее на лице гордость, даже глаза стали иными, из них ушло отчаяние. Юркий корреспондент подходит к ней, целует ей руку, он полон сочувствия.

Мать застаю на кухне. Она не плачет, она стоит, закрыв глаза и чуть покачиваясь. И мне вдруг не жалко ее. Я закрываю кухонную дверь и говорю сознательно жестко:

— Честно говоря, меня удивляет, неужели ты не допускала такой исход?

Мать смотрит на меня и кусает губы.

— Зачем ты мне это говоришь?

В голосе уже сквозит раздражение. Что ж, пусть разозлится, ей лучше сейчас быть злой, чем несчастной.

— Я не верю! — Она отворачивается к окну. — Не верю, что тебе не жалко Люсю.

— Отец просил позвонить... — говорю я зачем-то.

— Беспокоится за свой служебный статус?

— Может быть, и нет.

— Не буду звонить!

— А я буду!

Она пожимает плечами почти как отец, я едва удерживаюсь от улыбки.

— Чем я могу помочь?

Она не смотрит на меня.

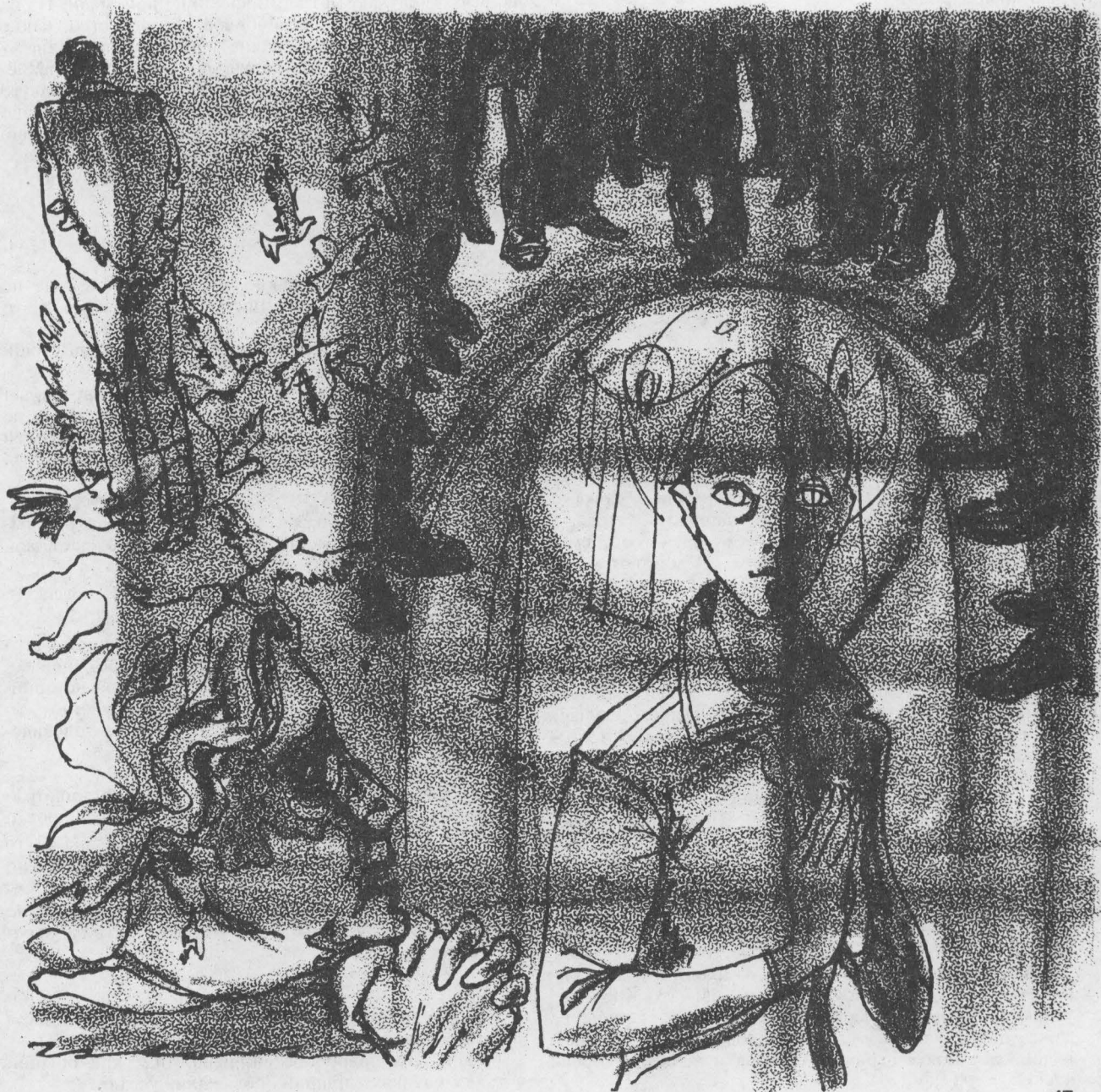
— Побудь со мной сегодня... немного...

— А все эти... — Я киваю в сторону комнаты. — Им обязательно быть здесь?

— Это друзья Люси. Они искренне переживают...

— А иностранцы? Ты веришь, что они могут помочь? Если не могут помочь, то вся шумиха только во вред.

— Не думаю. Лубянские малюты... на них ничто



не повлияет — ни в ту, ни в другую сторону...

— Скажи, это Люську ее дружок приложил?

— Не нужно об этом, прошу тебя! Я больше ни о чем не могу говорить. Поди, пожалуйста, туда, я немного посижу...

Когда появляюсь в комнате, все бросаются ко мне с расспросами, я говорю, что матери нужно побыть одной. Подхожу к иностранцам. Они стоят с блокнотами в руках.

— Скажите, кого на Западе может интересовать арест московской девчонки?

Один из них, с фотоаппаратом и нордической внешностью, отвечает спокойно, тщательно подбирая слова:

— Люди на Западе сочувствуют вашему движению. Права человека — это всем понятно.

— А как давно Запад это понял?

— Что по-нял? — переспрашивают.

— Что у нас нет прав?

— На Западе всегда не любили тоталитаризм. Я правильно сказал это слово?

Меня берет за локоть та женщина, что здесь явно на главной роли.

— Геннадий, согласитесь, сейчас не время для дискуссий?

— Извините, а вы кто? — спрашиваю бесцеремонно.

Она называет себя. Я, конечно же, о ней слышал, читал ее и про нее, мне даже ее биография известна и кое-какие сплетни к тому же. И мир тесен, и слой тонок!

— Не хочу я никаких дискуссий, — говорю я, отходя с ней от корреспондентов. — Только разве не видно, что нет им дела до моей сестры.

— Вы не правы! — перебивает она резко. — Они сочувствуют нам, и помощь их не бесполезна. Вы же знаете, удавалось повлиять через общественное мнение Запада на решение суда. Нужно же использовать все средства.

Я умолкаю и забиваюсь в угол. Диссидент-поэт, диссидент-отказник, жена посаженного диссидента, редактор диссидентского журнала, еще двое-трое из тех же «кругов» — я их всех знаю, хоть и не по фамилиям. Здесь все — Миши, Саши, Лары, Леры и даже одна Степанида, жена диссидента-ученого. Кое-кто из них уже с вызовами в кармане, а кого-то уже сопровождают оперативные машины.

Казалось бы, у этих людей есть идея, есть смелость, есть братство в отношениях... А мне вот почему-то чуждо все это. Не нужны мне эти самые права, за которые они так колотятся. Уезжать мне некуда, сказать нечего, а право глотку драть — разве оно поможет мне начать другую жизнь? Да все миллионы, живущие в громадной стране, какое имеют к ним отношение интеллигенты с вызовами в Израиль или вызовами на Лубянку? Ко мне, во всяком случае, никакого. Я не политик и не герой. Я лишен честолюбия, я могу и в существующих правовых рамках найти себе место в жизни или по крайней мере спрятаться от нее. Мне не нужны ни иностранные корреспонденты, ни права человека, мне жизнь другая нужна, совсем другая.

Смешно, но моей сестре в этой жизни не хватало одного только личного счастья, ведь сначала она влюбилась в своего Шурика, а потом уже стала диссиденткой. А теперь она «инициатор», самоотверженный борец и прочее. Но я знаю, она всего лишь Люська, и если бы мне удалось отправить ее в дальнюю страну отца Василия, если бы это удалось, успокоилась бы, отгулялась, отоспалась, может быть, даже влюбилась бы в дядьку Володю, она же чуткая к доброте, моя сестричка, она бы и до веры дорвалась.

Ничему этому уже не бывать. Мне хочется пойти куда-то, где решаются судьбы, и высказать кому-то что-то, объяснить, что не страшна моя сестра эпохе развитого социализма! А может, страшна? И ее арест — урок для других? Как узнать, в чем их карательная логика?

На окне вдруг пробуждается телефон. Я не успеваю к нему, трубка уже в чужих руках, а в дверях мать. Она прислушивается к разговору. Кто-то хочет высказать ей соболезнования. Мать отказывается подойти, ей передают чьи-то слова участия и надежды. Она вяло улыбается.

Разве такой она была два года назад, в разгар диссидентских успехов? На что надеялись? На что рассчитывали? Ведь более сообразительные вовремя отбыли в чужие земли. Их тепло провожали, скрывая презрение. И уезжавшие понимали, что укорачивают остающимся путь в камеру, они бодрились или метались, но уезжали, потому что инстинктом уловили суть игры, которую вела с ними могучая, несокрушимая, не имеющая себе равных по прочности власть рабочих и крестьян. Остающиеся этого не понимали, во всяком случае, мать с Люськой не понимали. На их стороне было все праволюбное человечество, какие имена, какие величины, какие силы! Но вот зачинатели, вдохновители идеи получили, наконец, привилегию на эмиграцию, и праволюбивый Запад как-то поостыл. По-прежнему корреспонденты прибегают по звонку в квартиры арестованных, так же регулярно «голоса» рассказывают о гонениях и преследованиях, но сама идея возвратилась на круги свои, ушла на Запад. А здесь остались мать и Люська...

Мать подходит ко мне.

— Как ты думаешь, может, написать письмо туда, на самый верх?

Не верит она ни в какие письма. Просто еще не свылась с мыслью, что Люська ушла надолго и это непоправимо.

Очередное дребезжание телефона, и, как ни странно, это — меня.

От голоса Ирины я вздрагиваю. Я словно забыл о ее существовании. И как же я, оказывается... не спокоен к ее голосу! Проще говоря, не равнодушен к голосу женщины, с которой, как принято говорить, порвал.

— ...Что известно?

Это уже конец фразы, то есть все, что я расслышал. Какое-то бульканье в горле сопровождает мой ответ:

— Статья семидесятая. Вот, собственно, и все...

— Я что-нибудь могу?..

Это она хочет сказать, что готова подписать что угодно, лишь бы принять участие в судьбе моей сестры, хотя Люська с типично диссидентской нетерпимостью всегда презирала Ирину за ее «холойство», то есть на Люськином языке, за ее работу на телевидении.

— Не нужно ничего, спасибо. Как ты?

Мне даже странно, с какой неожиданной теплотой звучит мой короткий и бессодержательный вопрос.

— Хорошо...

Мне противно за себя, потому что я испытываю сильное желание сию же минуту видеть Ирину, кинуться к ней или позвать ее сюда. Ни то, ни другое не нужно. Ведь не подонки же я, чтобы любить одновременно двух женщин.

Я набираю номер своей квартиры. Трубка снимается мгновенно.

Никаких подробностей, папа. Все, как обычно в таких случаях: пришли, обыскали, увезли.

— Но они хоть что-нибудь объяснили?

Отец, видимо, и сам понимает, что вопрос его лишний.

— Что тут объяснять?

— Попроси маму подойти.

Это он зря! Я чувствую, зря! Но иду на кухню. Мать сидит у кухонного столика, подперев ладонями подбородок. Сейчас она удивительно похожа на Люську, то есть наоборот, конечно, и все же сейчас именно мать похожа на дочь.

— Что ему нужно? — глухо спрашивает она, вставая.

Я иду за ней и чувствую, как в ее походке, во всех ее движениях появляется что-то острое, злое, и уже по тому, как она берет трубку, как произносит «да» и поджимает губы, я убеждаюсь, что разговора у ней с отцом не получится.

— Мне не нужна твоя помощь, — цедит она сквозь зубы, и мне остается только удивляться, до какой степени близкие люди могут возненавидеть друг друга. — А ей тем более не нужна никакая помощь от тебя.

Мать держит трубку, значит, отец еще что-то говорит. Я, к сожалению, не вижу лица ее, она отвернулась...

— Не тебе об этом судить! — вдруг хрипло и резко говорит мать. На ее голос оборачиваются все присутствующие. И мне очень хочется их всех попросить уйти и оставить нас одних. Но какое там! Оказывается, в ванной комнате, под конспирирующий шум люющей воды, вырабатывается меморандум-протест, от которого должно содрогнуться все прогрессивное человечество. В комнате становится совсем тесно, мне же некуда податься, и я подхожу к матери. Она бросает на меня тревожный взгляд, словно боится, что я услышу, о чем говорит отец.

— Ну, все, все! — спешит она закончить. — Это бессмысленный разговор. Будь здоров.

И кладет трубку.

— Ты позволишь мне высказать свое мнение? — спрашиваю я ее тихо.

— Ну!

— Твоя принципиальность сейчас неуместна.

Она из-под бровей смотрит на меня, и я знаю: мне быть ужаленным.

— Ты ведь тоже не любишь его, — говорит она с той, с детства знакомой мне претензией на пронзительность, которая с какого-то возраста начала меня бесить.

— Люблю, не люблю! Неужели же трудно понять, что другого отца у меня нет, что он ничего плохого мне не сделал, что мои отношения и к тебе, и к нему...

Но мать уже не слушает меня. Она устремлена туда, в центр компании, где зачитывается проект заявления в защиту Люськи. И снова звонит телефон, и в который уже раз принимаются соболезнования. Я здесь лишний. Лишний!

Я вслушиваюсь в слова документа, и двойственность отношения к образу жизни матери и сестры сейчас настолько отчетлива в моем сознании, что это приводит меня почти в отчаяние. В тексте вроде бы все правильно, но в целом документ вызывает во мне не просто раздражение, но желание осмеять, развенчать, перевести на какой-то иной язык, где бы с очевидностью выявилось хитро пристроившееся несоответствие между словами и делом.

Я чувствую фальшь в этом пафосе, как и в поведении людей, как и в событиях последних лет: все эти гоношения и поношения, а потом визы и речи по прибытии в свободный мир, дескать, под давлением властей, а с другой стороны, и смелое упрямство остающихся, которое мне понятно и недоступно,

и мужество в судах, и беспощадность приговоров... А вот теперь — Люська... Я задаю себе тест: если бы мне предложили пойти в тюрьму вместо Люськи, как бы я?..

И меня бросает в жар. Я знаю: у человека должно быть в жизни что-то, за что он готов на жертву. Если не политика, так что-то очень личное, но оно должно быть, иначе нет человека, а только животное. Так мог бы я пойти вместо Люськи в камеру, в суд, в лагерь?

Мне легче представить себе смерть, то есть все было и вдруг кончилось, это представить несложно... Но жизнь там!..

Значит ли это, что я трус? Я помню Люську в последний раз, когда мы виделись, помню, как польхали ее злые глаза — в них была готовность, в них не было страха, для нее тюрьма была лучшим вариантом в сравнении с предательством возлюбленного.

А для меня нет варианта хуже, чем несвобода!

Вот уже и до меня дошел «документ», и все смотрят, и я без возражений подписываю его, хотя час назад уверен был, что не подпишу. Я трус. Этот факт я констатирую грустной улыбкой, которую мать понимает по-своему и с благодарностью смотрит на меня.

Я все же пытаюсь оправдаться в собственных глазах и, не выпуская из рук бумаги, говорю как можно серьезнее:

— Тут все хорошо, только, по-моему, надо было бы закончить просто: «Долой коммунистическую диктатуру и ее охранный отряд — КГБ!»

Все смотрят на меня как на идиота. Я пытаюсь объяснить:

— Мы же хотим демократию, так? А кто тому препятствует? Вот и назвать бы вещи своими именами. К чему темнить? Так я и напишу здесь пониже...

Листок вылетает у меня из рук. Это поэт-диссидент. Кажется, вся его могучая растительность на голове и на лице встала дыбом. Никто даже не пытается мне ничего объяснить. Лишь мать, догадавшись, что я паясничая, качает головой и смотрит на меня укоризненно.

— Ах, извините, — говорю спокойно, — я и забыл, что мы политикой не занимаемся, мы просто за человеческие права, которые нам даны по Конституции. Так давайте подпишем: Да здравствует Конституция СССР — самая демократическая Конституция в мире! Ведь даже Бердяев так считал.

— Прекрати, Геннадий! — кричит мать.

Поэт-диссидент с усмешкой советует:

— Вы можете написать личное заявление и изложить там свою точку зрения.

— Спасибо, — отвечаю, — я как-то об этом не подумал. Так, возможно, и сделаю.

Теперь уже мать смотрит на меня с тревогой и кивком зовет за собой.

— Что с тобой, Гена? — спрашивает она, когда я закрываю дверь.

— Противно, мать. Противно! Это же все игра. А Люська... ведь мы-то с тобой знаем, что никакой она не борец, она просто влюбилась. И вообще... если бороться, так бороться. Мы требуем, чтобы изменился государственный строй, но политикой мы не занимаемся. Упаси Боже! Мы всего лишь гуманисты. Ну, что за игра! Слушай, может быть, и верно. Давай сходим в это чертово КГБ? Солидная ведь организация, смешно им сражаться с бабами. Я увезу Люську, и конец...

Мать молчит, и я молчу. Знаю: никуда мы с ней не пойдем.

— Думала, мне с тобой сегодня будет легче пережить день, — говорит она еле слышно. — Ступай, Гена. Не знаю, чего я ждала от тебя.

— Мама!

— Езжай к отцу. Ему, наверное, сейчас ты больше нужен. Кажется, до него дошло, что у него есть дочь.

Мне не повезло в жизни. У меня нет семьи. Два человека, которых я люблю, ненавидят друг друга. А между тем я рожден для уютной жизни. Само слово «уют» — какое же оно приятное, теплое, как домашние тапочки. Произнеси его подряд раз десять, и придет дрема. В прошлом веке я был бы обычным добросовестным чиновником невысокого класса, более прочих писателей почитал бы Вальтера Скотта и Загоскина, у меня была бы спокойная, милая жена и куча детей, которых я пестовал бы и наставлял мудрости простоты и уюта. На мне бы держалось государство, и было бы в нем все спокойно.

Но ведь не было для русской литературы более ненавистного типа, чем такой вот, каким я себя представил. Кто только не измывался над ним! И более других — Чехов. Я уверен: он был злым, он ненавидел жизнь и живущих жизнью. Его типы — это желчные карикатуры, после чтения его рассказов кажется, что, даже когда он был врачом, он обращался с людьми, как с трупами, и болезни его интересовали самые мерзкие. Во всяком случае, именно чеховы разрушили Россию, а революционеры лишь высадились десантом. На развалинах.

Там, в материнской квартире, галдят о правах, а я хочу жить спокойно. На это я имею право? Или мое желание не человеческое? А в какую международную организацию мне обратиться с жалобой на ненавидящих друг друга моих родителей?

Друзьям Люськи важнее всего высказаться, а мне нужна другая жизнь. Пусть все вокруг встает на дыбы, я должен делать свое дело и не чувствовать себя эгоистом, большим, чем Люська, сестричка моя. То мое, во имя чего я копчу небо, честнее Люськиного, потому что в моем случае все вещи называются своими именами.

Мне до слез жалко сестру, но в конце концов мне она, как сестра, оставила только право жалеть ее.

Домой ехать не хочется. С тоской смотрю на телефонную будку, перебираю в кармане мелочь, затем захожу и набираю номер Ирины. Последнюю цифру задерживаю в диске — я не знаю, зачем я звоню Ирине, и когда все же последняя цифра прокручена и в трубке знакомый голос, я покашливаю и фальшивым голосом говорю:

— В общем-то ничего нового... Я сейчас приеду к тебе.

— Нет, — говорит она жестко.

— Почему?

— Ко мне нельзя.

— Ира, мне нужно поговорить с тобой.

— Я же говорю: ко мне нельзя. Разве не ясно?

— Черт с тобой!..

Двушек больше нет. Кидаю гривенник, и голос милого Юры Лепченко возмещает мне, что он жив и здоров, что мне будут рады. Слава Богу, есть куда приткнуться.

— Я все знаю, — говорит Юра шепотом, как только я вхожу.

— Откуда?

— Олег Скурихин звонил.

— А он откуда знает?

— Ирина звонила.

— Хотел бы я знать: кто позвонил Ирине?

Что и говорить, времена здорово изменились! Двадцать лет назад брата арестованной сестры разве пустили бы в дом? Разве суетились бы перед ним с такой услужливой готовностью — накормить, напоить, уложить спать, как вот сейчас суежится вокруг меня Юрина мама? Юра — счастливчик, у него именно такая мама, какая нужна поэту, у него уютная мама, от нее исходят спокойствие и тихая теплота, и сама она маленькая, тоненькая, бесшумная; у нее очень красивые руки, приятный голос и произносит она только совершенно необходимые слова, ни одного лишнего.

Когда все приготовлено, мы остаемся с Юрой на кухне одни. Я ем все, что есть на столе, Юра пьет чай и радуется моему аппетиту.

— Сколько ей дадут? — спрашивает Юра.

— Статья семидесятая. От полугода до семи.

— Слушай, они там что, совсем рехнулись? Девчонки-то зачем сажать?

Я согласен, но на его возмущение наверняка у них есть ответ, и я пытаюсь его угадать.

— А ты посмотри, кто сейчас у диссидентов заправляет всеми делами? Женщины. Они ведь тоже изучают историю, они знают, сколько мужиков пытались убить царя, а взялась баба и все сделала.

— Твоя сестра не Перовская.

— Почему знать? Она, во всяком случае, способна на то, на что мы с тобой не способны. Люська чертовски отчаянная девка. Вот мы были с тобой в церкви. Завтра берут меня за шиворот, тащат, куда надо, и спрашивают о тебе... Ты уверен, что я тебя не продам? Ну, смело, как на духу.

— А чего меня продавать... — мямлит Юра.

— Не крути. Я бы тоже за тебя не поручился. А за Люську поручусь. Объясни, как это так получается? Почему девчонки крепче мужиков?

Юра мнется.

— Диссиденты, они вроде революционеров, их дело на ненависти построено...

— Положим, хотя и спорно. Ну и что?

— Ненависть... сильная эмоция заглушает чувство самосохранения... Я специально не думал на эту тему. Но, по-моему, нормальный человек не может убить человека, это внутренний закон. А из ненависти — может...

— Ну, а понятие элементарной порядочности, как оно вписывается в твоё объяснение? Это сильная или слабая эмоция?

Юра вздыхает.

— Знаешь, — говорит он, — мне один человек, это давно было, предложил наркотик попробовать. Рассказывал, как это интересно, какие видения бывают. У меня от страха пот на лбу выступил. Это потому, что я твердо знаю: наркотик — это ужасно. Хотя, наверное, попробовать можно было. Для интереса... — Юра умолкает, и я не понимаю, к чему эта история. — Или вот другой случай. В детстве. Поспорил я, что искупаюсь в проруби. Прыгнул. И теперь уже больше никогда не прыгну. Знаю твердо: это не для меня. — Он снова умолкает. Я пью чай и смотрю на него. — Тут не в порядочности дело. Мне так кажется... Когда я в прорубь прыгнул, я заорал так, что надо мной все смеялись. Я не знал, как оно, в проруби, и прыгнул. А кричать было, ну, скажем, непорядочно, неприлично. Не все люди знают предел своих сил. Тот, кто знает, тот хитрый человек, он ловко может распорядиться своим знанием.

— Что-то я плохо понимаю тебя сегодня.

— Я думаю, — говорит Юра, меняя тему, — что твоей сестре много не дадут.

Я тоже надеюсь на это, но предпочитаю об этом не говорить.

— Почитай стихи,— предлагаю вдруг. Я надеюсь, что он откажется, но, увы, он встает, отходит к окну, взглядом упирается в цветастую штору на окне. Читает уверенно и даже приятно. Я слышу неплохо зарифмованные слова о смысле жизни, о разочарованиях и сомнениях и, ей-Богу, принимаю это всерьез, хотя за всю историю человечества таких стихов написаны километры. Очередной метр ничего не прибавит, потому что мудрость человечества — понятие не количественное и даже не качественное, это величина постоянная к единице времени. У каждого мгновения истории своя мудрость, и чужому мгновению она всего лишь исторический памятник, предмет эстетического созерцания. Разве не сказал еще Шекспир, что жизнь — тень мимолетная, сказка в устах глупца, и разве кого-нибудь это убедило настолько, чтобы не жить?

**Мое неверие становится прочнее
Моей любви! Я задыхаюсь в нем!**

Это последние строчки Юриного стиха. Он поворачивается ко мне, у него блестят глаза.

— Хорошие стихи! — говорю я, почти не кривя душой. — А есть у тебя стихи о том, как бы ты хотел жить? Стихи про другую жизнь?

Я уверен, что у Юры есть стихи на все случаи жизни. Но... ошибаюсь.

— Нет. У Ибсена есть.

— Ну-ка.

Он сразу преображается, даже как будто ростом подтягивается, и читает, глядя мне в глаза с мальчишеским озорством:

**Мой парус по ветру расправлен крылом.
Над миром житейским лечу я орлом,
Вслед чайки кричат мне тревожно.
Я сбросил рассудка балласт среди волн,
А если на мель и наткнулся мой челн,
Летел я, пока было можно.**

— А ты, брат, романтик! — искренне удивляюсь. — Что же мешает тебе «лететь орлом»? Впрочем, да. «Балласт рассудка». Его не сбросить современному человеку. А я, между прочим, женюсь на поповской дочке и намерен в ближайшем будущем наплевать на все прочее, что поперек. А?

Хвастливых интонаций не скрываю и вижу открытую зависть в глазах Юры.

— Ну, когда женишься, тогда и посмотрим, — говорит он.

— А тесть мой будущий — священник и не чета твоему батюшке бунтующему.

— Почему? — обиженно спрашивает Юра.

— Почему?

А и правда, почему я вдруг противопоставил отца Василия тому священнику, который ведь поразил же меня? Я пытаюсь объяснить это одновременно себе и Юре.

— Пожалуй, так... над твоим священником знамя... не знаю, какого цвета, но знамя... А над этим, понимаешь, нимб. С твоим можно пойти и умереть, а с этим можно только жить. И хорошо жить. Я объяснил?

Юра не понял, но обиделся. Обижается он, как девица, пухнет нижняя губа, и ноздри раздуваются.

— Ну, не дуйся, — говорю я ему, как сказал бы Люське или Ирине. — Твой батюшка — событие, явление, а мой — всего лишь частный случай, наверняка не единственный. А потом, я еще просто не все понял. Когда пойдешь к нему в следующий раз?

— Послезавтра.

— Пойдем вместе. Обязательно!

Мы еще долго треплемся на всякие прочие темы, пьем чай, слушаем враждебные радиостанции в надежде услышать про Люську и слышим, наконец. Иностранные корреспонденты — люди деловые. Мне странно слышать нашу фамилию по радио, кажется, что это не про Люську, но это про нее, и как-то не то чтобы легче, но все же приятно, что не сгинула в неизвестность моя сестренка. И, может, ей легче, ведь она знает, что уже сегодня ее имя прозвучит по радиостанциям Европы и Америки, и кто-то услышит его в России, и все близкие будут слушать каждое сообщение о ней.

В третьем часу ложимся спать, но я еще долго не могу уснуть, у меня ощущение, что не чиста моя совесть. Но мозги — уставшие, и от копания в совести я устаю еще больше, чем от усталости, наконец, засыпаю.

Где-то за полдень мы с Юрой встаем, пьем кофе, я звоню матери, и мы договариваемся на следующий день вместе ехать в Лефортово с передачей.

Среда, поэту почему-то некуда спешить, и я лишь в четвертом часу выбираюсь из его уюта и не торопясь направляюсь домой. На улице пасмурно и не полетному прохладно. Когда выбираюсь из метро, попадаю под мелкий дождик, к подъезду бегу аллеей тополей, прячась под их навесами. Из почтового ящика выдергиваю газеты, открываю дверь, роняю всю эту периодическую макулатуру, чертыхаясь, поднимаю, швыряю на столик трюмо, вхожу в свою комнату и застаю в изумлении.

В моем кресле сидит незнакомый человек и читает... мою Библию! Я буквально немею на пороге, а незнакомец спокойно откладывает книгу, встает, странно кланяется и говорит:

— Здравствуйте. Вы меня не узнаете?

И только по голосу я узнаю его. Это дядя Володя из далекой страны отца Василия. Он вполне современно одет, хотя чувствуется, что костюм и галстук и отутюженные брюки доставляют ему некоторые хлопоты. Но сам он для меня явление другого мира, и я долго не отвечаю, только пялю на него глаза.

— Почему вы здесь? Что-нибудь случилось?

Он улыбается спокойно.

— Ваш отец разрешил мне подождать вас, и книгу я тоже взял с его разрешения. А у нас ничего не случилось, у нас как всегда...

— Есть, пить, ванну?

— Спасибо, мы с вашим папой кушали, я сыт. Не беспокойтесь.

Я, наконец, подхожу, жму ему руку, но все еще не могу привыкнуть к его присутствию в моей квартире.

— Вас отец Василий прислал? Только честно.

— Нет, — улыбается он, — батюшка сначала против был, но потом согласился.

— Ну и что? У вас письмо ко мне... или как? Может быть, все-таки чай или кофе?

Он отказывается.

— Я сам, так сказать, по собственному разумению...

И опускает глаза.

— Слушайте, Володя, если вам есть что мне сказать, говорите, ведь не посмотреть на меня вы приехали. Вы на чем, кстати?

— На самолете. — Он вздыхает. — Первый раз в жизни. К небу ближе, а страху, знаете...

Он смеется и немного раздражает меня.

— Я именно посмотреть на вас приехал. Тося просила посмотреть... на вас...

— Но у вас лично есть что мне сказать?

— Спросить... — говорит он, все так же улыбаясь. — Зачем вы ее мучаете?

Что ж, вопрос по существу. Нужно подумать, стоит

ли отвечать и вообще продолжать ли разговор с влюбленным дьяком.

— Ведь все, чем вы сейчас заняты,— говорит Володя,— это же все можно делать потом. Или я что-то не понимаю? Разве вы не знаете, как ей тяжело?

Может быть, я действительно не знаю.

— В общем-то вы правы, конечно. Все можно оставить на «потом». Но я хотел, чтобы у нас с ней с самого начала все было прочно и твердо...

Плохо говорю.

— А разве начала не было? — спрашивает он и опускает глаза.

Он прав. Начало было, и далеко не блестящее. Я тоже отвожу глаза. Но мои расчеты были чисты, именно нечистоту начала хотел я искупить, исправить серьезной подготовкой к нашей будущей жизни.

Однако она мучается, и прав дьяк, а я не прав. Взять бы и уехать сегодня вместе с ним. Если б не Люська...

— У нас тут кое-какие неприятности...

— Знаю,— говорит он,— ваш отец сказал мне. Мы все будем молиться за вашу сестру.

С трудом сдерживаю горькую усмешку. Я, конечно, не отрицаю, что молитвы — это ведь, в сущности, излияние душевной энергии, и кто знает, может быть, эта энергия имеет силу влияния...

— Будем молиться,— повторяю за дьяком.— Другие говорят — будем бороться, третьи говорят — будем надеяться... Я — из третьих. Я не безнадежен, а? Бороться можно только здесь, а молиться и надеяться можно и у вас, в вашей славной Тмутаракани... А что, Володя, завтра я пойду с матерью в тюрьму, передачу снесем, а послезавтра вместе и махнем? Проведем мероприятие честь по чести, привезу ее сюда, и вместе будем сражаться за нашу новую жизнь.

Володя грустен. Не верит он мне, что ли? Или, может быть, надеется еще...

— Ну-ка, перед Богом. Чему вы сами были бы рады?

Дьяк краснеет.

— Я не могу перед вами, как перед Богом.

— Хорошо. Прямой вопрос. Вы не хотите, чтоб я женился на Тосе? Так?

— Нет, не так...

— А как, черт возьми?

От «черта» он вздрагивает, кидает быстрый взгляд на икону.

— Не верю я вам! — буквально выдыхает он, пугается своих слов и виновато смотрит на меня, почти просит прощения.

— Чему же вы не верите? Что я люблю ее?

— Не знаю. Не пытайте меня.— Он поднимается, подходит к иконе.— Господь знает, что я хочу ей счастья! — Медленно крестится и поворачивается ко мне.— Значит, поедem к нам послезавтра, да?

— Послезавтра. Расскажите лучше, как она. Ну, и вообще, как там у вас жизнь?..

— Чего ж рассказывать, если послезавтра поедem? — Он садится в кресло, складывает руки на коленях.— Тося работает. Мы все работаем. Ремонт храма сейчас, все сами делаем. Батюшка, Тося, я и еще двое мужичков помогают... Трудно. Краски достать негде, олифы тоже... но потихонечку делается... Огород опять же, сено, ну, и прочее бытие наше, в заботах да хлопотах.

«Мне бы ваши заботы!» Но вслух не говорю, не уверен, что чужие заботы легче моих. Так, за слово зацепился.

— Вот,— показываю на стол с магнитофоном и бумагами,— делаю сложную работу. Получу большие

деньги. Купим квартиру. А может быть, дом под Москвой...

Это я импровизирую. О доме под Москвой подумал впервые.

— У нас дома дешевые. Пустых полно, хоть задаром бери.

Это он говорит будто между прочим, но я откликаюсь на намек.

— Не исключено, Володя. Об этом я еще буду думать. Но не так все просто...

Звонок в дверь.

— Отец, наверно.

— Он сказал, что придет поздно. Он еще просил, чтобы вы его дождались. Извините, забыл сказать сразу.

Я иду к двери, открываю. Врывается Женька Полуэктов.

— Дома? Добро! У тебя куда окна выходят?

Он отстраняет меня, бежит на кухню. Я за ним: Женька открывает форточку, высовывается, свистит и машет рукой.

— Такси отпустил. Наугад ехал. Разговор будет.

Я веду его в свою комнату. Увидев дьяка, Женька прищуривается и мгновенно оценивает моего гостя.

— Понятно. Посланец из того мира.

Я знакомлю их. Дьяк стесняется, мнется, робко подает руку. Женька хлопает меня по плечу.

— Ну, а мы с тобой, старик, проченько из этого мира, потому разговор будет приватный.

Он намеревается выйти, но я останавливаю его. Недоброе предчувствие приходит ко мне от прыгающего Женькиного взгляда.

— Садись и говори. Какие от него могут быть секреты.

Женька смотрит на меня, на дьяка и хмыкает — дескать, его дело сторона, он умывает руки. Разваливается на кушетке, жестом предлагает сесть и мне. Я стою.

— Ну, старик, сейчас ты попадешь в стирку. Так что сосредоточься.

Я смотрю на него, как смотрел бы на колесо наезжающего самосвала.

— На Ирине, как я понимаю, ты жениться не собираешься?

Словно подключенный к чужой игре, я отвечаю медленно:

— Нет. Я собираюсь жениться на поповской дочке, то есть на невесте присутствующего здесь человека. Его зовут Володя...

Неужели я уже догадываюсь о следующей Женькиной фразе? Наверное, иначе зачем бы мне так говорить.

— Значит, старик, ты не хочешь жениться на женщине, которая ждет от тебя ребенка?

Конечно, я догадался раньше, чем это было сказано... А может быть, давно уже догадывался, да не признавался, играл втемную? Я не вижу своих ушей, но чувствую, как они махroveют. А Женька, мне кажется, удивлен моим состоянием.

— Понимаешь, старик, я дал ей честное слово, что не скажу тебе. Я бы и не сказал, если бы она пошла за меня замуж, но — такие дела, она меня мягко отшила. И что это значит? Что она любит тебя, стервец. А спрашивается, за что?

Я поворачиваюсь к дьяку Володе, его моргающие глаза смотрят куда-то в угол.

— Видишь, что получается, какая сложная геометрическая фигура: два смежных треугольника с общей гранью. Как мы их отделим друг от друга?

И отчаянно к Женьке:

— Разве я подлец? Ну, ты, рационалист, давай обозначь ситуацию. Подлец я? Ты же пришел выстирать меня. Давай! Я уже в пене.

— В известном смысле,— отвечает Женька холодно,— ты собака на сене. Этакая ленивая собака.

— Я к тому же еще и пакостливая собака. Ну, дьяк, что скажешь мерзкому грешнику?

Он боится взглянуть мне в глаза, я же впиваюсь в него взглядом, как клещ, ему от меня не отвертеться.

— С той женщиной, ну, которая... это все было раньше, ведь так? И вы ее больше не любите?

— Ну, дорогой мой, ты говоришь, как жалкий гуманист. И, я думаю, не очень-то искренен.

— Я ничего не знаю! — почти воплем разражается дьяк Володя.— Не спрашивайте меня! Я ничего не знаю!

Телефон звонит так резко, что кажется, будто он подпрыгивает на месте. Я взглядом прошу Женьку взять трубку.

— Нет, я не Генночка. Генночка? Он теоретически здесь.

Дьяк Володя с ужасом смотрит на телефон. Женька закрывает трубку рукой.

— Леночка Худова собственной персоной в большем волнении.

Мне сейчас не до нее, но Женька тянет мне трубку.

— Генночка, ты волшебник! — захлебывается от восторга дочка полковника с Лубянки.— Генночка, если тебе нужно будет пройти по мокрому месту и не замочить ножки, скажи, и я выстелюсь мостиком.

— Все в порядке?

— Жуков торжественно сделал мне предложение. А знаешь, я уже хотела ему третьего лишнего преподнести. Я целую биллионкратно!

Леночка чмокает трубку и прощается.

— Чего она? — спрашивает Женька.

— Я устроил ее счастье. Как видишь, я не совсем ленивая собака.

Женька встает с кушетки, подходит к дьяку, садится на подлокотник кресла, фамильярно обнимает Володю.

— Так что мы будем делать? — спрашивает Женька.— На ком мы будем жениться?

Дьяк в ужасе хватается за голову.

— Господи! Как вы живете! Как вы все живете! Зачем так живете!

— Давайте без паники, товарищ культовый рабочий. Живем как можем.

Женька все-таки хам. Но дьяка он сразу успокаивает, тот несколько раз дергает галстук на шее, который ему явно мешает, производит горлом какие-то странные звуки, освобождается от Женьки, встает.

— Я посижу там, на кухне. Вы как-нибудь без меня.

Но без него невозможно! Я не знаю почему, но сейчас мне необходимо присутствие Володи. Я беру его за руки, усаживаю снова в кресло.

— Володя, прошу вас.

Мы сидим все трое и не смотрим друг на друга. Немыслимая ситуация! Я должен принять решение, на ком мне жениться. Тут даже пошлостью не пахнет, тут подлинная чертовщина! Женька хочет жениться на Ирине, дьяк — на Тосе, а я должен жениться на одной из них...

Нужно начать с того, что мне абсолютно ясно. А ясно мне, что я не могу потерять Тосю. С ней я теряю все. И себя, и ту жизнь, на которую настроился всем своим сознанием. Я в конце концов люблю Тосю, я любил ее до и люблю после всего, что случилось в моей жизни, и у меня не может быть выбора.

Ну вот, за первой ясностью сразу является другая. Нужно ехать к Ирине. Слава богу. Это уже похоже на решение. Нужно ехать немедленно, сейчас же.

Я тяну на себя телефон, набираю номер и, услышав ее голос, тут же кладу трубку. Она дома.

— Сейчас я еду к Ирине.— Две головы напротив меня вскидываются, и две пары глаз сжимают меня в клещи.— А послезавтра мы с Володи улетаем в Урюпинск.

— Какой Урюпинск! — удивляется дьяк.

Я смотрю на Женьку, он молчит, кусает губы. Дьяк моргает. Мое решение ни тому, ни другому не приносит удовлетворения. У задачки, которую подкинула мне жизнь, нет такого решения, чтобы все разделилось без остатка. По крайней мере не в моих силах справиться со всеми неизвестными величинами. И тут инстинктом эгоиста я надеюсь на Ирину. Я для того и еду к ней. Инстинктом слабого я надеюсь, что Ирина сумеет поставить необходимую точку. Это подло, я понимаю, но я поеду к Ирине!

— Вы,— это я дьяку,— ждете меня. Отцу скажете, что буду поздно.

Женьке кричу: «Поехали!» — и тут же направляюсь из комнаты. Хлопаю себя по карманам, возвращаюсь, хватаю из стола деньги и уже на лестнице нагоняю Женьку.

— Только ты уволь,— говорит Женька.— К Ирине я с тобой не поеду. Я же дал ей честное слово!

— Успокойся, тебе и не нужно ехать к ней.

Последнее время я Москву вижу чаще всего в сумерки. И вообще впечатление такое, будто я все время в движении в каком-то полупустом пространстве, где в разных точках пребывают разные мои интересы и заботы. Я мотаюсь между ними, пытаюсь связать их между собой, но пальцев на руках не хватает, чтобы удержать все нити. Я живу себе тем чудачком, который слезал с неба на землю по короткой веревочке, и когда веревка кончалась, он сверху срезал и надставлял снизу.

— Ну, хорошо,— говорит Женька в такси,— ты уедешь, а как будет с книжкой?

— Женюсь и приеду вместе с женой. Может быть, за неделю управлюсь. Дело ведь не горит?

— Время есть,— как-то неуверенно отвечает Женька.— Если передумаешь, продашь работу мне, я закончу. О цене договоримся.

Деловой человек! И я к нему расположен.

— Смотри, как у меня закрутилось все,— говорю ему.— Ведь не подлец же я. А вся ситуация — подлая до отвращения!

— Сказать тебе,— бурчит Женька,— так ведь обидишься.

— Говори. Лучше от тебя услышать, чем от дьяка.

— Самые вредные на земле люди,— ворчит Женька,— это те, которые не знают, чего хотят. Они всюду суют нос, во всякое чужое дело, чужую игру, все путают и сами запутываются.

— Понятно. Спасибо.

— Вот, «спасибо» сказал. И весь ты такой плюшевый. Твоя сестричка-диссидентка предпочтительней. Ее просто взяли и посадили. А ты законом не предусмотрен.

Я обижаюсь за Люську. Все-таки он хам.

— Ты, может быть, на ее месте заскользил бы угрем.

— На ее месте? — хмыкает Женька.— Я на ее месте оказаться не могу. А вот на месте тех, кто их в лагерь запикивает, даже хотел бы.

— Трепач ты, Женька!

— Ницуть. Я тебе сочувствую, но сестру твою мне не жаль. Чересчур шаловливых детей бьют по рукам. А диссиденты твои расшалились без меры... Умники эти евреи, которые там в лидерах, они допрыгаются до погромов!

— Ты никак антисемит,— смеюсь я.

— Я семит. И мне в этом государстве жить. И мне нравится в нем жить. А те, кто это государство лихорадят, мои враги, будь они евреи, или армяне, или бешеные русопяты. Всех их к чертовой матери, в лагерь!

— Врешь ты все...

Хотя, кто знает, может быть, он и есть подлинное дитя существующего строя.

— Ну, я на месте,— говорит Женька.— Дальше не поеду. Заплатишь? — Он уже вылез из машины, но заглядывает снова.— Я все же надеюсь, что Ирина даст тебе по морде.

И хлопает дверкой — как по глазам.

Ирина открывает мне дверь лишь на четверть.

— Ты зачем?

— Может, я войду сначала?

— Ты зачем, я спрашиваю.

Я нажимаю на дверь, отстраняю ее, вхожу.

Она в халате, и первое, что я вижу,— живот. Ну, конечно, у нее уже по меньшей мере половина срока. Она перехватывает мой взгляд, делает какое-то странное движение, и живота нет. Зато на лице злость выступает пятнами. Я знаю это ее состояние, и мне бы сейчас испугаться, а я не боюсь. Она стоит в прихожей и не намерена двигаться с места. Я иду в комнату, сажусь.

— Между прочим, это хамство! — слышу я ее голос.

На столе банка маринованных огурцов, и поскольку я не помню за Ириной пристрастия к острому, то отношу присутствие сего продукта к особенности ее состояния. Она, наконец, появляется в комнате. Руки она держит особенным образом, чтоб изменить фигуру, и ей так неловко стоять. Я смотрю на нее, и это она и не она... Что-то в ней появилось решительно новое и незнакомое для меня. Мягкость, слабость или еще что-то появилось в лице, хотя оно и злое сейчас. Передо мной будто другая женщина, которой я не знал раньше, и я тихо робею не от ее взгляда, а скорей от своего, словно прилипшего к знакомым, но изменившимся чертам.

— Ну? — говорит она.

— Сядь... пожалуйста, и помолчи.

Да, мне сейчас необходимо, чтобы она сидела напротив и молчала, и мне тоже нужно помолчать, прислушаться к самому себе. Я чувствую, сейчас должно произойти что-то очень важное, может быть, самое главное в моей жизни, я полон тревожных предчувствий, и одно из них — ощущение конца свободы; словно, ранее плывший сам по себе, я теперь попал в несокрушимый поток обстоятельств, которые не просто сильнее меня, но они — та единственная реальность, где отныне предстоит мне продолжить свое существование.

Я заставляю себя вспомнить, зачем я пришел. Я пришел, чтоб внести ясность в двусмысленную и нечистую ситуацию, что создалась мной самим, хоть и без дурного умысла. Еще зачем я пришел? Чтобы Ирина помогла мне выпутаться? Наивность. И подлость. На что я рассчитывал? Я хотел, чтобы она, будущая мать моего будущего ребенка, сказала мне: «Ты свободен и не нужен мне». А я при этом поверил бы ей или сделал бы вид, что поверил...

Ирина опускается на стул и делается вся какой-то маленькой, и нет в ней уже ни злости, ни враждебности, передо мной просто маленькая беременная женщина, которую я настолько знаю всю, что это знание готово обернуться решающим обстоятельством, и я чувствую, как уходит от меня, уплывает выно-

шенный и выстраданный образ новой моей жизни. Я еще ничему не даю оценки, не произношу приговора, все свершается само собой с моим участием, но без моей инициативы.

И все же я обязан назвать вещи своими именами: передо мной сидит моя жена. Вот как все просто, как очевидно. Передо мной моя жена! И дело не в слове, а в чувстве, которое родилось в эти минуты. Я слышу, как меняется ритм моей жизни, я слышу собственный пульс, он чист, в нем нет посторонних шумов, лишь одно ровное, спокойное, отстоявшееся мое дыхание. Я испытываю тоску по чему-то безвозвратно ушедшему, с чем-то прощаюсь, а между тем встаю и подхожу к Ирине. Ладонями касаюсь ее лица, и что-то обжигает мои ладони. Это ее слезы. Непривычно бережно я поднимаю ее за плечи и приближаю ее лицо к своему. Она прячет глаза, и я молча вытираю слезы на ее щеках, их немного, всего две слезинки. Держу ее за плечи и чувствую готовность ее дрожащего тела податься ко мне, и это будет последняя точка в наших запутанных отношениях.

Еще минуту, полминуты я как бы удерживаю судьбу на расстоянии локтя, но вот почти незаметное движение моих ладоней, и Ирина принимает ко мне. Я глажу ее волосы, как мать когда-то, сто лет назад, гладила мои, мы стоим молча, потому что и так уже много лишнего было наговорено, я только спрашиваю: «Сколько?»

Она сразу понимает.

— Четыре.

— Все идет нормально? У врача была?

Она кивает.

У гордой, заносчивой, откуда взялись у ней и эта стыдливость, и совсем незнакомая мне покорность? Я, наконец, поднимаю ее лицо и смотрю в глаза, в них еще, правда, нет радости, но есть готовность откликнуться теплотой, и я целую ее глаза и говорю с незнакомой мне твердостью:

— Ну, вот и все.

Мне странно и удивительно слышать в своем голосе твердость, и я повторяю для самого себя:

— Вот и все.

Я говорю это как хозяин, я говорю это как мужчина, и мне даже немного неловко за свои новые интонации, но — приятно.

— Я хочу есть как волк!

Вот мы уже суетимся на кухне, как будто ничего не случилось с нами, если не считать, что я не сижу, развалясь на стуле, как бывало, а гоношусь более нее, и непонятно, кто кого жаждет накормить в этой радостной суете.

Жизнь моя единственная! Как мне жалко тебя! Сочинись ты сквозь растопыренные пальцы, а кулака никак не сжать. И для чего ж тогда ты дана мне, если жалость — это все мое достояние? И что мне с ней делать, с жалостью? Ее не высказать, ею не поделиться, она есть пустое состояние души, самое ничтожное. Что я должен сказать самому себе, чтоб не оглядываться испуганно на мелькающие верстовые столбы моего бесцельного пути-перемещения из ночи в день, из недели в неделю, из года в год, чтобы не всматриваться судорожно в горизонт? Наверное, ошибка моя была в том, что я наделял смыслом чужие времена и чужие жизни и от них пытался вести отчет жизни своей, сравнивая реальное с вымыслом и страдая от несоответствия, которого в действительности не было, потому что в чужих временах и в чужих жизнях собственного смысла не более чем в моем времени и в моей жизни. Я должен сказать себе, что свободой человек только тогда и обретает, когда прозревает о несравнимости жизни и времен, о бессмыс-

ленности смысла, того смысла, которым мы пытаемся повязать собственные жизни. Я обязан сказать себе, что поисками смысла жизни терзаются люди, плененные от рождения или от воспитания честолюбием, гордостью, и такие люди — вечные рабы своих комплексов!

И многое еще могу я сказать себе в оправдание и утешение, но жизнь мою единственную, мне все равно жаль ее. Если бы я хотя мог кому-нибудь позавидовать до отчаяния, может быть, тогда я бы мобилизовался для чего-то решительного, но, к сожалению, я никому не завидую, ну ни единому человеку на земле, потому что, стоит лишь присмотреться к чьей-то, на первый взгляд завидной судьбе, как замечашь такие издержки и потери, которых не стоит никакая удача. Значит, несостоятельно само сравнение судеб, и вот в этом выводе уже что-то есть, чем можно жить и почти не жалеть свою собственную, единственную жизнь!

Сегодня утро такого-то числа, месяца и года, и рядом со мной спящая женщина, уже моя жена, но выбор, что осуществился таким обычным образом, касается чего-то большего. До единственной узкой тропки упростился перекресток, до единственно возможного отсеялись варианты, а впереди уже нет чарующего тумана неизвестности, поставлены две необходимые точки, проведена прямая, и лучом трезвости высвечивается все, чему предстоит осуществиться. И я должен понять эту новую перспективу, как источник желанного спокойствия.

Я тихо провожу рукой по лицу Ирины, и она горячей щекой прижимается к моей руке.

— Уже пора? — спрашивает она.

Я не уверен, что она сказала это не во сне. Ее лицо спокойно, и это — выражение счастья. Никакого другого лица я не хочу сейчас вспоминать, чтобы иметь право сказать себе, что в моих силах хоть одно человеческое существо сделать счастливым. Такое право способно дать мне волю к жизни...

— Нам обязательно ехать туда? — спрашивает Ирина, и я понимаю, что она не только не спит, но готовится к неизбежной тревоге, которую сулит ей наша поездка ко мне домой.

Ирина просит меня отвернуться, она стесняется своей изменившейся фигуры. В халатике она убегает в ванную, а я еще некоторое время лежу и просто смотрю в потолок. В голове сентиментальная мелодия Вивальди, которую я не люблю, но любит Ирина.

Я поднимаюсь, когда из кухни доносится запах кофе. Ирина уже вся прибрана и одета тем хитрым манером, что умно скрадывает некоторое обстоятельство. Я гляжу на нее и говорю себе просто в порядке информации: «Она мне нравится, я смогу всегда любить ее, а как будущая мать моего ребенка она вызывает во мне нежность!» Но слово «нежность» непроизносимо без последствий, и я обнимаю Ирину именно так, по-новому, как мать моего ребенка, и целую ее также по-новому, и она откликается робко и целомудренно.

И вообще я не узнаю Ирины. Она вся такая домашняя, уютная и неторопливая, словно не она месяц назад носилась по этажам и коридорам телевидения со своими скандальными идеями, ругалась с начальством, кого-то назидала и убеждала, кого-то клеймила и развенчивала. Только женщины умеют так перевоплощаться, почти мгновенно и до неузнаваемости, без всяких планов на «новую» жизнь, без рефлексий и колебаний. Вот чему можно позавидовать! И ведь скажи ей, что вся предыдущая ее профессиональная суета была именно суетой — обидится, потому что в ее перевоплощении одно состояние не отрицает другого.

Мы пьем кофе торопливо, мы спешим. На улице Ирина бурно протестует против такси, но она же не знает, что у меня есть деньги. Конечно, с ее четырьмя месяцами можно еще ездить в метро, но зачем, если у меня в кармане деньги! Я проявляю решительность, и она не без удивления и удовольствия подчиняется.

В машине я молчу. Я готовлюсь к труднейшему разговору, и у меня нет твердой уверенности, что удержусь в рамках, не сорвавшись. В голове только первые, самые трудные и неизбежные фразы...

Ирина не знает сути предстоящего мне, но, видимо, догадывается, что мне предстоит нечто нелегкое, и молчит, и я боковым зрением улавливаю иногда ее тревожные взгляды. Конечно, я мог поехать один, и, наверное, должен был, но если она рядом, мне будет легче, а если быть честным до конца, то я боюсь теперь оставаться один, без Ирины. Пока она рядом, я способен действовать решительно.

Мы входим в квартиру, и я стучусь в дверь собственной комнаты. В комнате порядок, и Володя уже в полном своем наряде в кресле с книжкой в руках. Увидев, что я не один, он торопливо встает, откладывает книгу на столик. Я пропускаю вперед Ирину, набираю побольше воздуха и говорю сильным голосом:

— Вот, Володя, это Ира, мать моего будущего ребенка и, значит, моя жена.

У дядьки глаза на лбу, он беззвучно шевелит губами, и я через плечо Ирины вперяю в него молящий взгляд, я молю его быть великодушным и мудрым, я верю, что его чистому, неиспоганенному сердцу единственно доступно понять меня и осудить по крайней мере вполнину той беспощадности, какой я заслуживаю, но которая может лишить меня воли к жизни. Ирина опускается на кушетку, и мы стоим с Володи́ей друг против друга, точнее, я стою перед ним, как перед Господом Богом, и готов к суду, но надеюсь на мудрость и великодушие.

— Вот так, Володя. Вот так мы живем. А тебе, хочешь или не хочешь, но придется исправить все остальное. Честное слово, я верю в твою особую силу, ты сможешь все исправить и спасти всех, и меня в том числе... Видишь, я пытаюсь распутать узелки, но не все в моей власти, а ты найдешь и слова нужные, и... молитвы...

Я более не могу говорить, чтобы не сказать ненужных слов, потому что они могут оказаться опасными для жизни не только моей.

— Послезавтра у нас будет, ну, что-то вроде свадьбы, и я очень прошу тебя остаться, я прошу тебя благословить нас.

Дьяк мотает головой.

— Я не могу... Не имею права. Я не священник...

— Но ты можешь благословить нас просто как человек, мне нужно твое благословение. Нужно, понимаешь.

Он опускает взгляд. Он боится смотреть в сторону Ирины.

Милый, добрый, несчастный дьяк! Какую ношу я взваливаю на твою чувствительную душу! Но я знаю, это твоя профессия, ты вынесешь.

Я бросаю взгляд на Ирину — она обо всем догадалась, и будь она прежней Ириной, могла бы сейчас взорваться. Но она молчит.

— Так ты останешься на нашу свадьбу?

— Не знаю, — почти шепчет дьяк.

И тут друг вмешивается Ирина. Она встает, подходит к нему, берет его руку и целует. Дьяк в страхе отдергивает руку.

— Что вы! Что вы! — жалобно говорит он и отмахивается. — Я никто. Я грешней всех вас.

— Прощу вас, — тихо, проникновенно говорит Ирина, — останьтесь. Если вы уедете, все у нас будет не

так. Прошу вас, ведь я-то ни перед кем и ни в чем не виновата.

У меня на лбу выступает пот. Ирина все поняла, я даже подозреваю, что она знает больше, чем говорит. Может быть, Женька успел натрепаться. Во всяком случае, она знает, откуда взялся этот дьяк.

— Хорошо, хорошо,— поспешно соглашается он.— Если вы хотите, я, конечно, могу...

— Вот и порядок! — провозглашаю я впервые полным голосом.— Теперь пойдем к моему папаше за благословением. Он встал уже?

— Он... — Дьяк странно мнется.— Дело в том, что... вчера он всю ночь ждал вас, он, понимаете... уехал...

— Уехал? Куда?

Володя берет со стола конверт и подает мне. Конверт не запечатан, я вынимаю вдвое сложенный листок.

«Гена! Я вынужден уехать. Как устроюсь на новом месте, напишу. Если женишься, живи в этой квартире. Она мне не понадобится. Деньги, пожалуйста, возьми — как мой тебе и твоей жене свадебный подарок. Они у тебя в столе.

Папа».

Что за чертовщина! Куда он поехал? Зачем? Я еще раз перечитываю записку и не вижу в ней никакого смысла. Если бы я не знал так хорошо моего отца, я подумал бы, что это какая-то шутка. Я выдергиваю ящик стола. Рядом с моими издательскими деньгами двумя аккуратными пачками лежат деньги отцовские, на каждой надписано: «1 тыс».

Кидаюсь в отцовскую комнату. Все прибрано, и вроде бы все на месте. Даже пишущая машинка. Нет, не все. Не хватает некоторых книг, и стол пуст, на нем ничего. Можно заглянуть в шкаф, но нет нужды, ясно — хозяин исчез.

— Но почему? — кричу я Володе из коридора.— Он сказал тебе что-нибудь?

— Он ничего мне не сказал. Он ждал вас. Я знаю только, что он добрый и несчастный человек.

— Что? — кричу я в изумлении.— Мой отец добрый и несчастный? Вот тут ты фрайернулся, дорогой дьяк, мой отец не может быть несчастным. Это самый спокойный и самый счастливый человек на свете.

Володя не соглашается и качает головой.

— Ирка, ты что-нибудь понимаешь? Он не взял пишущую машинку! Да ведь он тоже собирался жениться! Он только что знакомил меня со своей... — Я стукаю себя по лбу и кидаюсь к телефону. Набираю отцовский рабочий номер.— У вас работает Валентина Николаевна, кандидат философских наук, к сожалению, не знаю ее фамилии...

— Короткова? — спрашивает не очень любезный мужской голос.

— Возможно.

— Она на занятиях курсов. Позвоните через десять минут.

Валентина здесь! Да что же это происходит вокруг меня! Латаешь жизнь на одном месте, а она трещит по швам в другом, в самом неожиданном!

— Ну, почему ты решил, что он несчастный, мой отец? С чего ты взял?

Дьяк смотрит на меня виновато.

— Не знаю... Это же видно... По человеку видно!

— Чушь! — Я швыряю конверт.— Мой отец — само благополучие.

— Вы не любите его? — спрашивает Володя.

— Милый дьяк! Как это я могу не любить собственного отца?

— Извините, мне показалось...

Глаза дьяка кротко извиняются. Я подступаю к нему вплотную.

— Вспомни, что-нибудь он говорил? Вы же разговаривали! Почему он несчастный? Ира! Ты знала его, похож мой отец на несчастного человека?

— Он замкнутый человек...

У меня ни одного путного соображения в голове. Я всю жизнь знал отца одинаково и ровно спокойным, уверенным, устроенным. Я себе не могу представить его другим.

Только сегодня утром мне померещился покой, и вот на тебе! И когда, спрашивается, жизнь наша успела так запутаться? Ведь жили, кажется, без лишних телодвижений, жили осторожно и неглубокомысленно, а все позавязалось дурацкими узлами...

Снова набираю номер. Валентину подзывают сразу.

— Это Геннадий! — говорю почему-то зло.— Что случилось с отцом? Вы в курсе?

— Положите трубку,— просит Валентина приглушенно,— я позвоню по другому телефону.

Я жду, барабаню пальцами по столу. Едва телефон вздрагивает звонком, хватаю трубку.

— Он уволился и уехал куда-то на Север. Никому не сказал куда. У нас тут такой скандал...

— В чем дело? — кричу я нетерпеливо.

— Это все сложно... — Валентина, кажется, готова заплакать.— Понимаешь, Гена, ты взрослый, ты должен понять... — Чувствую, уже слезы.— ...он хотел, чтобы мы сошлись... Он сказал, что больше не может так...

— Вы ему отказали?

Я не скрываю удивления. Я был уверен, что Валентина ловит моего отца.

— Я не решилась. Ведь... в общем, у меня же семья, муж, сын...

Вот это номер!

— Поверьте, Гена, это не просто — ломать все и начинать сначала. Мне ведь не двадцать.

— А ваш муж... он знал?

— Нет! Что вы!

Хороша! Несколько лет жила с двумя! «Как вы живете!» — вспомнились мне вчерашние слова Володи.

— Короче говоря, вы отшили моего отца, и он дернул на Север.

Ее должен покоробить мой тон, но в голосе ее этого не слышу.

— Не так! — возражает она и швыряет носом, как девчонка.— Я ничего не решала, я просто не смогла поломать семью.

Я понял ее. Она не возражала бы и далее жить с двумя, да отец взбунтовался. Господи, но это совершенно не похоже на отца! Как будто разговор идет о совсем другом человеке.

— Я боюсь за него,— уже откровенно плачет в трубку Валентина.— Он сказал, что он никому не нужен.

— Это неправда! — кричу я зло.— Он мне нужен!

— Но он так сказал. Вы бы слышали, как он это сказал!

Я не могу представить себе, чтоб так сказал отец, каким я его знал.

— Кем он собирается там работать?

— Сказал, что приглашен на какую-то хозяйственную должность, по-моему, не очень высокую... Гена, вы простите меня, я понимаю, что я... но я не могла иначе.

— Вы не любили его?

— Господи, вы еще совсем... — она, наверное, хотела сказать «мальчик», — совсем молодой, вы еще не знаете, что, кроме любви, есть и другие реальности, например, у моего сына есть отец, и ему нужен именно этот отец, а не другой. Вы понимаете?

Это я понять могу. Я только не могу понять, как можно несколько лет жить с двумя и не задохнуться от лжи. Это под силу только великим рационалистам.

— Если он вам напишет, пожалуйста, позвоните мне. Потому что мне он не напишет.

— Позвоню,— обещаю я, зная, что не сделаю этого.

— Только вы не обижайтесь, пожалуйста, ладно?

— На что обижаться?

— Вы все, я имею в виду вашу семью...— Валентина тянет паузу, а может быть, просто вытирает слезы,— вы все совсем не знали его.— Снова пауза.— Не знали и не понимали...

Я бы мог возразить ей, но не хочу. Мне она больше не нужна, и я лишь терпеливо жду, когда она положит трубку.

— Пожалуйста, не имейте на меня зла.

— Я не имею.

— Вы позвоните мне, если что-нибудь?..

— Позвоню.

И я сам кладу трубку. Смотрю на Ирину и дядка; она в раздумье, дядка в замешательстве.

— Вот такие номера,— бормочу,— откалывает наша советская действительность. Вместо меня в город Урюпинск рванул мой марксоидный папа.

— Куда? — спрашивают оба.

Я иду в отцовскую комнату, сажусь в отцовское кресло. Итак, что же я просмотрел в тебе, отец? А может быть, я ничего не просмотрел, а просто сорвалась надежно заведенная пружина? А в итоге — нет отца, Люська в тюрьме. Мать сама по себе. Семьи нет. Ее и раньше не было — по разным внутренним причинам, теперь — внешние обстоятельства завершили развал. Но — отец! Неужели он не чувствовал моего к нему отношения? Не я, он образовал ту прохладу, что была между нами. А теперь спохватился. Он, видите ли, никому не нужен! А кто был нужен ему, кроме этой двуспальной кандидатки в философы? Одно теплое слово, и Люська была бы с нами. Может быть, и мать не ушла бы... Впрочем, нет, мать ушла бы. Это я знаю. Я все знаю, а какая пустота в душе!

Звонит телефон, но я не хочу притрагиваться к отцовскому аппарату, иду к себе.

— Ну, что старик, чем порадуешь?

Бедный Полуэктов, я тебя сейчас порадуя!

— Есть чем! Приглашаешься послезавтра на скромную дружескую пирушку по поводу моего бракосочетания с небезызвестной тебе особой.

Я передаю трубку Ирине.

— Женечка, обязательно приходи, ты мой самый лучший друг.

На женском языке так оформляется оплеуха. Я представляю себе Женькину физиономию в эту минуту, и мне искренне жаль его. Все же он славный парень. Главное, надежный!

— Будут только свои, человек восемь — десять, не больше.

Ирина возвращает мне трубку.

— Старик,— глухим голюсом спрашивает Женька,— это твой последний вираж или еще предыдущий?

— Последний, Женька. Все. Я приехал.

— А не пиррова ли это победа твоя, старик?

— Нет, Женька,— отвечаю серьезно,— это не беда, я просто приехал, и сказать мне больше нечего. Так ты будешь?

— Умою руки и приду,— зло отвечает Женька и отключается.

— Придет? — с тревогой спрашивает Ирина.

— Куда он денется!..

Я уверен, никто не умеет так веселиться, как простые советские люди. Невозможно, чтобы кто-

нибудь еще умел так веселиться! С чего ради, к примеру, веселиться благополучному американцу? Он и так доволен жизнью!

Мы же, честные советские люди, погружаемся в веселье, как в хмель, как в наркотик, половинчатые радости нас не устроят, не удовлетворяют, от половинчатости мы впадаем либо в хандру, либо в буйство. Мы знаем то, чего не знают несоветские народы,— предельную степень веселья, в которой обретается реальное ощущение счастья, помогающее нам прожить до следующего повода к веселью. И это не алкоголизм, упаси Боже! Я имею в виду нас, простых неспившихся советских людей. И я люблю нас, я искренне и всей душой люблю нас! Мы, положим, не ах как чисты, но зато — кротки. Мы живем своей странной жизнью, не нами придуманной, но разве у нас есть выбор? И разве нам нужен выбор? И разве он возможен — выбор?

Каждый из нас делает свое нехитрое дело, а кто скажет, что это не дело, в того мы можем бросить камень, потому что имеем право жить именно так, а не иначе. Кто может предписать нам жить не так, как мы живем? Если кто-то имеет такое моральное право, тогда мы за равноправие, мы тоже захотим предписывать кому угодно жить по-нашему. Нас бранят, клеймят, высмеивают, разоблачают — а по какому праву? Назовите нам его, и мы его себе присвоим, и тогда берегитесь.

Я люблю нас, простых советских тружеников, за нашу способность жить в двух измерениях: кесарям кесарево; а наше — оно всегда при нас, и никакой тоталитаризм не помешает нам периодически отключаться на веселье.

А лица! Вы посмотрите на наши лица, когда мы веселимся! У кого еще могут быть такие открытые, такие радостные, такие добрые лица, у кого, кроме нас, когда мы веселимся? Когда мы пляшем? Нам все равно, под что плясать: под битлов, под калинку, под лезгинку, под семь сорок,— мы все равно уже давно отчуждены от форм и средств радости, для нас важно само состояние — и безразлично, какими средствами оно достигается.

Какими словами описать непосвященным то состояние веселья и счастья, подлинного счастья, когда мы в своем кругу, среди своих, открываемся восторгу мгновения, часа! Как мы любим друг друга, как хотим добра друг другу, как мы доверительны и искренни в своих чувствах!

В эти мгновения мы не только красивы, но и непорочны, вся пакость нашего бытия остается за пределами нашего веселья. И я утверждаю: только советский человек умеет веселиться по-настоящему!

Вот они, мои друзья, я смотрю на их счастливые лица, и счастлив сам!

Новый советский человек Женька Полуэктов, которому принадлежит будущее; милый конспиратор-неофит поэт Юра Лепченко, которому, несомненно, принадлежит прошлое, а это уже кое-что; сверкающая, как мартовская сосулька, Леночка Худова и еще не вззошедшая звезда телевидения Жуков, они принадлежат друг другу, и это тоже немало; прочная супружеская чета Скурихиных, им принадлежит квартира, в которой мы веселимся, так было постановлено, мы привыкли к этой квартире, а постоянство обстановки — немаловажное условие для безудержного веселья; лысовато-курчавый смугляк Феликс, которому принадлежит непостижимая избранность его предков, и я люблю его, как брата, и нет такого антисемита, который разрушит мою любовь в эти минуты нашей всеобщей любви; наш гость, чудесный дядка Володя, я спрошу его, полномочного представителя неба, осуждает ли он нас с вышины своей непорочности, и что он ответит? «Не сужу!», а это уже прощение; ну,

рядом со мной герой моей будущей книги, которую я напишу непременно, Андрей Семеныч, он проливал кровь и рисковал жизнью разве не за то, чтоб мы имели право жить так, как живем? Я могу спросить его, воевал ли он за эту нашу сегодняшнюю радость и за завтрашнее похмелье, и он скажет, что воевал, и если уж миллионы в землю легли за образ нашего бытия, за нашу сложную и трудную суть — не прикасайтесь к нам, расколете себе головы!

Дорогие, милые друзья! Славные советские люди! Как люблю я вас, как я благодарен вам за вашу непритязательность.

С первой минуты застолья и в течение всего вечера каждый тост, каждое слово, каждый взгляд — все это так упростило непростую мою ситуацию. Мы целовались с Ириной, как девственники, и не было с нашей стороны ни жеманства, ни игры, — это вы, милые друзья, воссоздали для нас ощущение молодости и новизны!

Небо знает, с каким поганым настроением я пришел к этому вечеру. Мы втроем, мать, Ирина и я, возили Люське передачу. Я лишь прикоснулся к нынешнему Люськиному миру толстых стен, решеток и надзирателей, а мне было так плохо, это заметила Ирина, она сказала мне, что я бледный, но она не заметила ту неподдающуюся дрожь, что колотила меня всего. Как простой советский человек, я, наверное, не знаю, что такое подлинная свобода, но моей неподлинной свободы лишиться для меня невозможно ни за какие цели, нет для меня такой цели, которая стоила бы моего права не слышать скрежета тюремных дверей! Я заподозрил, что и у Люськи нет такой цели, и ужаснулся от мысли, каково ей там, в кирпично-бетонном чреве.

Что-то у нас приняли, чего-то не приняли, мать закатила истерику. Она называла их фашистами, сталинистами, опричниками, мы еле уволокли ее, хоть нам и пришлось подписаться под ее сумбурным заявлением.

На обратном пути я шепнул Ирине:

— А что, родим и подадимся в диссиденты.

— Подадимся, — согласилась она, и я испуганно покосился на нее.

На свадьбу свою, то есть вечеринку, я не пригласил мать. Она бы не пошла. Но сейчас, в разгар веселья, жалею, что не уговорил, не затащил обманом. Не устояла бы она против общего настроения и, возможно, отвлеклась бы от слез и проклятий...

Мария Скурихина врубает магнитофон, и все кидается в пляс. Это, собственно, не пляс и не танец, это просто последняя степень рассвобождения. Мы научились этому у проклятого Запада, но там это все-таки танцы, а для нас, простых советских людей, это почти молитва, это языческий гимн тела временному обретению свободной души, самому нашему беспредметному вечернему счастью. Под грохот чужеземного ритма все перемещается по комнате, друг мимо друга, друг за другом, тени на стенах увеличивают количество присутствующих, и вот в комнате уже целый мир счастливых людей, и я сам уже не в силах сдерживать в себе судорогу радости, я начинаю подергивать плечами, притопывать ногами, дергать головой, и знаю, что глаза мои соловейку и блестят, еще минута, и я подключусь к общему ритму и утону в нем...

Но среди топающих и снующих, мимо и сквозь всех, плывет по комнате женская фигура с поднятыми к подбородку ладошками, я различаю ее лицо, оно сонно-улыбчиво, а мягкие движения умно сдержанны, фигурка плывет сама по себе, она нездешняя, она ничья...

Я замираю в ужасе, я смотрю на дядя Володю, видит ли он то же самое, и у него в глазах испуг, но я понимаю — он всего лишь в шоке от нашего музы-

кально-хореографического хлыстовства, он не видит то, что вижу я, — дочку отца Василия, сонно скользящую сквозь всех в каком-то своем, неуловимом ритме, и чтобы не видеть, закрываю глаза и говорю совсем тихо: «Тося!»

Кто-то хватает меня за руки, тащит со стула. «Эх!» — кричу я и вклиниваюсь в толпу, ввинчиваюсь в нее, как штопор, и начинаю выделять что-то совсем невозможное, и более нет миражей, а есть только подлинное веселье, и в эту минуту начинается моя «другая жизнь», которая не придумана, не вымышлена, но дана мне от рождения и от судьбы, а я лишь не узнавал ее ранее в суете пустых и ненужных мыслей...

Москва, 1981—1982 гг.

Дорогие читатели!

В последних номерах этого года наш журнал опубликует следующие произведения:

№ 10

Целиком посвящен гражданской войне в России
(А. ВЕСЕЛЫЙ, М. ВОЛОШИН, Г. ГАЗДАНОВ,
В. КОРСАК, И. ШМЕЛЕВ и другие).

№ 11

Фридрих ГОРЕНШТЕЙН. Искушение. Повесть.
Лев РАЗГОН. Рассказ.
Дебют: Александр ЛАВРИН.
На земле живых. Повесть.

№ 12

Целиком посвящен литературе русского зарубежья
(А. ГЛАДИЛИН, А. ЗИНОВЬЕВ, Э. ЛИМОНОВ,
В. ПЕРЕЛЬМАН,
Г. СВИРСКИЙ, В. СОЛОВЬЕВ и другие).

В будущем, 1991 году журнал намерен опубликовать:

Леонид БОРОДИН. Новая повесть.

Борис ВАСИЛЬЕВ. Мне было бы сегодня...

Повесть.

Красимира СТОЯНОВА. Главы из книги
о болгарской проридательнице Ванге.

Андрей ВОЗНЕСЕНСКИЙ. Пятая проза.

Владимир ВОЙНОВИЧ. Жизнь и необычайные
приключения солдата Ивана Чонкина. 3-я книга.

Александр ЗИНОВЬЕВ. Светлое будущее.

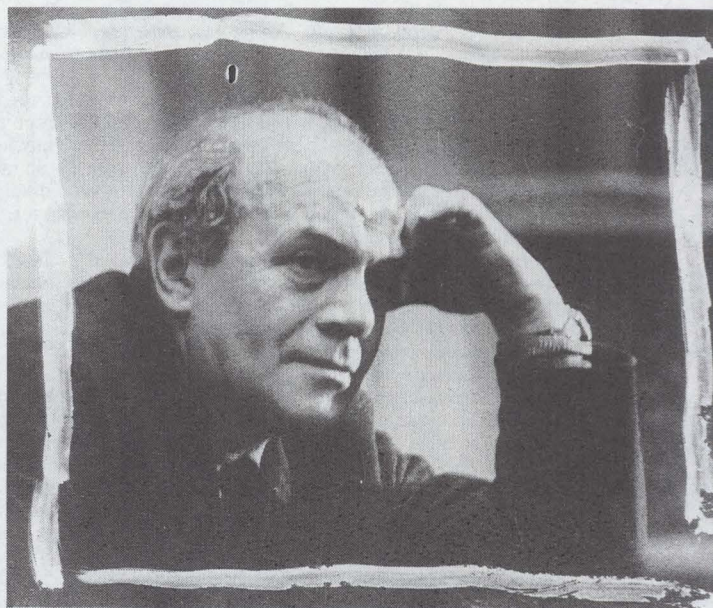
Фаиль ИСКАНДЕР. Новые рассказы.

Лев КОПЕЛЕВ. Святой доктор
Федор Петрович. Повесть.

Неопубликованные письма Осины
МАНДЕЛЬШТАМА.

Проза и поэзия молодых.

«СУЕТЛИВОСТЬ НЕ ПРИСТАЛА НАСТОЯЩИМ МАСТЕРАМ»



С чувством запоздалой вины хочу предложить нашим читателям одно из последних интервью поэта Давида Самойлова журналу «Юность». Хронологически беседа с Давидом Самойловым растянулась на полтора года — это были непродолжительные разговоры во время его наездов в Москву из Пярну, где он жил в последнее время, прерываемые телефонными звонками, приходами частных гостей и постоянным стремлением поэта успеть со всеми увидеться, пообщаться. Давид Самойлович очень хотел, чтобы эта беседа появилась в «Юности», сам он изрядно поработал над уже перепечатанным текстом, сделал свои поправки, подобрал стихи 60-х годов, ранее не публиковавшиеся, и все же, казалось, чего-то еще не хватает.

Минувшие два года были временем острых литературных стычек, дерзостных разоблачений и идейного размежевания. Ничего подобного не было в размышлениях Самойлова. Ни озлобленности, ни резкости, ни поспешности в оценках происходящего. Для него все это было суетным и малозначимым в сравнении с той истинно высокой литературой, во имя которой он жил и традиции которой продолжал.

Быть вне конъюнктуры времени и страстей — это особый дар, достоинства которого, к сожалению, удастся постичь не сразу.

Мы договорились встретиться еще, хотелось что-то добавить, уточнить... Но поездка в Пярну все откладывалась, а то, что мы успели сделать, после смерти поэта приобрело особый смысл.

Давид Самойлов когда-то заметил, что снятые строительные леса неожиданно обнажают законченность здания. Так произошло и с этими, теперь уже ставшими последними, размышлениями поэта.

— Давид Самойлович, вы относитесь к первому послеоктябрьскому поколению, то есть к тем, кто непосредственно должен был ощутить ростки новой «идеальной» социалистической жизни, сегодня мы знаем, что все оказалось несколько иначе... И все же то время породило многих известных поэтов и прозаиков, обозначило общность их судеб и биографий, поэтому хотелось бы услышать рассказ о том, как вы начинали...

— Сначала я учился в очень хорошей школе. Нынче это что-то вроде специализированной, но тогда таких разграничений не было. Называлась она Первая опытно-показательная школа имени Горького. А потом — наш знаменитый ИФЛИ¹, где было очень хорошо поставлено образование и где преподавали такие зубры нашей филологии, как Сели-

щев, Гудзий, Радчек, Грабарь-Пассек и молодая плеяда ученых: Гриб, Алпатов, Пинский, Пуришев, Лившиц. Было им тогда немногим больше тридцати. Программа обучения была серьезной: история, языкознание, языки. Принимали в ИФЛИ по существу, а не по звонку. Я поступал туда с аттестатом отличника, но, поскольку нас тоже было по несколько человек на место, нам устроили беседу, стоившую крупного экзамена по литературе. Последнее время ифлийцев некоторые наши критики стали представлять чуть ли не какой-то социальной кастой, нечто вроде жидо-масонов, как хочет изобразить, например, С. Кунаев. На самом деле там было много народу из провинции, из разных слоев общества. Но атмосфера была такая, что быстро сплавливалась людей в единый коллектив. Иногда ИФЛИ называют «Красным лицеем». По-моему, это очень удачное название. Сам институт был небольшой, все друг друга знали, и братство, рожденное там, не случайно сохранилось до сих пор. ИФЛИ дал многих ученых, литературоведов, поэтов и даже администраторов. Раз в году мы собирались на поэтический семинар. Это происходило, когда приходили первокурсники и шел отбор в ифлийские поэты. Корифеи ифлийской поэзии слушали молодых и принимали их в свою среду. Так и я попал в среду Наровчатова, Когана, Леонтьева, которые были постарше, а потом пришли Гудзенко и Левитанский. Вот такая была преемственность!

— Среди старших наставников в ИФЛИ, а затем в Литературном институте, который вы заканчивали после войны, были наши знаменитые поэты. Общение с ними повлияло как-то на ваше поэтическое становление?

— Непосредственными учителями не только моими, но и Наровчатова, Слуцкого, Когана, Кульчицкого, да и многих еще представителей нашего поколения были Илья Сельвинский, Владимир Луговской, Павел Антокольский. Надо сказать, что все они были чрезвычайно сердечны, чрезвычайно интеллигентны. Мы становились их друзьями, но в отношении стихов их мнения были вполне нелицеприятны, они — мастера — могли нас и уму-разуму учить. Все они были очень разными личностями, и вместе с тем был какой-то стиль поколения — это заинтересованность в следующем. Так что мы очень обязаны им, а также Кирсанову, Светлову, Смелякову и, конечно, Твардовскому, хотя он был ненамного старше нас, и все же разница ощущалась, потому что возрастной гранью была война. Те, кто «начался» до войны, были уже как бы предыдущим поколением.

— Да, литературное поколение было как бы сформировано войной: опыт, приобретенный там, стал основой творчества, но ваше отличие от собратьев по перу в том, что все увиденное на фронте не было поспешно предано бумаге.

Казалось бы, для 20-летнего бойца, попавшего со студенческой скамьи на фронт, столько впечатлений: командование взводом разведки, боевой путь от Вязьмы до Берлина,

¹ Институт философии, литературы, искусства.

участие в освобождении Польши, Венгрии, Словакии, а фронтовой биографии в стихах, как у многих, практически нет. С чем это связано?

— Во время войны я почти не писал. Писали чаще те, кто работал в военной прессе, а так не до этого было. Строчки, строфы я иногда записывал, и они потом где-то обернулись, вошли в стихи. Но основные стихи, фронтовые, я написал после войны, и, может быть, поэтому в ряду поэтов-фронтовиков мои стихи отличаются уже неким состоянием от пережитого, возвращением на обратные круги.

— Вы говорите, что не писали во время войны, но с самых первых послевоенных публикаций воспринимаетесь как «готовый» поэт, хорошо владеющий стихотворной формой. Может быть, это связано с тем, что вы дорабатывали написанное?

— Нет, просто десять послевоенных лет я не печатался, а учился писать стихи. К написанному я редко возвращаюсь. Для меня это уже сделанное дело. Иногда, как у каждого, какие-то мотивы повторяются, но в общем-то эти стихи меня уже не очень интересуют. А насчет формы... После войны стихи у меня долго не ладились. Поэтому, когда меня спрашивают, почему я не печатался во второй половине сороковых, так это не только из-за неблагоприятной конъюнктуры, нет, я пытался и даже напечатал цикл в 48-м году в «Знамени». Стихи были явно неудачные. Но тут случайно я начал заниматься переводами. И для меня это оказалось очень хорошей школой. Переводы поставили передо мной те формальные задачи, которые я бы никогда в качестве упражнения или эксперимента не поставил. К середине 50-х годов, когда я начал более или менее регулярно печататься, у меня уже сложился стих.

— Переводы оказались не только начальной школой, сегодня хорошо известна созданная вами книжная серия «Мастера поэтического перевода», ваши поэтические переложения с венгерского, польского, чешского, словацкого — это уже стало профессиональным трудом. Сами вы не раз отмечали: «Я считал себя профессиональным литератором, то есть человеком, который должен владеть сразу несколькими смежными литературными профессиями». Наверное, это и ответ на вопрос, как можно многое совмещать, не впадая при этом в суетность? Вспоминаю при этом ваши строчки: «Суетливость не пристала настоящим мастерам...»

— Я люблю переводить, может быть, потому, что привык, а может быть, потому, что понял, что перевод мне кое-что и дал. Ведь перевод хорошего поэта — это то самое интенсивное общение с автором, которое другим способом невозможно. Я знаю многих людей, которые любят стихи и просто так переводят любимых поэтов, чтобы пропустить поэта через себя, через русский стих.

— На «Круглом столе» журнала «Дружба народов» по проблемам перевода вы говорили о том, что нужно переводить поэтов, которые и ныне звучат современно. Как вы производите такой отбор?

— Чего греха таить, профессиональный переводчик зависит часто от издательского спроса. Я вот всю жизнь мечтаю Вийона перевести, а его никто не берет. Так что мне иногда приходится переводить вещи, которые стоят в издательских планах, но среди поэтов есть те, которых я люблю и которых перевожу с удовольствием, ну хотя бы Незвала, Тувима, Галчинского, Десанку Максимович, Дьюлу Ййеша. Больше всего я переводил поляков, начиная с Кохановского и кончая современными.

— А интерес к Польше, любовь к этой стране, наверное, с войны?

— Да, есть и это. Иногда бывает так: ты перевел, предположим, тридцать или сорок польских поэтов, следующий, которого ты переводил, встает уже в некий ряд, и уже возникает дополнительный интерес к поэту. Мне это нужно, поскольку все время складывается моя личная антология польской поэзии. И поэтому, когда я сейчас выбираю поэтов для перевода, я заполняю и пробелы в этой антологии.

— Давид Самойлович, несмотря на колоссальный творческий стаж, переводческую, поэтическую, исследовательскую работу, продленную за эти годы, в стихах вы нередко обращаетесь к фронтовому опыту, считая военную пору главной в своей жизни: «Вот окончено главное дело...» или «...оттого пробитое знамя с каждым годом для нас дороже. Хорошо, что случилось с нами, а не с теми, кто помоложе».

Сегодня, спустя сорок пять лет, вы по-прежнему считаете, что главным самовыражением для поколения ста-

ли именно те четыре года?

— В результате оказалось, что да. Ощущение главного дела возникло еще до войны: мы знали, что нам предстоит битва с фашизмом. Поэтому во время войны было ощущение дела и какой-то нравственной прочности. Теперь, в ретроспекции, многие говорят и пишут: вот какая трудная и такая-сякая несправедливая эпоха, но во время войны именно у нас было ощущение душевной гармонии, что ли, черт его знает. Меня за это, например, упрекает одна критикесса. Как так, всему народу плохо, разрушения, смерти, сироты, вдовы, а Самойлову хорошо. Но это, конечно, передергивание. Конечно, и мне было нехорошо, и я голодал и холодал, и все прочее, но где-то было ощущение долга, то есть хорошо было в высшем смысле этого слова. И, помоему, даже неблагоприятно так трактовать состояние солдата.

После войны казалось, что наше поколение одну эпопею закончило, а теперь надо приняться за вторую. Вот, наконец, наступило то, ради чего мы и воевали. Пора просветления, свободы. А потом мы опять завязли в каких-то годах, которые неудачно называются «застоем». И опять пришлось где-то внутренне вернуться к мысли, что та эпопея все же была главной, во всяком случае, она была нами сделана и нами завершена. Годы застоя — это ведь внешний застой. Какой же это был застой, когда была обратная эволюция нашей экономики, например, но шло развитие и каких-то очень важных подспудных движений в обществе. Мне кажется, ни одна новая эпоха дискредитироваться не может, она вызревает в предыдущей, и потом накопленное выплескивается. Сейчас общество пришло к понятиям гласности, но различные мнения созрели раньше, они уже были и только теперь выражаются, очень бурно и резко, часто несправедливо, с переклестами с той и с другой стороны. Мы еще не привыкли к демократии, не привыкли слушать того, кто тебе возражает. Мы сразу либо пугаемся, либо начинаем обвинять того, кто не согласен с нами в каких-то тайных или зловонных намерениях. Это, конечно, очень путает подлинную картину поиска истины.

— Как вы думаете, чем в этих новых условиях должна заниматься литература?

— Наша литература не занимается, как мне кажется, очень существенной, а может быть, главной задачей. В новых условиях должен явиться новый тип литератора. И с ним новый литературный герой, на которого мы могли бы ориентироваться в сегодняшней жизни. Мы знаем, чего не надо, а сформулировали ли мы то, что надо? С каждой новой литературной эпохой появляется новый литературный герой — плохой он или хороший — это может трактоваться по-разному. Обломов долгое время рассматривался как отрицательный герой, а потом оказалось, что это толкование плоское. Он не действует, но он не хочет действовать во имя зла. Нужно, чтобы в сегодняшней литературе был реально существующий тип человека, не важно, как на него посмотрят со стороны. Нужно его открыть, как был открыт русский литературный тип лишнего человека вроде Печорина, как потом был открыт тип народолюбца, аскета вроде Базарова. Все эти типы прозвучали в свое время, потому что они выражали социальную и психологическую реальность. А мы отругиваемся по поводу современности, по поводу отношений друг с другом, литературных групп и всего прочего. Мы создаем какие-то поспешные схемы, иногда странные, иногда происходит моделирование просто чудовищного человека. Чудовищного! С полными остатками старой эпохи, которую мы называем «эпохой сталинизма». С его подозрительностью, с безапелляционностью, с призывом к расправе — ну, разве это современный тип, это тип прошлого, это сталинизм без Сталина.

— Положительный герой? А готов ли к этому читатель, ведь мы несколько задержались в своем эстетическом развитии и только сегодня начинаем постигать духовные ценности, созданные раньше нашими соотечественниками. Вспомните недавние споры критиков по поводу представления журнальной площадки для публикации произведений, написанных в предыдущие годы. Только-только заговорили о публикации романа Пастернака «Доктор Живаго», как послышалось раздраженное одобрение со страниц «Нашего современника», мол, незачем произведение, навеки преданное анафеме, считать полезным и интересным для чтения.

— «Доктор Живаго» — важное, но и трудное произведение. Но мы читаем не менее трудные произведения, к примеру, романы Пруста. А в «Живаго» остро поставлена проблема личности и ее взаимоотношений с действительностью.

Верно или неверно решает этот вопрос герой романа, важно, что он его ставит с большой глубиной, искренностью и самоотдачей. Речь идет о той твердости, с которой личность сохраняет свое духовное ядро. Годится ли «Живаго» для всех?

Наверное, нет. Но литература существует не для всех вместе, а для каждого в отдельности. Она постепенно приходит от каждого ко всем. У вас в 12-м номере «Юности»¹ в беседе с С. Аверинцевым замечательно сформулированы черты современного интеллигентного человека. Наличие минимума твердых принципов, которые нельзя отобрать. Эта черта есть у Живаго и, возможно, должна стать чертой человека нашего ближайшего будущего. А как воспримут роман другие читатели — посмотрим.

— Знаю, что недавно вы закончили инсценировку по роману «Доктор Живаго», интерес к театру у вас давний — известны тексты песен к спектаклю по О'Нилу, к постановкам Шекспира, детские мюзиклы. Как это сочетается: с одной стороны, высокоинтеллектуальная поэзия, а с другой — массовое действо, буффонада?

— Я думаю, что моя поэзия не может считаться сугубо элитарной. Я никогда не стараюсь специально выразиться замысловато. Видимо, я не для начальной школы. Но для толкового ученика средней школы уже гоюсь. Театр для меня всегда был тягой к «другой» литературе, к литературной игре, к шутке. Отсюда идет стремление к буффонаде, к мюзиклу. А театр я вообще люблю, меня тянет к нему. Труд писателя индивидуальный, мы творим одни. А театр — коллектив, где все важны: и актеры, и режиссеры, и авторы пьесы, и художники, и осветители. Когда все это объединяется в общем творческом порыве, вдохновении, получается хороший спектакль. Я люблю быть участником общего труда.

— А с чем связан ваш особый интерес к исторической теме — к эпохе Петра, пушкинскому времени? В стихотворных портретах Ивана Грозного, Менишкова, Пушкина, Пестеля, Дельвига история предстает не как средство осмысления настоящего, а просто как история...

— Пушкин меня всегда интересует, я постоянно читаю почти все, что пишут о Пушкине. Я его ощущаю как еще не исчерпанное явление русской жизни. Мы постоянно в нем что-то находим, еще что-то. А XVIII век меня интересует как очень острая эпоха развития русского общества. Именно тогда практически решался вопрос о том, по какому пути идти России. Короче говоря, там заложен спор славянофилов с Западом. Петр был западником, условно говоря, и поэтому в XIX веке его роль оценивалась весьма неоднозначно. В петровскую, а особенно в послепетровскую эпоху видно, что инерцию сложившегося общества не так легко повернуть одним натиском и даже одной рубкой лозы. В XVIII веке заложены очень глубокие философско-психологические основы русской истории.

— Ваше увлечение Петром, людьми, его окружавшими, совпадает с поисками нашего автора, поэта Владимира Рецеттера. У вас недавно опубликована поэма об Александре Менишкове, у Рецеттера — о Петре, но часть поэмы посвящена также этому сподвижнику царя. Очевидно, он и сегодня представляет особый интерес.

— Менишков — фигура, которая владела огромной силой, богатством, влиянием, — и вдруг оказалось, что он бессилен, его падение было совершенно неожиданным. Значит, в любом обществе, даже в том, петровском, есть общественное мнение, не только грубая сила. То, что у Пушкина называется «мнением народным силой». Как терется мнение народное, как оно выражается — вот что меня интересовало в фигуре Менишкова. Человека необычайно яркого, умного, интересного и который тем не менее пал.

— Эпоха Петра породила споры, продолжающиеся до сих пор, — о соотношении национальных ценностей с культурой Запада. Сейчас возникает вопрос и о Востоке...

— Этот вопрос в последнее время стал необычайно актуальным. Казалось бы, что развитие современной цивилизации приводит нас к тому, что человечество должно объединиться. На самом деле проблемы нас почему-то не объединяют. И это тем удивительнее, что момент критический, человечество может погибнуть не только от атомной бомбы, но и от изменения экологических условий и еще от нескольких причин. Мы знаем, как происходит вырождение человечества на глазах, — вот чем надо бы заниматься, а мы

занимаемся вопросами национальных приоритетов. Думаю, это результат всеобщей человеческой незрелости, всемирного инфантилизма.

Спорят о том, существует ли вообще мировая культура или есть только национальные культуры. А ведь сама постановка вопроса довольно нелепая. Все равно как говорить, что существуют люди, а человечество — нет. В этом споре культура взята в очень узком ракурсе, особенно искусство. Но искусство — не единственная сфера культуры. Например, как можно говорить о физике, не говоря о ней как о мировой науке, о медицине, об экологии. Существует сфера науки — громадная, и существует сфера философии нравственных понятий; существует сфера религии в конце концов. Это некие мировые или полумировые, региональные проблемы. Нельзя, например, сказать, что бином Ньютона относится только к английской математике. Мы пытались в свое время выделить «чуждые» элементы науки, говоря, что теория Эйнштейна — буржуазный идеализм, а кибернетика... уже и не знаю, как она была обозвана. Оказалось, что и нам потребовалось этим заниматься. Поэтому, как говорят математики, постановка вопроса некорректная. Можно говорить о вкладе разных наций в процесс мировой культуры. Потому что если говорить о культуре внутри каждой нации, то теряются некие общечеловеческие критерии, ощущение масштабов. Потеря масштаба грозит потерей оценок и самооценок. Это сказывается в эпитетах некоторых наших критиков, весьма преувеличенных, когда речь идет о вполне посредственных явлениях искусства. Но это еще не самая большая беда. Хуже, когда теряются масштабы в оценке экономики, общественных явлений и т. д.

— Слушаю вас и думаю, насколько умные, обоснованные суждения о соотношении национальной и мировой культуры отличаются от скоропалительных, не подкрепленных культурным знанием выступлений лидеров общества «Память», самозванно провозгласивших себя защитниками интересов России.

— Вопрос о «Памяти» сложный. Причины возникновения общества заложены в последнем полувековии нашей истории: разрушение национальных памятников, социальные и экономические искривления, изъятие из национального обихода ценностей русской философско-исторической мысли, ее всеохватности и глубины, истребление интеллигенции и народных талантов, наконец, сложностей межнациональных отношений нашей огромной державы.

Как во всяком неслучайном явлении, положительная сторона есть и в наличии «Памяти»: она прочертила черту размежевания общественного мнения. Дальнейшее углубление, эволюция общественного мнения, число приверженцев «Памяти», ее внутреннее размежевание и лозунги — все это будет зависеть от нашей общественной обстановки, от процессов созревания демократизации и гласности, от успехов духовного просвещения нашего общества, от работы его руководителей и идеологов.

— Вы знаете, мне вся эта ситуация напоминает ваши же: «...Вот и все. Смежили очи гении. Нету их. И все разрешено»...

— Я не хотел бы обрисовывать нынешнюю картину, просто я говорю обыкновенную вещь — у нас в литературе нету гения и нету главного авторитета, к которому мы могли бы обратиться с вопросом, как жить дальше. Как писать дальше? Это ведь не только в литературе. Актеры тоже часто эти стихи читают — «Нету их. И все разрешено». Вседозволенность бесталанности была частью эпохи застоя, частично это продолжается и сейчас.

— Давид Самойлович, вы дружили, общались со многими знаменитыми людьми нашего столетия — Анной Ахматовой, Борисом Пастернаком, Николаем Заболоцким, Марией Петровых, начинали вместе с известными советскими поэтами, т. е. тогда были традиции, была преемственность. А как сейчас? Не появилось ли ощущение разомкнутости поколения?

— Поколение — это вещь сравнительно условная. Вот из моего поколения уже очень многие ушли, ушел Наровчатов, ушел Глазков, ушел Слуцкий. Уже не говоря о том, что во время войны погибли Коган и Кульчицкий. Ну, конечно, есть еще поэты моего поколения, но, как говорится, из других компаний. Есть и люди, близкие мне по понятиям; так я всегда ощущаю, как близких мне людей, Булата Окуджаву, Юру Левитанского, Елену Ржевскую, Юру Давыдова, Кондратьева. Где-то я ощущаю человеком своего поколения Фазила Искандера, хотя он младше меня. Юрия Карякина, Юрия Черниченко. Проблема поколения пере-

¹ «Юность» № 12, 1987 г.

стает быть возрастной. Из молодых поэтов я ценю О. Хлебникова, А. Чернова, О. Николаева. Есть замечательный молодой поэт, он живет в Вильнюсе, там выходили его поэтические книги, ввиду малой тиражности он не очень известен (Георгий Ефремов). Так что в этих людях я ощущаю и пресмысленность, и взаимопонимание. Когда я разговариваю с этим кругом людей, то не чувствую, что у меня какой-то другой опыт. Просто за ними меньше годов накоплено. А в оценке литературных событий иногда можно и поспорить. Я вообще против диктата, унификаций вкусов.

— Один из ваших поэтических сборников последних лет назван «Залив», очевидно, по программному для вас стихотворению «Я сделал свой выбор, я выбрал залив». Последние 10 лет вы живете очень верной для художника жизнью — вне суеты и сиюминутных страстей. Как сами вы оцениваете свое отшельничество, что-то изменилось в творчестве за эти годы?

— Хотя я и горожанин по рождению и даже по происхождению, но после войны меня потянуло из большого города. Я много лет прожил в Подмоскowie, а потом почти случайно попал в маленький эстонский городок Пярну и остался в нем жить. Я не могу сказать, что я уехал от литературы, от литературной среды, — просто там мне лучше работать. Как многие уезжают: кто хутор купит, кто в Переделкино живет, но в Переделкино писать некогда — слишком много сил уходит на разговоры, на общение. У каждого свой характер, и я, несмотря на видимую общительность, имею потребность в одиночестве, у меня есть потребность микросреды, где я могу думать. Долго. Мне надо думать долго. Поскольку я живу в другой пейзажной обстановке, то, наверное, что-то изменилось в моих стихах: природный антураж, но не думаю, чтобы изменилась их суть.

— Не могу не процитировать ваши «Пярнские элегии»:

Что за радость! Непогоды!
Жизнь на грани дня и тьмы,
Где-то около природы,
Где-то около судьбы.

Очевидно, прибалтийский пейзаж принес ощущение беспечной легкости и жизненной свободы...

— Конечно, там много освободилось времени. Хотя ко мне и в Пярну все время приезжает кто-то из друзей, а иногда и читатели. Причем там общение гораздо более интенсивное. Здесь на ходу, на бегу, на одной ноге. А там можно целый день разговаривать с интересным человеком. Такие общения, разговоры всегда очень много дают. Вот здесь кажется, что я «общулся» с большой аудиторией, — так разве это общение, я ответил на записки, а истинное общение — это там. И я думаю, что не чувствую себя отделенным от русской литературы, от русской жизни, —

наоборот, может быть, что-то я стал глубже понимать в этом процессе. Издалека иногда виднее — страсти не сбивают с толку, и начинаешь думать: а что, собственно говоря, происходит?

У меня очень большая переписка, я отвечаю почти на все письма, на это уходит довольно много времени.

— Да, редко кто сейчас из писателей это делает...

— Ну, в Пярну-то это легче, в Москве это физически невозможно. Если собрать по листочку всю мою переписку в год, то по объему большой роман будет.

— Кстати, я знаю, что когда-то вы начинали писать прозу, военные записки.

— Я их продолжаю писать. Одну главу для пробы отдал в журнал. Сейчас собираюсь заняться воспоминательной прозой. Чувствую необходимость написать о встречах со многими людьми и о многих обстоятельствах.

— У вас в творчестве есть интересная закономерность: стремление возвратиться назад, в уже прожитые годы; если у вашего друга поэта Юрия Левитанского в стихотворении «Кинематограф» такие строчки: «досмотреть свое хочу», то у вас, наоборот: «механик, крути киноленту назад» или «я люблю ощущение ушедших годов» — то есть обратный ход событий интереснее, чем нынешний?

— Я хочу не «досмотреть» свое, но скорее «пересмотреть». И уже языком суровой прозы. Да и просят меня написать издатели воспоминания о людях, уже ушедших. Свидетелей-то все меньше.

— И последний вопрос: как вы эти годы жили? Сейчас, когда многие вспоминают, рассказывают, как было тяжело, плохо, от вас не слышно жалоб. Вы не спешите публиковать ранее неизданное, чем это объясняется?

— Я хочу, чтобы немножко поулеглись страсти. Знаете, как Булат сказал: «Давайте успокоимся, разойдемся по домам».

Прошло почти полгода со времени ухода не из поэзии, из жизни Давида Самойлова.

За это время произошло немало идеологических и литературных конфликтов, острых споров и потрясений. У всех у нас на памяти стенограммы заседаний VI пленума Союза писателей РСФСР и других подобных им собраний; а может, действительно все эти страсти суетны и верными остаются строчки поэта:

Пусть нас увидят без возни,
Без козней, розни и надежды.
Тогда и скажется: «Они
Из поздней пушкинской плеяды».

Беседу вела Анна ПУГАЧ

Давид САМОЙЛОВ

ПЕРВОЕ ПОКОЛЕНИЕ

(Стихи конца 50-х — начала 60-х гг.)

☆☆☆

Непонятны нам сыновья и дочери.

До чего дожили —

Нам не верят дочери с сыновьями.

Зря мы разливаемся соловьями.

Говорят: как же вы допустили?

Как спокойно спать могли в постели?

Как же вы себе не опостытели?

Неужели вы совсем опустели?

62

Мы в постели глаз не смыкали.

Слушали: стрельнет ли дверь в подъезде.

Лишь в окопе мы спокойно спали,

Подложив под голову созвездья.

Жили мы и разное и розно,

Так, что часто о себе не помнили.

Родились мы рано или поздно,

Жаль, от пули вовремя не померли.

И чернили мы себя дочерна,

Хоронили себя заживо в яме...

Знали, не поймут нас сыновья и дочери,

Не простят нас дочери с сыновьями.

☆☆☆

Если вычеркнуть войну,

Что останется? Не говорю:

Небогатое искусство

Бередить свою вину.

Что еще? Самообман,
позже ставший формой страха.
Мудрость, что своя рубашка
Ближе к телу. И туман...

Нет, не вычеркнуть войну,
Ведь она для поколения —
Что-то вроде искупленья
За себя и за страну.

Правота ее начал!
Быт жестокий и спартанский
Как бы доблестью гражданской
Нас невольно отмечал.

Если спросят нас юнцы,
Как мы жили, чем мы жили,
Мы помалкиваем или
Кажем раны и рубцы.

Словно может нас спасти
От упреков и досады
Правота одной десятой,
Слабость прочих девяти.

Ведь из наших сорока
Было лишь четыре года,
Где бесстрашная свобода
Нам, как смерть, была сладка.

☆☆☆

О, Господи, конечно, все мы грешны,
Живем, мечась и мельтеша.
Но жаль, что, словно косточка в черешне,
Затвердевает в нас душа.
Жаль, что ее смятенье слишком жестко,
Что в нас бушует кровь и плоть,
Что грубого сомнения подростка
Душа не в силах побороть.
И все затвердевает — руки в слепок,
Нога в костыль и в маску голова,
И, как рабыня в азиатских склепах,
Одна душа живет едва-едва.

☆☆☆

Все реже думаю о том,
Кому поправлюсь, как поправлюсь.
Все чаще думаю о том,
Куда пойду, куда направлюсь.

Пусть те, кто каменно тверды,
Своим всезнанием гордятся.
Стою. Потеряны следы.
Куда пойти? Куда податься?

Где путь меж добротой и злобой?
И где граничат свет и тьма?
И где он, этот мир особый
Успокоенья и ума?

Когда обманчивая внешность
Обескураживает всех,
Где эти мужество и нежность —
Вернейшие из наших вех?

И нет священной злобы, нет,
Не может быть священной злобы!
Зачем, губительный стилет,
Тебе уподобляют слово?

Кто прикасается к словам,
Не должен прикасаться к стали.
На верность добрым божествам
Не надо клясться на кинжале!

Отдай кинжал тому, кто слаб,
Чье слово лживо или слабо,
У нас иной и склад, и лад.
И все. И большего не надо.

ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНЕЕ?

Человек всегда стремился узнать, какой он, что с ним будет через год-два, чего он достигнет в своей жизни. Сотни лет, чтобы удовлетворить свое любопытство, люди обращались к гадалкам, пророкам... Помните?

«Свет мой, зеркальце, скажи...»

Это было, было в сказке. А сегодня смогут рассказать о вас всю правду

УЧЕННЫЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ «ПОЗНАНИЕ Я»

С помощью анонимного тестирования мы предлагаем вам приоткрыть завесу таинственности, заглянуть в себя.

Вы можете возразить:

«Каждый человек анализирует свои поступки, и кто может знать меня лучше, чем я знаю себя сам?»

Верно, самоанализ — это прекрасно, но... очень трудно избежать субъективности. Так и хочется быть лучше, справедливее, честнее, мудрее, сильнее, чем есть на самом деле.

Всем, кто хочет получить объективную научную оценку, мы высылаем проспекты о работе службы и подробную информацию о двух многофакторных тестах.

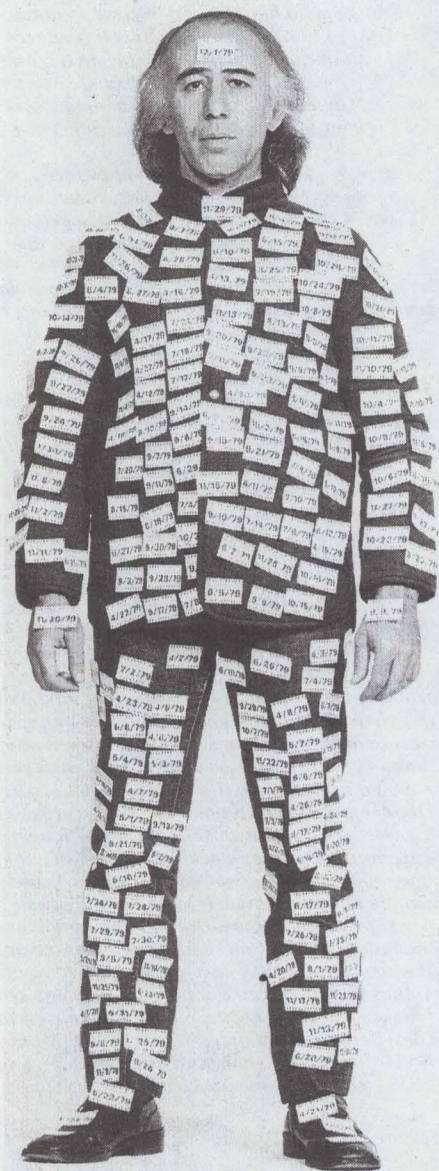
С их помощью вы сможете:

- **УЗНАТЬ** важнейшие подробности своего характера;
- **ПРЕОДОЛЕТЬ** трудности и конфликты в общении с коллегами, друзьями;
- **ДОСТИЧЬ** гармонии в семье;
- **ВЫЯСНИТЬ** причины неудач в жизни как следствие психологического дискомфорта;
- **ВЫЯВИТЬ** предрасположенность к несчастным случаям;
- **ОПРЕДЕЛИТЬ** профессии, наиболее соответствующие вашему психологическому складу;
- **ПОЛУЧИТЬ** рекомендации по выбору идеального партнера в браке.

Вы выбираете тест и производите оплату (12 или 18 рублей). Получив квитанцию, мы направляем вам соответствующий тест и бланк, который вы заполняете, искренне отвечая на интересные, а порой и неожиданные вопросы, и высылаете нам. Обработав информацию на ЭВМ, специалисты службы «Познание Я» составляют точный психологический портрет, который вы получите с подробными комментариями и рекомендациями. Выявив положительные и отрицательные черты характера, склонности, эмоциональную направленность, тестирование поможет вам избежать тупиковых ситуаций, стрессов, позволит взглянуть на себя со стороны и познать себя. Вы ничего не потеряете, только приобретете!

Ждем ваши заявки по адресу: 115304, Москва, а/я 27, «Познание Я». В письмо обязательно вложите пустой конверт со своим адресом.

«ЛИШНИЙ ЧЕЛОВЕК — ЭТО ЗВУЧИТ ГОРДО»



Когда-то в Нью-Йорке мы выпускали с Вагричем Бахчаняном еженедельник «Семь дней». Он делал в каждый номер картинки (многие из них представлены здесь), к которым мы писали редакционные колонки. Наверное, это был единственный в мире журнал, где литераторы иллюстрировали художника.

Так вот, как-то с ним произошла беда (с Бахчаняном, а не с журналом, — тот разорился несколько позже) — острое воспаление желчного пузыря. Вагричу сделали операцию, во время которой больной орган был удален, о чем мы объявили в журнале: «По многочисленным просьбам читателей у художника Бахчаняна вырезан желчный пузырь».

Все окружающие сочли операцию заслуженной и своевременной.

Однако, как скоро выяснилось, печальное происшествие Бахчаняну на пользу не пошло — желчи в его шутках даже прибавилось. Что еще раз доказывает, как трудно скальпелем исправлять пороки.

Называя Бахчаняна художником, мы поступаем так только потому, что не знаем, как назвать его иначе. На самом деле он работает в жанре, который следовало бы обозначить просто «бахчанян».

Вагрич взял на себя роль сатирического комментатора эпохи. Будь то коллаж или афоризм, плакат или каламбур — все служит средством для тотальной пародии на окружающую действительность.

Бахчанян — это кривое зеркало, в котором жизнь отражается только в искаженном, смешном виде. Причем ему все равно, кто в нем отразится — вожди партии, американский президент, эмигрантские деятели, известные писатели, диссиденты.

Естественно, что Бахчаняну такое неразборчивое постоянство не сходит с рук. Понятно, что его жертвы не прощают сатирических упражнений на свой счет. Как будто зеркало виновато, что оно кривое.

Но, как ни странно, гротескный мир бахчаняновских острот часто куда больше похож на реальность, чем самое старательное ее копирование. Простенький каламбур, построенный на незастылом, лежащем на поверхности звуковом сходстве, вдруг открывает бездну смысла. Так, например, ставший фольклором афоризм «Мы рождены, чтоб Кафку сделать былью» превратился в мрачный символ времени.

А все потому, что Бахчанян точно называет явление, присваивает ему метку этикетки. Далеко не всегда он справедлив. Часто, как и положено гротеску, это одна, причем обратная сторона медали. С бахчаняновскими остротами всегда хочется спорить, но, услышав их, трудно не улыбнуться. Какими бы злыми ни были его шутки, в них всегда есть доля неприятной правды.

Вот недавно Бахчанян выпустил книгу под длинным и почти знакомым названием «Повесть о том, как поссорился Александр Исаевич с Иваном Денисовичем». Нетрудно представить, на что напрашивается Бахчанян, но такая уж у него должность.

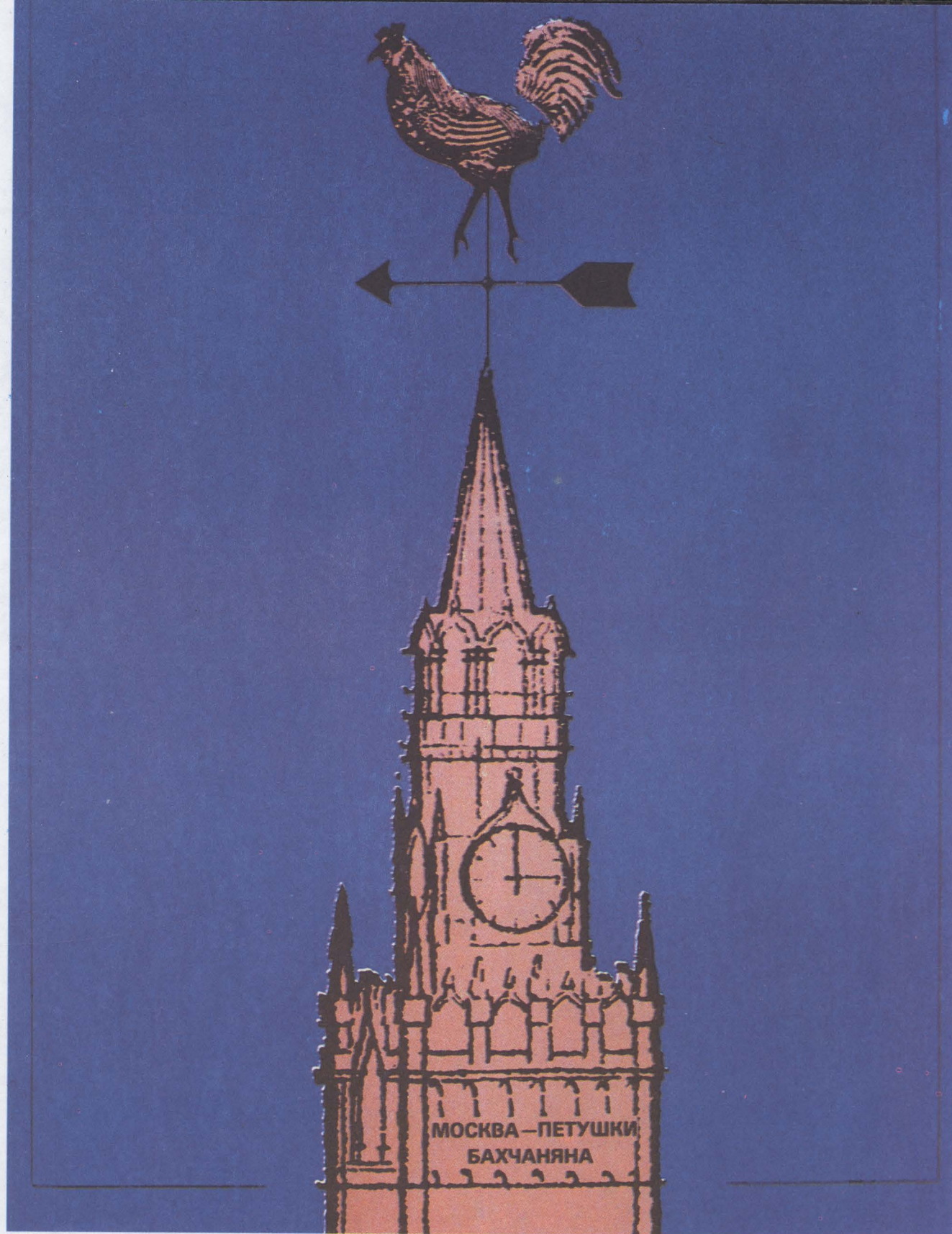
Решив взять у Вагрича интервью, мы столкнулись с одной трудностью. Он отвечает не столько на наши вопросы, сколько на свои, при этом беспрестанно острит, сбывая с толку. Что делать — имея с ним дело, приходится учитывать специфику жанра, в котором он даже не работает, а живет.

Началась наша беседа с Ленина. Наверное, самое известное произведение Бахчаняна — плакат, изображающий вождя в надвинутой на глаза кепке. Этот коллаж обошел дюжину зарубежных выставок и воспроизведен во множестве разноязычных журналов. Опустив знаменитую Ильичеву кепку на несколько сантиметров, Бахчанян заменил один символ на другой: вместо доброго прищипа — ухмылка. Маленький штрих, крохотный сдвиг превратил икону в карикатуру.

В этой работе по-бахчаняновски отстраненная реальность приняла наиболее острый, публицистический характер. Поэтому и начали мы с политики.

— Что значат для тебя советские вожди, которым ты не даешь покоя всю жизнь?

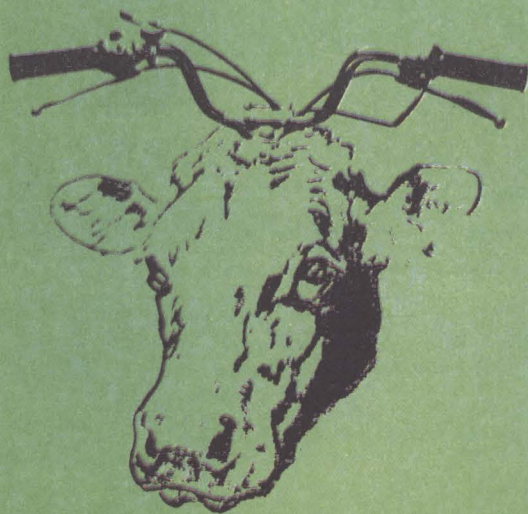
— Ленин и Сталин — символы Советской власти. Они сверхчеловеки, и естественно, что в них хочется увидеть что-то смешное. Человек хочет, чтобы вождь был таким же простаком, как он сам. Ну, и потом я не могу быть равнодушен к вождям. Если ты над кем-то смеешься, значит, он тебе дорог. Ленин и Сталин — часть моего детства, часть моего воспитания. Я люблю вождей. Чувствую себя в кон-



ВАГРИЧ БАХЧАНИЯН
Нью-Йорк. США.
(коллаж)

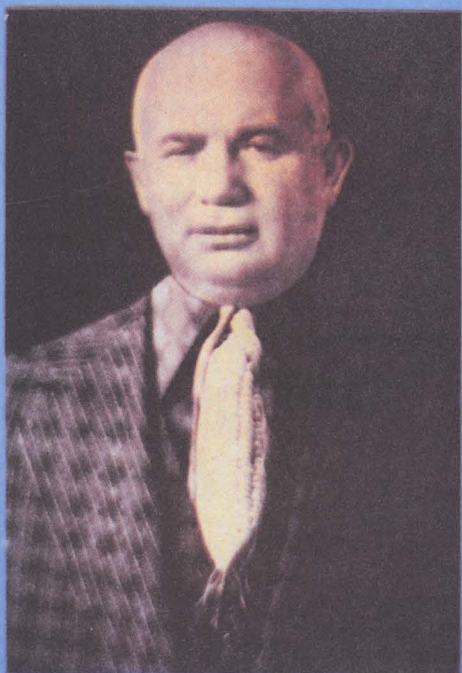


ЧЕЛОВЕК С РУЖЬЕМ БАХЧАНЯНА



КОРОВА БАХЧАНЯНА

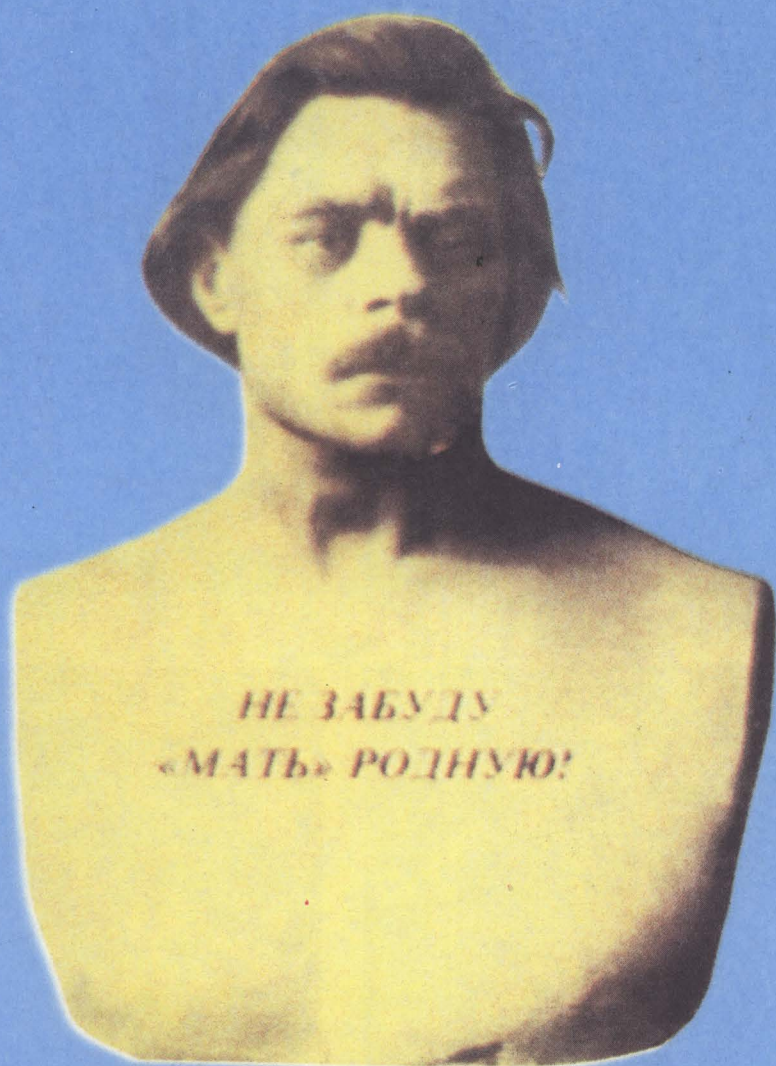
К 20-ЛЕТИЮ ПАДЕНИЯ



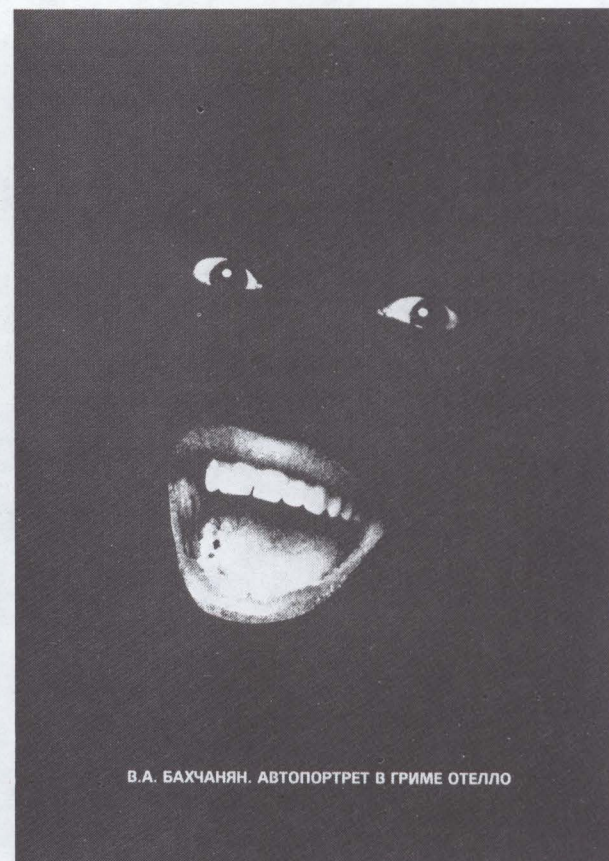
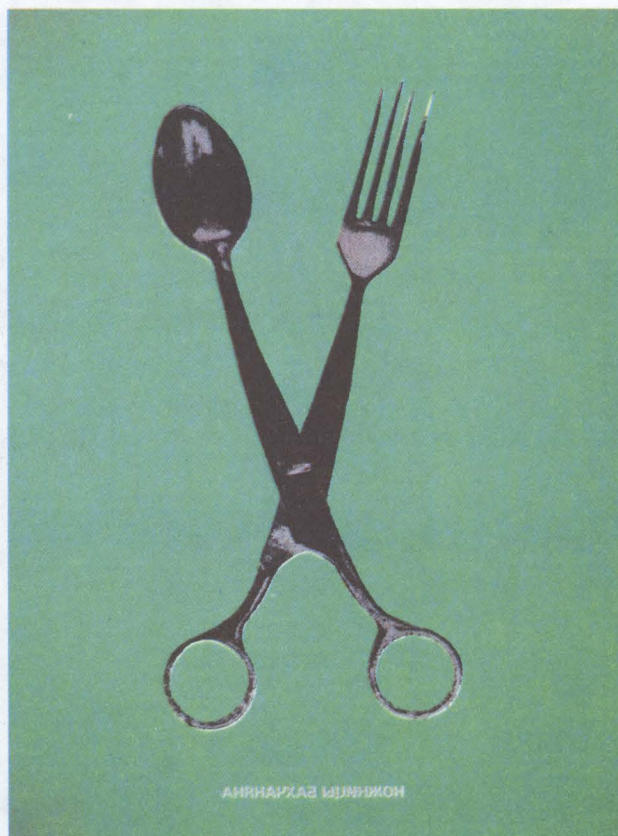
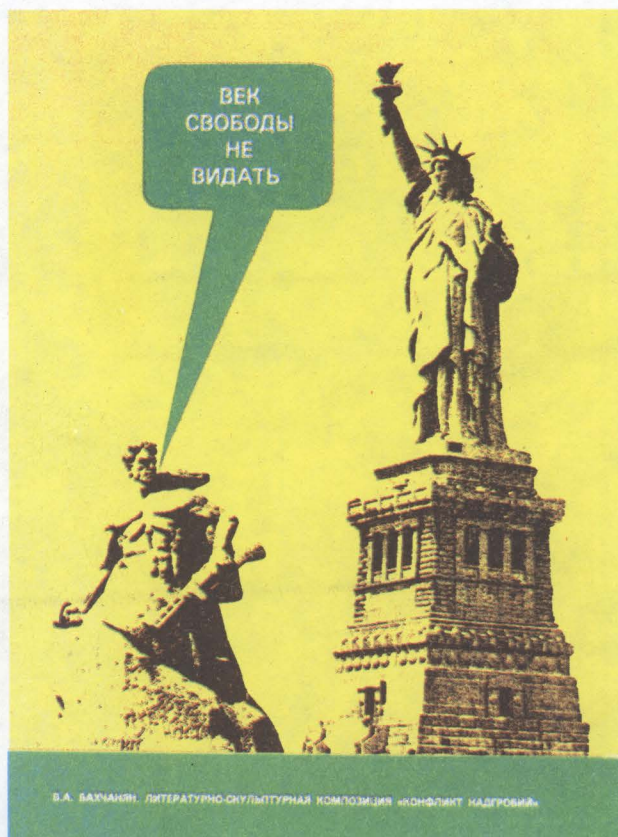
В.А. БАХЧАНЯН
ПОРТРЕТ Н.С. ХРУЩЕВА
ЖАНР. КУКУРУЗНОЕ МАСЛО



РИСУНОК ПИКАССО — ЗНАМЯ БАХЧАНЯНА



ГОРЬКАЯ ПРАВДА БАХЧАНЯНА



такте с ними. Если бы не было Сталина, я бы, наверное, издевался над Николаем.

Вождь — это всегда знак времени. Мы же говорим «ленинское время», «николаевская эпоха». Вожди — как календарь. Вспомните, что царило в стране в связи со 100-летием Ильича. Я тогда внес немало предложений. Переименовать город Владимир в город Владимир Ильич, открыть МАОЗолей, построить подземный переход от социализма к коммунизму. Еще одна идея у меня была связана с театром — поставить «Первую конную» силами трупы лилипутов. Буденный должен был выезжать на пони...

— Что тебе дала Америка?

— Ничего! (Текст смягчен.— Авт.) Американское искусство я знал по репродукциям. Когда на второй день жизни в Америке попал в Музей современного искусства, все там было уже знакомо. Многие работы в оригинале оказались даже хуже. Так что я не приобрел, а потерял. Ведь раньше американское искусство было для меня неземным. А здесь я видел на улице Энди Уорхола*. Это как будто боги спустились с неба. Но на самом деле нет никаких богов. Был заурядный человек Энди Уорхол, который ходил с вещмешком по нью-йоркским улицам.

— А свобода?

— Может, она и не нужна. Эрнст Неизвестный еще в России сказал, что свобода нужна слабым. По-моему, умно. Нужно сопротивление, нужно с кем-то бороться. А с кем бороться в Америке? С долларом? ЦРУ не КГБ, их не видно. В России я знал, что кому-то нужен. Когда я работал в «Литературке», все призывали друг друга быть осторожнее: кругом стучат. А я говорил, что только тут и надо болтать — ни одно слово не пропадет даром.

Так что из всей Америки мне досталось несколько фраз, вроде «Архипелаг ГУЛАГ» и «Паблик Морозов».

— Хорошо, оставим Штаты. Но что ты думаешь о нашей эмиграции?

— Разное. Для нас Америка — это бутербродина. Есть здесь и духовно больные. Кто-то носит как дурак с писаной торой.

Однако многие чувствуют себя хорошо не в своей тарелке. Хотя и им приходится осваивать учебное пособие по безработице.

— Зачем же мы сюда приехали?

— Мотив эмиграции — тоска по ностальгии. При этом не стоит забывать, что любовь к матери Родине — эдипов комплекс.

— Чем же тебе все-таки не нравится наша Третья волна?

— Художники — мал мала меньше. Скульптура покрыта мраком Неизвестного. Саша Соколов окончил школу для дураков с золотой медалью. Бродский тоже не сахар. Сам

я живу на содержании у фирмы. Сейчас работаю над средством от комаров и меламидов*.

Эмиграция для меня трагедия, тупик — дальше ехать некуда. Из моего родного Харькова маячила Москва, из Москвы — Париж, Нью-Йорк. То есть была перспектива. В эмиграции нет правды — не все в России было плохо, не все и в Америке хорошо. Нет здесь и свободы — попробуйте напечатать в эмигрантском издании критическую статью против этого органа.

— Почему ты всегда в оппозиции?

— Я не хочу идти в ногу со всеми — ни здесь, ни там. У нас такой же истеблишмент, как и в России. Здесь был Максимов, там был Чаковский. А мне всегда чужд важный человек, который к тому же руководит.

— Поэтому ты и нападаешь на Солженицына?

— Ни на кого я не нападаю. Это вы мне придумали кличку «главный хулиган эмиграции». А Солженицын? Крутится, бедолага, как белка в «Красном колесе». Солженицын нужен эмиграции, как и Лимонов. Сейчас Солженицын — один из самых знаменитых русских людей в мире, поп-звезда. Поэтому и говорить о нем интересно.

— Как ты относишься к русской зарубежной прессе?

— Вначале было «Новое русское слово», потом в голову неожиданно пришла «Русская мысль». Но теперь прессы не хватает. Как хорошо было бы издавать религиозную газету «Прости, господи» или бюллетень дезертиров «Драпо руж». Или печатный орган антисемитов «Жидь-битель»...

— И ты про евреев...

— Я, конечно, люблю Россию без «Памяти». Но ведь нельзя относиться как-то особо к целой нации. Что делать, если и Мандельштам, и Каганович — евреи?

— Ты следишь за событиями в Советском Союзе?

— А как же. Идет перестройка вавилонской башни. Вокруг — гласность вопиющего в пустыне. А в качестве моего вклада в современное советское искусство предлагаю рецензию на роман Айтматова «ПЛАХАЯ книга» и сценарий фильма об Афганистане — «Джувелетта и «духи».

— Ты что-нибудь хочешь передать читателям?

— Куйте железо. Пока!

Как могут все убедиться, беседовать с Бахчаняном непросто. Святого у него нет. К тому же он обладает одним непростительным недостатком — говорит, что думает. И по ту, и по эту сторону границы. Людей, страдающих таким недугом, любое общество считает лишними.

Впрочем, сам Бахчанян полагает, что лишний человек — это звучит гордо.

* Виталий Комар и Александр Меламид — советские художники, переехавшие в США. Имеют шумный успех.

Петр ВАЙЛЬ, Александр ГЕНИС

Нью-Йорк

* Энди Уорхол — американский художник, корифей поп-арта.



Вагич Бахчанян и прежде публиковал свои коллажи в нашем журнале и даже выставлялся — на один день! — в комнате «Зеленого портфеля». Но других выставок в нашей стране у него вроде бы не было. А снимок этот сделан в начале семидесятых на новогоднем вечере в «Юности». Был затеян какой-то конкурс и выбрано авторитетное «жюри»: Виктор Славкин, Вагич Бахчанян, Василий Аксенов, Юрий Зерцанов и Алла Латынина.

Людмила ПЕТРУШЕВСКАЯ

СКАЗКИ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ



Рисунок
Иосифа Оффенгендена
Фото
Валерия Плотникова

Роза

Один человек вдруг начал благоухать, как роза. И с этим ничего нельзя было поделать. Он входил в магазин — и все мигом останавливались и начинали нюхать воздух и говорили:

— Пахнет розами. Как будто мы попали в розовый сад.

И пока этот человек не удалялся из магазина, никто ничего не мог купить, все стояли и, закрыв глаза, вдыхали аромат.

Но если этот человек вдруг объявлял, что это от него так чудесно пахнет, все отмахивались от него или просто не обращали на него внимания, продолжая вдыхать аромат роз.

И куда бы этот человек ни приходил, ему никто не верил, все бегали вокруг него и искали, где спрятаны розы, а на него не обращали внимания.

А дома у этого человека происходила совсем другая история: всем ужасно надоел запах роз. Ведь каждому может надоест, если целый год в доме очень сильно чем-нибудь пахнет.

Кроме того, соседи варили щи или грибной суп или жарили котлеты — и все это пахло розами. И все собаки во дворе пахли розами, и даже мусорное ведро так пахло.

Все соседи говорили, что жить стало невыносимо. — Нельзя понять, — жаловались хозяйки, — скис вчерашний суп или нет: пахнет розой, и все тут.

В доме страшно расплодились мыши, потому что кошки теперь не могли различить мышь по запаху — мышь пахла, как роза. И кошки пахли, как розы.

Наконец этот несчастный человек решил пойти в ботаническую академию: он надеялся, что там разберутся, в чем дело.

И действительно, в ботанической академии его сразу же окружили профессора, повернули его к свету и стали спорить, желтая он роза или белая. Профессора долго спорили, потому что от того, какого цвета роза, зависит и уход за этой розой.

Наконец профессора решили, что он бело-розовая роза, и сказали этому человеку, что высадят его в горшочек, чтобы проверить, какое удобрение ему больше подходит и чем его лучше поливать.

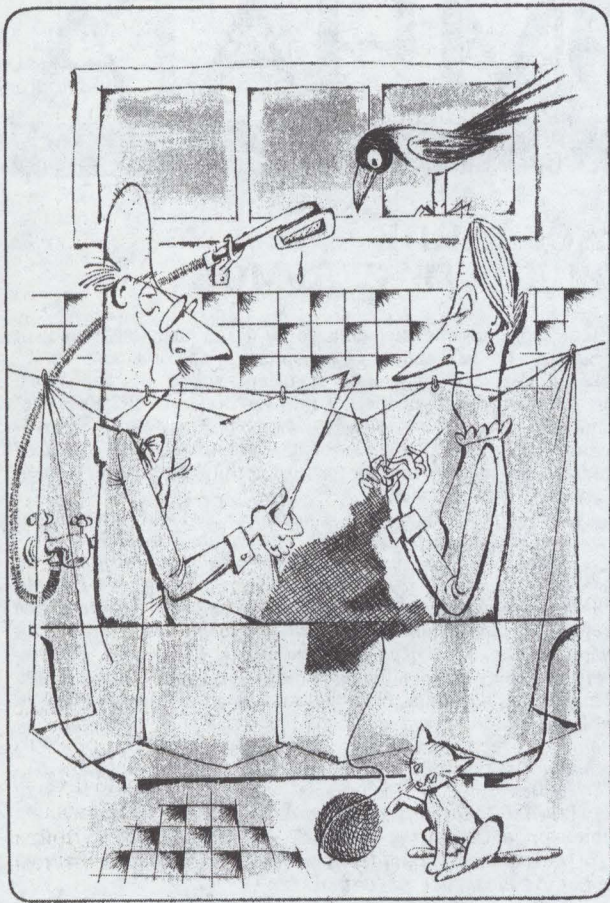
А этот человек, надо сказать, просто расцвел от такого всеобщего внимания. Он с удовольствием позволил посадить себя в горшок и привязать веревочкой к длинной палке, потому что профессора объяснили ему, что иначе он может полечь.

Его, как и всякую бело-розовую розу, поливали три раза в день какой-то мутной водой, так что у него каждый раз промокали ноги, и он в конце концов простудился и полег. Веревочка, которой он был крепко привязан к палке, действительно очень поддерживала его. Профессора осматривали его каждые полчаса и наконец переименовали этого человека из бело-розовой розы в красную розу, так как он покраснел от насморка.

Когда же насморк кончился, профессора снова осмотрели этого человека и никак не могли понять, какого цвета теперь эта роза. Наконец они объявили, что вывели новый сорт — бледно-розовую розу без запаха.

Потому что за время лечения он утратил свой аромат.

Первое время этот человек боялся, что его погонят в шею, но его опасения не сбылись: к нему водили иностранцев, демонстрировали экскурсантам и даже устраивали выездные лекции, куда он ездил, крепко держась за горшок. Со временем он привык ничего не опасаться, от постоянных поливов холодной водой закалился, а для запаха прыскался духами «Красная Москва». В интервью, которые он со време-



нем стал давать, он с удовольствием вспоминал то время, когда в его аромат никто не верил, когда его гнали даже из того дома, где он жил. Единственное, чего он не любит,— это навозную подкормку. Но цветы — подневольные существа, и приходится терпеть ему жизнь цветка.

Поскольку настоящие-то цветы растут из сора и питаются кое-как.

Жил-был будильник

Жил-был будильник. У него были усы, шляпа и сердце. И он решил жениться.

Он решил жениться, когда стукнет без пятнадцати девять. Ровно в восемь он сделал предложение графину с водой.

Графин с водой согласился немедленно, но в пятнадцать минут девятого его унесли и выдали замуж за водопроподный кран. Дело было сделано, и графин вернулся на стол к будильнику уже замужней дамой.

Было двадцать минут девятого.

Времени оставалось мало.

Будильник тогда сделал предложение очкам.

Очки были старые и неоднократно выходили замуж за уши. Очки подумали пять минут и согласились, но в этот момент их опять выдали замуж за уши. Было уже восемь часов двадцать пять минут.

Тогда будильник быстро сделал предложение книге.

Книга тут же согласилась, и будильник стал ждать, когда же стукнет без пятнадцати девять. Сердце его очень громко колотилось.

Тут его взяли и накрыли подушкой, потому что детей уложили спать.

И без пятнадцати девять будильник неожиданно для себя женился на подушке.

Дядя Ну и тетя Ох

Жили-были дядя Ну и тетя Ох. Тетя Ох всегда говорила «Ох», а дядя Ну говорил только «Ну». Бывало, придет к ним почтальон и скажет: вам телеграмма! А тетя Ох вскрикнет: «Ох», а дядя Ну скажет только: «Ну!»

Повадились ходить к ним соседи. Сначала одна соседка пришла к ним за солью, говорит: «Дайте-ка мне соли». Тетя Ох сказала: «Ох» — и отдала всю соль. Соседка сказала: «Это все мне!» А дядя Ну ответил: «Ну». Тогда соседка взяла у них сахар, и какао, и пачку муки. Другой сосед пришел и взял рояль, еще один пришел и сказал: «Дайте-ка мне вашу картину», а третья соседка забрала стол и стулья на дачу. А тетя Ох каждый раз говорила только: «Ох», а дядя Ну отвечал: «Ну».

Дошло дело до того, что в их квартире поселились люди: в одной комнате мужчина с овчаркой, а в другой две глухие старушки и трое неразлучных друзей. На кухне же шла настоящая война: там постоянно жили разные гости глухих старушек и троих неразлучных друзей. Кончилось тем, что дядя Ну и тетя Ох стали жить в ванной, отгородившись непромокаемой занавеской, и когда к ним хотели влезть, то тетя Ох говорила: «Ох» — и включала горячую воду, а дядя Ну говорил: «Ну» — и поливал из душа изнутри занавеску. Шел пар, все погружалось в туман, и их оставляли в покое.

Но тут из далекого города приехала племянница Ох и Ну, которая сказала: «Еще чего» — и выгнала сначала овчарку, потом ее хозяина, троих неразлучных друзей, двух глухих старушек и еще из кухни пятнадцать человек, шестерых кошек и всех голубей, которые жили под потолком.

Все они очень быстро ушли, племянница прибралась, все помыла, вернула рояль, картину, посуду, стол и стулья с чужой дачи, зеркало с подзеркальником и чехословацкую люстру и решила выйти замуж. Она посадила за стол дядю Ну и тетю Ох, напекла пирожков и пригласила жениха. Жених вошел, сел и сказал: «Разрешите познакомиться», а тетя Ох сказала в ответ: «Ох». «Я вам что, не нравлюсь?» — спросил жених. «Ну», — ответил дядя Ну. Жених хлопнул дверью и ушел. Племянница тогда заплакала и уехала к себе домой. Тут же вернулись все постояльцы, и их даже стало больше за счет трех новых кошек и одной посторонней красавицы, которая поселилась в прихожей перед зеркалом. Дядя Ну и тетя Ох не успели занять свою ванну и переселились на балкон, где сидели, накрывшись непромокаемой занавеской в обществе голубей и воробьев.

Однажды пришел прежний жених племянницы, постучал в балконную дверь и вошел к ним на балкон и сел под непромокаемую занавеску. «Наверное, я был не прав», — сказал жених, а дядя Ну сказал: «Ну». «Вы не знаете, где ваша племянница?» — спросил жених, и тетя Ох сказала: «Ох».

Тут же вернулась племянница, выгнала всех, а красавице перед зеркалом сказала: «Еще чего!», и сыграли веселую свадьбу. Несколько раз приходили соседи — кто за роялем, потому что дочь учится петь, кто за стульями, потому что сын работает на вокзале и очень устает, кто за посудой, потому что старая посуда вчера вся упала. Но племянница говорит: «Еще чего!», дядя Ну и тетя Ох молчат и держатся за свою непромокаемую занавеску.

20

КОМНАТА

ЗАСЕДАНИЕ
ТРИДЦАТЬ СЕДЬМОЕМораль и правоСнова
Ржавчина

Совсем немного осталось до нового,
осеннего призыва.

В связи с этим «20-я комната» не может
не затронуть вновь армейской темы.
Сотни ваших писем и телефонных звонков просят
нас об этом. Да, мы — за армию. Но за армию
здоровую, нормальную, обновленную.
— «Харагун», «Комитет солдатских матерей»,
«Мать солдата»... — что это за организации,
чем они могут вам помочь?
— Почему в армию призывают больных?
— Побег: «я не хотел убивать,
я не хотел быть убитым...»
— Альтернативная служба — это не стройбат!
— Юридическая консультация;
— Обращение «Общества родителей, чьи сыновья
погибли в армии» к Верховному Совету СССР;
— Точка зрения работника
Главной военной прокуратуры;
— Владимир Лопатин:
«Кому должна подчиняться армия»
и другие материалы читайте на тридцать седьмом
заседании «20-й комнаты».

В шестом номере журнала за 89-й год был опубликован материал под названием «Ржавчина» о критической ситуации, сложившейся в армии. В февральском номере этого года я подготовила подборку писем-откликов. В свою очередь, они вызвали новую волну почты. Комментируя опубликованные письма, я предложила родителям, потерявшим в армии в мирное время своих детей, объединить свои усилия, создать общество...

«...Полностью разделяю мнение о необходимости создания «Общества родителей, чьи сыновья погибли в армии» или, может быть, «Общества защиты от произвола военных властей» — дело не в названии. Думаю, сам факт существования такого общества оказал бы определенное моральное воздействие на военные власти и военную прокуратуру, показав первым, что общественность вынуждена искать способы защиты жизни своих сыновей от произвола и насилия, творящегося в армии, а вторым — что она не доверяет военной прокуратуре, защищающей этот произвол. Когда однажды мы пришли на одно из кладбищ Таллина, чтобы отыскать и поклониться могилам «афганцев», мы, к своему ужасу, обнаружили, что могил ребят, погибших за тот же период на службе на территории Союза, не меньше!

Не обходится ли нам служба наших сыновей в армии в один Афганистан ежегодно???

Г. К. Сидоренко, отец «афганца»
(поселок Румму)

«...Наши дети погибли в армии на территории СССР при разных обстоятельствах, в разное время, в различных воинских частях и гарнизонах. Все мы долгое время, конечно, в одиночку добиваемся справедливого расследования, но добиться ничего не можем. Нам присылают отписки, что либо наши дети самоубийцы, либо сами виноваты в своей гибели. Считаю, что причиной всех этих бездушных отписок военной прокуратуры служит ее полная зависимость от командования Вооруженных Сил СССР.

Нужно требовать от военных юристов данные о воинских преступлениях. Сейчас эти цифры — тайна за семью печатями...

Мы много думали о том, что нам всем необходимо как-то объединиться, чтобы добиться правды, и Вы как будто прочли наши мысли. Мы поддерживаем предложение о создании такого общества!

Мы хотим обратиться к солдатам, служившим в Запорожской области в 1988 году, когда погибли Дужак и Бочаров. Там было много больных после теплового удара, родители погибших просят вас откликнуться и написать о том, как многих сделали инвалидами... Откликайтесь в редакцию. С уважением, группа родителей».

В. И. Завьялов и другие,
всего 12 подписей (г. Киев)

«...Полностью согласна с автором статьи — объединить родителей, сыновья которых погибли в армии. Только тогда мы сможем показать «верхам», что это не «единичные» случаи!!!»

Сестра брата, погибшего в армии,
Галина Верзилина (Липецкая область)

«Уважаемый товарищ..! Ваш сын подлежит призыву на действительную военную службу. Наша советская молодежь ждет этого дня с большим нетерпением, т. к. горячо желает выполнить свою почетную обязанность перед Родиной... Не имея возможности поговорить с Вами лично, прошу Вас написать нам письмо и осветить следующие вопросы: (...) поведение сына дома, в общественных местах и на работе;

(...) имеются ли родственники за границей и имеется ли письменная связь с ними; укажите девичью фамилию матери призванного... Райвоенком г. Житомира».

Этот бланк отец призванного Н. И. Крымов прислал в редакцию и приведенные выдержки прокомментировал так: «Жандармские вопросы, поставленные в этой анкете, убивают...» Здесь нечего добавить. Армия для этого парня и его родителей началась с подобных вопросов. С чего она начинается для других? Где и как разбивается миф — образ армии «непобедимой и легендарной», «овеянной славой», «служить в которой честь и почетный долг»?

Недавно в Москве я познакомилась с Батыром Казыбаевым, возвратившимся со службы в армии. Я спросила его:

— Были ли у тебя сомнения: идти — не идти в армию?

— Нет. Вокруг звучали слова насчет защиты социалистического Отечества, о том, что армия исправляет человека, парнишки становятся мужчинами... Вообще армия чуть ли не «путевку в жизнь» дает. Естественно, у меня были такие же воззрения, я думал, что армия мне поможет. Хотя, конечно, я боялся, я был наслышан об офицерах, как о солдафонах... Нам просто запудрили мозги. И пришлось ломать это неправильное понимание значения армии, которое нам вдалбливают с детства. Вот своему ребенку я, наверное, смог бы дать понимание настоящей армии.

— Что бы ты ему сказал?

— Что это машина, которая калечит людей. И не только физически. Она полностью ломает внутренний мир, как мясорубка, втаскивает человека, и он выходит опустошенный. Определенная часть сознает, что вернулись пустыми и надо как-то восстанавливаться. Часть этого не осознает, и вот это, по-моему, страшно...

— На твоих глазах били кого-нибудь?

— Да! Это был первый день! Первый! Мы только что приехали с поезда. Карантин. Сначала смотр каких-то документов, потом баня, выдача обмундирования и тому подобное. Когда мы стояли в очереди в баню, то какой-то солдат из той части, в которой мы были, подошел к концу очереди и стал чего-то там просить. Это увидели офицеры. Один майор, а другой прапорщик. На наших глазах они завели его в баню и буквально через две минуты выкатились оттуда кубарем. Все трое. На солдате была разорвана полностью вся одежда. Он был узбек, и они кричали (солдат среднеазиатского региона называют «урюк»), причем это совершенно открыто: «Ты, урюк...» и потом мат... Он крикнул тоже что-то в ответ. Потому что все обмундирование на нем висело ключьями, он оставался в трусах только. И они накинулись на него и стали бить. Сапогами в лицо. Били они его очень зверски. Наконец он как-то вырвался и упледел. А мы, все призванные, триста человек, которые там стояли, смотрели «большими глазами». Вот это и было первое и самое сильное разочарование, крах иллюзий...

Но миф живет, а мифом живет система. И пока это так, пока армия будет претендовать на особую роль, особое положение в наших умах, в сознании общества, апеллируя к «секретности» или «славному прошлому», нет никакой гарантии, что ваш сын вернется домой живым и здоровым. В ответ на это обычно говорят о росте преступности в обществе «на гражданке», о несчастных случаях... Мы можем соглашаться с чем-то или нет, но пока — армия начинается с мифа, а заканчивается для кого-то трагедией...

«...30 ноября 1988 года моего сына Мазура Олега Михайловича, 1969 года рождения, из воинской части Белгорода в звании младшего сержанта распределили в в/ч г. Серпухова. Отправили его из части с большими ушами, двусторонним отитом. Прибыв в часть, он, переночевав ночь в казарме, лег в лазарет, где уже лежали семь человек, а через шесть дней моего сына там зверски убили. Я так утверждаю потому, что лицо, голова были все в ссадинах, а лицо еще исколото вилкой, что отчетливо было видно на трупе и на 8-й день после смерти.

Однако мне дали свидетельство, что сын скончался от острой сердечной недостаточности (как же его тогда призвали??). Затем, когда я стала хлопотать и добиваться истинной причины смерти, мне ответили, что сын

Погибшие в армии в мирное время на территории СССР (слева направо): Валера Рыжак (1966—1986), Сережа Федосеев (1971—1990), Дима Завьялов (1967—1986), Юра Пашков (1968—1986), Сережа Муслинов (1970—1989), Роберт Дужак (1969—1988), Олег Мазур (1969—1988), Дима Лебедев (1971—1989), Джой Курпен (1969—1989), Володя Леднев (1970—1989), Лева Лубан (1969—1989), Гена Томенко (1969—1988), Толя Чмелёв (1970—1989), Саша Алурдос (1970—1988), Ваня Пронин (1968—1987), Саша Петришин (1967—1986)...



отравился фтористой стоматологической пастой, т. е. покончил жизнь самоубийством (в каком из двух случаев ложь?)... находясь якобы в состоянии депрессии, вызванной отсутствием писем от девушки!!!

Следствие и его материалы не выдерживают никакой критики, даже для неюриста. Четырежды я ездила в Москву, обила все пороги, долгое время пролежала в больнице, и только через 11 месяцев при помощи своего народного депутата СССР я добила повторной экспертизы с экспертизой... И вот 5-й месяц нет результатов экспертизы.

Я накопила два тома отписок «золотопогонников», и ни в одном ответе нет человеческого лица, как будто я назойливая муха и потеряла не сына, а резиновый сапог!..

Поэтому я, вступая в Общество, прошу Вас сделать все необходимое для его создания, а я готова выполнять и делать все, что мне доверят другие родители. Мы, оставшиеся жить, должны все сделать, чтобы ни одна мать не извела тех нечеловеческих болей, страданий и мук, которые достались «благодаря» армии нам».

Любовь Михайловна Лымарь
(г. Челябинск)

Необходимая информация

АССОЦИАЦИЯ СОЛДАТСКИХ МАТЕРЕЙ

Образовалась в Челябинске в феврале 1990 года. Объединяет около 250 матерей и родственников солдат, погибших в армии, служащих в ней и призывников. Ассоциация добилась разрешения горисполкома официального посещения членами Ассоциации воинских частей, госпиталей, участия в работе призывных пунктов. Поддерживает связи с подобными ей организациями в других городах СССР. Адрес: 454080, город Челябинск, Свердловский пр., 60. Для Ассоциации солдатских матерей. Телефон: 33-83-63.

«24 ноября 1989 года коллектив нашего цеха с болью узнал о трагической смерти бывшего нашего работника Яшина Александра, 1970 г. рождения, призванного на службу матросом в/ч Каспийской флотилии. Заключение прокуратуры г. Баку — самоповешение. Трудно поверить в истинность подобного заключения. Александр имел большое желание служить в армии (проявил личную инициативу о скорейшем призыве), из писем можно судить о его хорошем настроении и планах на будущее. И вот... самоубийство.

Но ссадины, порезы на руках, кровоподтеки на лице и ушибы на голове, которые обнаружили родители и близкие при осмотре тела, говорят о странных обстоятельствах гибели Яшина А. М.

Военный прокурор г. Саратова повторную экспертизу организовать не смог...

Коллектив цеха требует объективного, тщательного расследования причин гибели Яшина А. М., что является моральным гарантом безопасности службы для многих молодых людей, которые сегодня провожают своего товарища в последний путь, а завтра займут его место в рядах СА.

На все запросы родителей военным прокурором Закавказского военного округа не выдано никаких документов, кроме неофициальных писем. Гибель Яшина Александра в мирное время должна быть расследована, и результаты сообщены родителям и коллективу цеха».

Коллектив цеха № 14, всего 18 подписей.
Завод технического стекла (г. Саратов)

«...Мой сын Грязев Виталий, 1964 г. рождения, служил в Мурманской области в войсках ПВО. Отслужив 2 года, должен был вернуться домой, а привезли его, бедного, в цинковом гробу.

В свидетельстве о смерти написано: «...отравление хлорофосом». Прапорщик, который сопровождал тело, сообщил мне, что никакого хлорофоса ни в части, ни в магазинах не было. Другьям Виталика, которые были на похоронах, прапорщик сказал, что его задушили в парнике 8 человек...

Представьте весь мой ужас, когда 12 декабря 1989 года призвали моего младшего сына, Игоря. По состоянию здоровья он признан годным к нестроевой службе и сейчас в стройбате. Его тоже пытались душить полотенцем... За два месяца я уже дважды ездила в часть, ходила в наш РВК с просьбой о переводе моего сына в другую часть, ближе к Ленинграду. Пока все безрезультатно.

Если бы два месяца назад я прочла эти публикации, я точно не пустила бы Игоря, пока не узнала бы правды

о Виталике, но «поезд ушел», и я каждый день живу как на пороховой бочке...

Алла Павловна Михайлова
(г. Ленинград)

Необходимая информация

«ХАРАГУН»

Группа появилась в Москве и объединяла в 1988—1989 годах матерей и других родственников солдат, проходивших службу в строительных войсках рядом с поселком Харагун Читинской области. (Десять москвичей подвергались самым жестоким приемам «дедовщины» и неприкрытому грабежу со стороны офицеров.) В результате часть была расформирована. Группа также добила комиссования трех человек. Большая часть офицеров была привлечена к ответственности, включая уголовную. В связи с завершением непосредственных своих дел, группа активную деятельность прекратила, но готова оказывать помощь, консультацию и т. д. Координаторы: Елена Владимировна Лунина, Валентина Геннадиевна Ивлева. Телефоны: 482-35-38 и 274-28-44.

«...Мой сын Анатолий был призван в июле 1988 года и попал служить в в/ч г. Читы. 20 апреля 1989 года вдруг получаем заверенную телеграмму о том, что наш сын, Чмелев Анатолий — умер. Для нас это было как гром среди ясного неба. Ведь Анатолий был крепким парнем, и ни одна комиссия не находила отклонений от нормы здоровья. С большим трудом достали билет до Читы, и 21 апреля я, муж и старший сын прилетели в Читу.

Примерно в полночь к нам в номер постучали. Зашел военный служащий и вручил на имя мужа записку. Просил никому не говорить о том, что он приходил. И ушел. В записке было написано: «Ваш сын Анатолий не умер, а был избит санитаром госпиталя, после чего попал в реанимацию, где и умер...»

В понедельник к нам в номер пришли командир части, замполит и лечащий врач. На наши вопросы, могла ли смерть наступить от избиения, они категорически ответили, что это исключено... 28 апреля нам сообщили, что на теле сына действительно имеются кровоподтеки, а также рассечены губы и есть кровоподтек на лице.

...После похорон сына мы подали жалобу в Главную военную прокуратуру, после этого из Читы нам прислали телеграмму о возбуждении уголовного дела на санитаря госпиталя Эоняну П. Л.

По нашему заявлению была проведена комиссия экспертиза, которая установила, что смерть наступила от тупого удара о стену, вследствие чего произошел ушиб мозга, обширное кровоизлияние, что и привело к смерти. Потом было несколько поездок в Читу на заседания трибунала, а это билеты, гостиница, нервотрепка — и в итоге решение трибунала: за неумышленное убийство два года лишения свободы с местом отбывания в районе поселений, а т. к. Читинская область является районом поселения, то наказание получилось чисто символическим.

Не дождавшись решения трибунала, которое нам обещали выслать, мы подали жалобу на решение в отношении подсудимого. Заседание другого трибунала отменило решение первого трибунала Читы и назначило новое заседание, которое состоялось опять в Чите, где и присудили Эоняну 6 лет тюремного заключения...

Уважаемая Вероника! Я пишу вам для того, чтобы такие случаи, гибель наших детей в армии, были исключены вообще. Ну, а если такое произойдет, то отвечать должны не только прямые виновники убийства, но и их командиры-«воспитатели».

Хочу сообщить вам о том, что до настоящего времени мы не имеем никаких документов о гибели сына и никаких постановлений решения трибунала...

Александра Витальевна Чмелева
(г. Зеленоград)

«...Может, есть исключения где-то в показательных частях, но если мы не ударим сейчас в набат, погибнут еще тысячи сыновей. Сын у нас был один, погиб, прослужив всего 50 дней, нам по 44 года, надежд никаких, одно горе и отчаяние, которое ничем не заглушить, нашего Диму не воскресить... Помогите тем, кто еще не убит, не повешен, не изломан армией...»

Вера Анатольевна Лебедева
(г. Ленинград)

«...14 ноября 1988 года мой сын Сергей Слепцов ушел из родного дома в армию, а ровно через год мы его хоронили.

Его должны были наградить за спасение людей во время наводнения в Приморье отпуском домой, а привезли в цинковом гробу... И нас пытаются убедить в его самоубийстве!!!

Неужели меня заставят остальных сыновей отдать в такую армию, на смерть в мирное время???

Ю. Д. Слепцов (Якутская АССР, пос. Усть-Мая)

Пятнадцать матерей из одиннадцати городов страны, унававшие друг о друге через «Юность», оставив все свои дела и заботы, приехали в один из первых дней весны в Москву и собрались у нас в конференц-зале редакции ради главного: объединить свои силы в защиту живых, в память трагически погибших своих детей. Пригласили на эту встречу и программу «Взгляд»...

Собравшись вместе, важно было оттолкнуться от массы конкретных случаев и подумать, как и чем реально родители и общественность могут изменить ситуацию. Фемида — богиня правосудия — изображается с повязкой на глазах (символ беспристрастия) и весами в руках, так вот «наша» Фемида, как сказала Эльвира Леонидовна Лубан из Москвы, не только слепа, но и глуха, и бессовестна, и поэтому наивно возлагать на нее какие-то надежды. Так начался наш разговор... С боли. С вопросов.

— Меня зовут Инна Александровна Томенко, мой сын Гена погиб в СА в июле 88-го года. Нас приехало четверо матерей из Одессы, можно сказать, с одной улицы. Четверо мальчиков погибло, и у троих **одинаковый** диагноз! Поэтому я считаю, что мы не только должны сейчас объединиться в Общество, но и начать действовать сообща. И еще: я считала, что никогда в жизни не переживу смерть своего сына, а вот теперь я вижу, сколько нас таких ходит по земле, переживших своих детей.

Почему же ни государство, никто не несет перед нами ответственности?..

— А в чем должна заключаться эта ответственность?

Клавдия Петровна Давыдова из Миусинска (в СА погиб ее единственный сын, у которого осталась дочка. Государство предлагает воспитывать ее на 98 копеек в сутки...):

— Я считаю, необходимо специальное страхование солдат и узаконивание того положения, что армия несет ответственность за жизнь и здоровье солдата в течение всей его службы, и она обязана выплачивать родителям или жене погибшего материальную компенсацию, пенсию, особенно если погибший был единственным кормильцем!

— Согласна с вами. — Это Кира Борисовна Зайцева говорит, ее сын погиб в СА в апреле 1988 года, она одесситка. — Но нужны социальные гарантии! Может быть, в форме общественного контроля над армией? Ведь сейчас это абсолютно закрытая, обособленная система, где нет ни морали, ни права...

— Конечно, о какой нравственности и морали можно говорить! Вся система эта абсолютно аморальна и безнравственна. — Анна Валентиновна Алурдос, мать погибшего курсанта. (О ее случае шел разговор в самой первой публикации в июне 89-го года.)

Маргарита Александровна Пашкова, москвичка, сын погиб в декабре 86-го года:

— Я думаю, мы сейчас должны подумать и от имени матерей, потерявших своих детей в армии, обратиться в Верховный Совет с обращением, изложить все наши требования. Мы не можем допустить, чтобы завтра в тех же воинских частях и гарнизонах погибли другие дети!..

ВЗГЛЯД РАБОТНИКА ВОЕННОЙ ПРОКУРАТУРЫ:

«Погрешим против истины, если скажем, что в армии и на флоте не ведется борьба по искоренению «дедовщины». Она ведется, но... Но успехи борьбы если сегодня и есть, то лишь локального характера. Коренного же улучшения, что признает и руководство Министерства обороны, так и не наступило. В чем же причина?

Обратимся к архиву Главной военной прокуратуры. 1950 год. В информационном письме Главного военного прокурора министру обороны СССР «О состоянии законности и преступности в СА и ВМФ» ни слова не сказано о «казарменном хулиганстве». Его не было. Прошло 10 лет. 1960 год. В письме на имя министра обороны Главный военный прокурор уже счел необходимым привести конкретный пример, как один военнослужащий, запугав несколько молодых солдат, превратил их в своих «денщиков». Так появились «не-

уставные». Тридцать лет назад. В последующие годы эта тема из информационных писем, из армейской жизни уже не уходила. Более того, количество «неуставных» практически не сокращалось...

В правоохранительной деятельности должен доминировать не столько принцип «ни один виновный не должен уйти от ответственности», сколько — «каждый человек в обществе должен быть защищен от преступных посягательств». Государство обязано защитить человека, не превращая защиту в его унижение. Ощувив человеческое к себе отношение, человек станет наконец уважать себя, свое слово, свою честь. Он перестанет десятки раз менять свои показания на предварительном следствии и в суде, прекратит мямлить, что он «ничего не слышал и не видел», он не станет молча созерцать в казарме, как бьют его сослуживца. Все вышеизложенное также относится к ответу на вопрос о том, почему причины и условия «неуставных» не смогли устранить одновременно. В существовавшей системе, основанной на диктате, силе, несправедливости, не искоренить нарушения, так как сама система — главная причина «неуставных». Все иные причины и условия — производные от нее.

Ну а как же сегодня бороться с «неуставными» в армии?

Командир части знает, что если он возбудит одно, другое, третьи уголовные дела — завтра придет комиссия, и его командирство на этом закончится. Офицер, прапорщик чаще думает не о борьбе со злом, а о неустроенной семье и так далее.

В августе прошлого года Верховный Совет СССР принял постановление о решительных мерах по борьбе с преступностью. Срок его действия — два года. В связи с этим, видимо, назрела необходимость хотя бы на этот период полностью отказаться от оценки деятельности командира по количеству привлеченных к уголовной ответственности. Ведь командиры наказывают те, кто «сверху». Подчас для того, чтобы их самих не наказали. А для командира, который десять, пятнадцать, а то и более лет шел к этой должности, наказание — ощутимый удар: понижение в должности и так далее. И обо всем этом командир, разумеется, помнит, когда перед ним встает вопрос о том, привлечь хулигана к ответственности или нет. Подумает — и скроет преступление. Своему незаконному решению он найдет массу оправданий. Однако, как это всегда бывает, сокрытие преступления порождает безнаказанность. А она ведет за собою новое преступление. Вновь сокрытие и опять... Это как страшный «вечный двигатель». И если так будет продолжаться, если мы не остановим его, мы не только за два года, мы за двести лет не покончим с преступностью в армии.

Кто же остановит этот двигатель сегодня? Вышестоящее командование и кадровые органы? Сомневаюсь. Основанием служит результат их деятельности за прошедшие десятилетия. Полагаю, что в данном вопросе необходимо вмешательство офицерского собрания. Каждый военнослужащий должен сознавать, что от него многое зависит. Пусть не сложится мнение, что речь идет о «колхозной» демократии. Нет, но необходим механизм защиты того командира, который решил навести уставный порядок, повысить боеготовность.

Исчезновение «неуставных» в армии зависит от каждого из нас, от нашего профессионализма, смелости мышления и действия, от нашего гражданского мужества и совести. «Дорогу осилит идущий».

Сергей УШАКОВ, капитан юстиции

Необходимая информация

ОРГАНИЗАЦИЯ ПОМОЩИ ВОЕННОСЛУЖАЩИМ И ИХ СЕМЬЯМ

Существует в Ленинграде при газете «Смена». Адрес: г. Ленинград, ул. Фонтанка, д. 59, ком. 81. Телефон: 210-84-01.

«МАТЬ СОЛДАТА»

Общественная организация, которая существует при Ленинградском Доме офицеров. Адрес: г. Ленинград, Литейный пр., д. 20, ком. 21.

«Уважаемая редакция! Мой сын, Николаев Владимир, 1969 г. рождения, пока живой, но что с ним будет дальше, не знаю: **второй побег из армии...**

В 1988 г. он был призван. С 11—12 лет страдал нервным тиком, а при прохождении комиссии скрыл это — хотел служить... В итоге попал в стройбат, в Московскую область, г. Монино. На четвертый день по приезде в часть заболел воспалением легких и попал в госпиталь, где и пролежал 20 дней. Получил справку от врачебной комиссии об отстранении на десять дней от физической работы и строевой. Когда он вручил эту справку командиру, тот

приказал ему встать в строй и объявил при всех, что «хватит придуриваться». Вместе со всеми в ногу он ходить не смог: тряслись ноги, — и вот из-за него весь строй повторял маршировку, и тогда-то и посыпались на него побои со всех сторон. При входе в казарму некоторые солдаты устроили ему «коридор» и, когда он пошел, стали бить ремнями по голове. Однажды вечером ему показали петлю на дереве: «Три месяца назад тут у нас один повесился, а это для тебя...» В этот же день он ушел из части.

...Когда Володя вошел в дом, на нем не было лица, он стоял, как обгоревшее полено. Шея распухла, слилась с плечами, на всем теле кровоподтеки, взгляд сумасшедшего, и первое, что он сказал: «Мама. Спасай».

Семеро суток он не ходил в туалет, четверо — ничего не ел. Я поехала с ним в горвоенкомат, потом привезла его в Донецк к главному военному прокурору. Сын был в таком состоянии, что объяснительную под его диктовку написал дежурный прапорщик: «Я покинул расположение части, чтобы не совершить преступления или не покончить жизнь самоубийством». Меня успокоили в облпрокуратуре, что его переведут и по приезде покажут психиатру и направят в госпиталь. Вместо госпиталя его посадили на «губу»...

Полтора года он служил в другой части. В октябре их часть из Московской области перевели в Свердловскую. А через месяц и три дня мне командир части Иванов прислал телеграмму: «Ваш сын дезертировал из части, если Вам известно его местонахождение, прошу сообщить».

Конечно, такая телеграмма не могла меня не потрясти, и с декабря 89-го г. я лежу в больнице. (У меня сахарный диабет в тяжелой форме, осталось 2 недели до пенсии, я старая и больная, за мной нужен уход, а живу я одна, и вся надежда у меня была на сына, Володю...) 8 февраля мне позвонили из дому и сказали, что приехал Володя. Оказалось, что в части вспыхнула драка на межнациональной почве. Бились ломами и кирочками, моего сына побили ломом по голове, а офицеры не смогли остановить драки. Вызывали милицию. Между тем прошел слух, что завтра драка повторится. Накануне второй драки он и ушел из части. Работал грузчиком на складе в г. Уйве, чтобы заработать денег на дорогу. И вот приехал.

Мне пришлось выписаться, и снова я с Володей в военкомате. Снова в прокуратуре. Снова «губа». Через несколько дней «губы» его с высокой температурой переводят в санчасть, а оттуда через неделю в... **Донецкую тюрьму**. Сейчас он находится в подследственной тюрьме на грани самоубийства. И теперь я понимаю, что помочь своему сыну я уже не в состоянии...

Итта Михайловна Николаева
(г. Дебальцево)

Мы обсудили это письмо на нашей встрече и пришли к единственному выводу: мать Володи должна была обратиться к юристу, положить сына в больницу, засвидетельствовать его физическое и душевное состояние ДО, а не ПОСЛЕ...

«...Мой сын служит в рядах Советской Армии три месяца. У меня изболелась вся душа и сердце за его судьбу. Дело в том, что у него поликистоз челюсти с обеих сторон. 4 раза был оперирован: в 1979, 1982, 1985 и 1988 годах. В 1989-м его взяли в армию. Ему нельзя есть твердую пищу, нельзя простывать...»

В армии в госпитале при осмотре врач изумился, как могли его с таким заболеванием взять в армию. И тем не менее он служит, комиссовать его и не собираются.

Мне непонятно, для чего в ряды СА берут больных? Кому это выгодно? И почему никому нет дела до наших сыновей? Я ухватила за соломинку: может быть, с его заболеванием не служат? Где мне узнать об этом? В военкомате и не разговаривают со мной по этому вопросу, в больнице — тоже. Помогите!..»

Л. Ф. Яблоновская
(г. Ангарск, Иркутская обл.)

«...Моего сына забрали, несмотря на то, что у него гипертония II степени. Теперь он служит в Казахской ССР, где очень жарко, работает грузчиком. Я, мать, очень беспокоюсь за своего сына и его здоровье...»

Игнатьева
(г. Дубна, Московская обл.)

На нашу встречу приехали и представительницы «Лиги женщин Латвии» — эта общественная организация существует в Риге уже год. Вот что рассказала Андра Балыня собравшимся матерям:

— Не знаю, известно ли вам, что существуют приказы №№ 260 и 317, по которым смотрят медицинские параметры — подлежит парень призыву или нет. Они держатся в глубокой тайне от нас, и ни одна мать, у которой сын болеет, до самого дня призыва не знает, могут его призвать или нет (260-й приказ от 1987 года, а 317-й — от 1 сентября 1989 года).

Мы сейчас добились комиссования мальчика, которого забрали, несмотря на то, что в 10 лет у него был перелом позвоночника, — слава Богу, у нас эти приказы были, и мы «разрыли» пункт, по которому его обязаны комиссовать.

Мы собрали десять фактов, когда эти приказы не соблюдались, и передали в прокуратуру, чтобы заставить врачей, которые участвуют в призывных комиссиях, понять, что они в ответе за свою подпись «годен к службе!»

— Большинство наших бед от правовой безграмотности и отсутствия информации...

— Именно! — поддерживает меня Коростелева Валентина Сергеевна из Витебской области (ее сына забрали в СА с **восемью** (!) хроническими заболеваниями, сын погиб). — Мы должны требовать сделать список диагнозов, с которыми не берут в СА, доступным каждой матери, может быть, опубликовать его...

Александра Прокофьевна Петришина, г. Луцк, сын погиб в стройбате:

— Наибольшее число убийств, самоубийств, тяжелой «дедовщины» связано со стройбатами. Значит, это еще одно направление, где мы должны уметь бороться!

— Такие данные попали нам в руки. — Андра — есть такое строительное управление Прибалтийских вооруженных сил. Оно в 1989 году комиссовало 242 человека, из них по психическим расстройствам — 173 человека. Так кого же вы призываете, какова у вас служба, что у стольких парней наступают такие ухудшения, что даже вы при всей жестокости вашей системы были вынуждены их комиссовать???

Если не будет общественного контроля, никаких прав у матерей, так от нас будут все скрывать и за этой ширмой творить все что угодно. Ведь если ваши ребята будут строить что-то, скажем, в Подмоскovie, все это будут знать. А это «секрет»! Поэтому в Подмоскovie будет строить таджик, а ваш поедет в Среднюю Азию! И таджик не будет знать, что строят рядом с его домом. И так мы живем в величайшей тайне. И пока мы не добьемся, чтобы абсурдная система перестала существовать, мы не способны будем никого защитить...

Необходимая информация

КОМИТЕТ СОЛДАТСКИХ МАТЕРЕЙ

Появился в апреле 1989 года в Москве. Именно Комитет солдатских матерей добился год назад возвращения из армии студентов. Новая акция — «Нет стройбатам!». Следующий шаг — добиться скорейшего принятия Закона об альтернативной службе. Председатель КСМ — Мария Ивановна Кирбасова. Адрес КСМ: 105835, г. Москва, Красноказарменная ул., 17, МЭИ, комитет ВЛКСМ, для Комитета солдатских матерей. Телефон: 182-46-85 (вечером); 331-38-41 (днем).

Служба в ведомственных строительных частях противоречит уставу и присяге, считают матери. Качество работы таких «рабочих» не выдерживает никакой критики, жизнь служащих в подобных частях солдат материально не обеспечена и часто не соответствует никаким медицинским нормам.

Александра Никитина, сестра погибшего, москвичка:

— Надо настаивать на ликвидации ведомственных строительных частей и на конкретизации положения о внестроевой службе!..

Гунта Бриде, рижанка:

— Еще один путь заставить армию как-то с нами считаться, пойти по пути перестройки — это добиться создания альтернативной службы. Ведь это вытекает из наших человеческих прав — вести себя так, как требует моя совесть. Это может быть связано с религией, с любыми убеждениями. В Латвии сейчас принят Закон об альтернативной службе. Об этом и здесь в Москве говорят, но, я считаю, будет очередным преступлением против народа говорить, что стройбаты — это и есть «альтернативная» служба!

Альтернативная служба, во-первых, никоим образом не

связана с Вооруженными Силами вообще. Во-вторых, это ни в коем случае не должна вновь быть «усылка» наших парней за тридевять земель от дома. То есть мы должны понимать, что все, что мы требуем в гуманных целях, ухитряется использовать опять-таки против нас!..

Наша встреча продолжалась более трех часов. Ее итогом стало обращение, принятое родителями, чьи сыновья погибли в армии. Всего же свои подписи под ним поставила шестьдесят одна мать.

ОБРАЩЕНИЕ К ВЕРХОВНОМУ СОВЕТУ СССР

«Мы, Общество родителей, чьи сыновья погибли в армии в мирное время на территории СССР, обращаемся к Верховному Совету Союза Советских Социалистических Республик с требованием обратить внимание на трагическую сторону вопроса.

Матери, отдающие своих 18-летних сыновей в армию, хотят быть уверенными в том, что государство вернет им их детей живыми и здоровыми.

От имени 52% населения страны, которое составляют женщины, Общество требует рассмотреть в Верховном Совете следующие предложения:

I. Создать специальную Комиссию при Верховном Совете СССР по расследованию всех случаев гибели солдат в мирное время на территории СССР в Советской Армии, **независимую** от военных ведомств, с участием матерей и отцов в ее работе.

а). Создать условия для образования при вышеуказанной Комиссии республиканских, областных, городских Обществ родителей, чьи сыновья были призваны, служат в настоящий момент или будут призваны в ряды СА.

II. Требуем оформления специального документа о том, что наши сыновья погибли, находясь в расположении военных частей, при исполнении ими воинской обязанности. (...)

...в). Требуем замены института дознавателей части на независимую организацию **профессиональных юристов**.

III. Не призывать в Советскую Армию и не возвращать для дослуживания бывших осужденных за уголовные преступления.

IV. Служба в армии должна проходить на территории проживания призывников.

V. Открыть статистику по всем случаям гибели солдат в мирное время на территории СССР.

Алурдос А. В., Берко Н. И., Бизяева Т. А. и другие; 61 подпись».

ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ

Провести ее я попросила адвоката Московской городской коллегии адвокатов **Марину Натановну Родман**:

— В неправовом государстве трудно и страшно быть обвиняемым, но порой еще труднее защитить законные права и интересы потерпевшего. Особенно если потерпевшие — ребята, призванные на службу в армию. Родители погибших солдат — законные представители потерпевших, — сложенные горем, а зачастую просто не имея понятия о своих правах, совершают непоправимую ошибку, не обращаясь за юридической помощью к адвокату. Не обжалуют незаконные постановления следствия и суда, а в результате это порождает безнаказанность и вседозволенность. Поэтому первый и самый главный совет — **ОБРАТИТЬСЯ ЗА ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩЬЮ**. Что можно посоветовать более конкретно, не перепечатывая в журнале нормы Уголовно-процессуального кодекса?

1. Как только вы получаете «страшную телеграмму», вам необходимо подать заявление о возбуждении уголовного дела в орган расследования по месту нахождения в/ч. Кроме того, необходимо просить признать вас законным представителем потерпевшего. Отказ в вынесении такого постановления может быть обжалован прокурору. Следовательно обязан известить вас о ходе расследования, чтобы вы могли сами или с адвокатом ознакомиться с материалами дела при окончании следствия.

2. Если дело будет прекращено, вы или ваш адвокат, ознакомившись с собранными доказательствами, вправе обжаловать постановление о прекращении дела, если придете к убеждению, что дело прекращено необоснованно и т. д.

3. В случае получения постановления об отказе в возбуждении уголовного дела родственникам погибшего необходи-

мо обратиться к надзирающему прокурору с жалобой на отказ. Вы можете указать на факты, известные вам от конкретных людей, просить о сборе дополнительных доказательств и так далее. К сожалению, как правило, родственники погибшего не получают мотивированного постановления об отказе в возбуждении уголовного дела, они получают пятистрочную выписку со ссылкой на статью УПК. Это может быть выгодно следствию, если, руководствуясь «честью мундира», дело пытаются представить как несчастный случай или самоубийство. Если в возбуждении уголовного дела отказано, родители не приобретают статуса «потерпевшего», не могут ознакомиться с материалами, пригласить адвоката...

Кроме того, считаю своим долгом поставить родителей погибших в известность, что существует много различных экспертиз, на проведение которых надо настаивать для установления истины. Особенно это может пригодиться в тех случаях, где речь идет о «самоубийствах», «несчастных случаях» и т. п. **Психолого-психиатрическая** экспертиза способна не только оценить особенности личности потерпевшего, но и решить вопрос о его душевном состоянии в период, предшествовавший гибели; **психологическая** — решить вопрос о правильном восприятии свидетелями тех или иных событий с учетом их возраста, состояния здоровья, обстановки и т. п. **Эксперты-почерковеды** делают свои заключения о состоянии потерпевшего, анализируя письма и другие бумаги, написанные незадолго до гибели.

Юридический, правовой «ликбез» жизненно необходим!

Мы не дожили и, очевидно, не доживем до того светлого будущего, когда государство отомрет за ненужностью, а значит, сегодня армия нужна. Но какая?

Об этом мой разговор с **Владимиром Николаевичем ЛОПАТИНЫМ**, председателем временной комиссии по разработке военной реформы, созданной при подкомитете по Вооруженным Силам, народным депутатом СССР:

— Владимир Николаевич, как бы вы охарактеризовали сегодняшнее положение в армии? Каковы, на ваш взгляд, причины, породившие его?

— Состояние, в котором находится сейчас армия, можно назвать одним словом — кризис. Чем он порожден? На мой взгляд, существует три причины: экономическая, политическая и собственно военная.

Армия превратилась в заложницу военно-промышленного комплекса, который поставляет военную технику в таком количестве и такого качества, которые не удовлетворяют армию, ее реальные потребности: поставляются самолеты, на которых летчики отказываются летать из-за их высокой аварийности, подводные лодки, которые не обеспечивают безопасность экипажа, и т. д. Что касается количества, то оно превышает необходимое для обороны! Кто же «заказывает музыку»? Очевидно, что это те министерства военно-промышленного комплекса, между которыми распределяется 70 миллиардов рублей — известная часть военного бюджета. Часть неизвестная, нигде не учитываемая, — это затраты союзных республик, местных органов власти, прямые доходы предприятий Министерства обороны СССР и т. д. Средства распылены, нет контроля Верховного Совета, и когда мы предлагаем перераспределить средства, тратящиеся на закупку техники, на социальные нужды армии, нам отвечают, что денег нет. И доказать, что они есть, из-за их рассредоточенности практически невозможно.

Военно-промышленный комплекс — главная сила, которая сегодня противодействует каким-либо изменениям. Она оказывает давление и на остальные.

Вторая причина кризисного положения армии кроется в кругах политического руководства. Кому вообще должна подчиняться армия? Армия, как часть государства, должна, по всей видимости, подчиняться органам государственной власти и стоять вне партий. Деятельность политических партий должна быть исключена в рамках тех структур, которые обеспечивают стабильность и безопасность общества и государства в целом. Сюда относятся и государственные предприятия в области экономики, и КГБ, и МВД, прокуратура и суд, и прежде всего армия. Это подсказывает здравый смысл.

По каким причинам этого можно избегать? Либо по непониманию тех процессов, которые происходят в нашей стране: в условиях многопартийности армия из элемента стабильности превратится в предмет борьбы за власть между партиями. Либо причина в стремлении, опираясь на армию,

не допустить создания других партий, повернуть демократизацию вспять... И анализ, который мы проводим, подводит нас к мысли, что истинная причина — вторая... Армию пытаются сохранить как инструмент власти не государства, а партии — КПСС. Против чего мы выступали и выступаем. Департизация — главное условие того, что армия не будет действовать по решению узкого круга партийного руководства.

Кроме того, все наши офицеры в своем служебном росте упираются в графу «партийность». А командиров соединений и выше назначают и утверждают в ЦК КПСС. Такая система позволяет применять армию не по назначению: и как дешевую рабочую силу, и для подавления выступлений народа, интересы которого она должна защищать. Чем больше будет сохраняться эта структура, тем дольше будет сохраняться кризис в армии. Сейчас многие офицеры-коммунисты, поддерживая принцип департизации армии, хотели бы выйти из КПСС, но их сдерживает опасение, что это скажется на их службе...

Третья причина — собственно военная. Если в Афганистане погибло за 10 лет войны 14—15 тысяч военнослужащих, то ежегодно в Вооруженных Силах в мирное время гибнет 4 тысячи человек. То есть каждые три с половиной года в СА — это десять лет Афганистана. По данным наших ученых, каждый пятый кончает жизнь самоубийством. По данным призыва 1989 года, в армию пришло 45% людей с подорванной психикой, 15% — ранее судимых, 37% — слабо знающих русский язык. Таких, по данным социологов, 20 лет назад было в 12 раз меньше. По сравнению с 1988 годом их число увеличилось в полтора раза... Как такой армией командовать — тоже вопрос. Стремительно растет число уклонений от службы в армии и дезертирства: только по опубликованным данным, таких случаев больше 6 тысяч на сегодняшний день. И число их растет в геометрической прогрессии. Абсолютная правовая незащищенность военнослужащих, о которой говорят и письма, которые мы с вами читали, нищенское социально-бытовое положение военнослужащих и их семей — все это в совокупности рождает стремление порвать с воинской службой. И никакими приказами не заставишь человека служить качественно, если он служить не хочет, а на должном уровне и не может.

— Мы разобрались с причинами, без знания их не найти выхода из кризиса. В чем же вы видите этот выход?

— Создать профессиональную армию на добровольной основе, меньшей численности, интернациональную по своему составу, смешанную по принципу строительства.

— Поясните, пожалуйста, что имеется в виду.

— Мировая практика говорит о нескольких наиболее распространенных моделях строительства армий. Их три: модель воинской обязанности, добровольной основы и смешанная. То есть использующая и обязанность, и добровольность в различных пропорциях. Мы предполагаем сохранение небольшого числа военнообязанных для их службы в войсках пехоты. С обязательным, однако, условием прохождения ими службы по территориальному признаку, то есть по месту жительства, и меньшим сроком службы. Что касается основной массы профессионалов, то каждый из них заключает контракт сроком до пяти лет, где обговариваются все условия. Но здесь надо иметь в виду опасность спекуляции, подмены понятий «профессиональная» армия и «наемная». Наемная армия — это использование иностранных военных специалистов на территории другого государства. Сегодня только в двух странах остались остатки иностранных формирований: это Иностранный легион во Франции и «гуркхи» в Великобритании... Об этом нет речи.

Мы говорим о материальной заинтересованности военнослужащих. Когда Фрунзе начинал реформы армии 1924—1925 годов, оплата рядового состава возросла в 4 раза, оплата командира роты возросла в 3 раза, командирам полка — в 2,7 раза. Это опыт отечественных реформ. В армию шли с заинтересованностью! После 1973 года, когда США перешли на добровольную систему комплектования армии, преступность и правонарушения в такой армии снизились на 70%! Это реальный способ решить сегодняшние проблемы армии, повысить ее боеготовность: чтобы по сравнению с армиями других государств наша брала не количеством, а качеством.

Необходимо провести демократизацию и гуманизацию армейских отношений.

Армии необходимы, как мы их называем, «службы человека», куда бы входили социологи, психологи, психофизиологи, юристы... Их отсутствие позволяет руководить армией

как «бог на душу положит» — при полном отсутствии научной базы.

— На все это необходимы средства. Где вы собираетесь их брать?

— Главный аргумент противников добровольной армии — «это дорого». Но посмотрите на диалектику этого аргумента: апрель 1989 года — руководитель Министерства обороны говорит, что профессиональная армия дороже теперешней в 8 раз; декабрь 1989 года — уровень понижается до 5 раз; январь 1990 года — дороже, но в 3 раза и менее... Такой разрыв оценок говорит о том, что серьезных расчетов, подсчетов «дороговизны» профессиональной армии никто не вел. Это блеф. Это сказка для незнающих. В условиях отсутствия информации это позволяет нашему руководству манипулировать общественным мнением. Когда же начинаешь знакомиться с положением дел, оказывается, что дорожка существующая, нынешняя армия!

Мы предлагаем порядка десяти путей, где и как взять необходимые деньги. Да, безусловно, оплата офицеров, прапорщиков, мичманов срочной службы будет в несколько раз выше, чем сейчас, но мы это предлагаем, не выходя за рамки нынешнего бюджета, а при его сокращении! За счет перераспределения средств.

Таким образом, мнимая «дороговизна» профессиональной армии не причина, а лишь повод для нынешнего руководства армии сохранить свою власть.

— Знают ли рядовые офицеры и солдаты о ваших предложениях и если «да», то каково их отношение к созданию профессиональной армии на добровольных началах?

— 87% офицеров высказываются за то, чтобы иметь такую армию (по данным социологического опроса, январь 1990 года). Более половины личного состава срочной службы за то, чтобы служить в такой армии. Более половины учащихся и выпускников школ и ПТУ хотят служить в такой армии. Есть желание, есть потенциал. В то же время вы помните, что число уклонений от службы в нынешней армии стремительно растет.

Что же против? Против наши генералы, наш военно-промышленный комплекс, потому что профессиональная армия — это конец вседозволенности, конец бесправию. Мы не говорим, что наш проект идеален, поэтому мы и выносим его на обсуждение во всех родах войск. И абсолютное большинство участвующих в обсуждении поддерживает наш проект. Об этом говорят письма, постановления воинских коллективов, собраний офицеров и т. д. Вот почему мы расцениваем это как кредит доверия и, направив наш проект Президенту страны, Верховному Совету СССР и т. д., приступаем к работе над программой военной реформы.

— И последний вопрос: сейчас проблемы армии волнуют многих и многих гражданских лиц. Возникают Комитеты и Ассоциации солдатских матерей, Общества родителей и так далее. Какую роль призваны сыграть они? Имеет ли их создание какое-то значение для решения тех проблем, о которых мы с вами говорили?

— Их роль очень большая, а должна быть еще больше. Это, нарождающаяся структура общественной власти, гражданской власти, которая должна иметь контроль над военной сферой. Поскольку каждый гражданин, платя налоги, имеет право знать, как они расходуются; каждый гражданин, отправляя своего сына, племянника, внука, брата в армию, имеет право знать, каким он оттуда вернется, вернется ли живым. Это нормальное право гражданина, и отнять у него это право — противозаконно. В росте активности таких организаций — залог боеспособности армии, залог того, что армия всегда будет с народом.

— Спасибо за беседу.

* * *

Мне двадцать лет. И если бы я была парнем, этой осенью я бы должна была вернуться из армии. Чем бы были эти два года для моей мамы...

Вероника МАРЧЕНКО.

Постскриптум: 1) Благодаря усилиям «Общества родителей...», «Комитета солдатских матерей г. Москвы» и лично начальника приемной Главной военной прокуратуры Геннадия Всеволодовича Суицынского Володя Николаев освобожден из Донецкой тюрьмы.

2) Журнал «Юность» и Ассоциация «Дипломатия граждан» учредили Фонд «Право Матери».

ХОЧУ ПОБЛАГОДАРИТЬ ВАС ЗА ПУБЛИКАЦИИ О НЕГАТИВНЫХ СТОРОНАХ СОВЕТСКОЙ АРМИИ.

Обстановка во многих армейских частях вопиющая, калечащая людей как морально, так и физически. Военная прокуратура превратилась в щит мракобесия армии — с таким лозунгом я был на демонстрации 25 февраля.

У меня сын служит в «секретных» войсках, это дорожно-строительная часть в г. Котельниче. Со слов солдат, это двухгодичные курсы бандитизма, после окончания которых, если выживешь, можно за несколько минут разделаться с любым десантником. Части два года, а уже 7 трупов, не считая калеченых. Практика у них ежедневная, спят в казарме с намотанными на руку ремнями, а просыпаются от того, что кто-то приставил к горлу нож. Офицер, дежурный по части, закрывается в своей комнате и боится выйти, а в казарме кипит бой на национальной основе.

Поэтому нужна срочная реорганизация армии: запретить набор в армию лиц, отбывших уголовное наказание; запретить дослуживание лицам, бывшим в дисбате; создать правовую защиту солдат (депутатские комиссии и др.); установить телефоны доверия, по которым солдат может поговорить с командиром части; прекратить отправку солдат с Кавказа и из Средней Азии в Москву, а москвичей гнать на Кавказ или в Среднюю Азию, то же самое с другими регионами; гибель или тяжкую травму солдат должны рассматривать гражданские суды, а не прокуратура, которая печется о чести мундира; солдата, который вскрывает негативные стороны части, переводит в другую часть, чтобы спасти от преследования; прекратить использование солдат в корыстных целях (строительство дач, гаражей и т. д.); министр обороны должен выбираться не в узком келейном кругу, а всеми военными округами.

У нас в стране стали публиковать данные МВД о количестве убитых, изнасилованных, ограбленных. А вот Министерство обороны никак не решится сообщить о потерях в армии — это называется военной тайна; если хорошо подумать, то и вправду есть, что скрывать. Для строительства дорог в Нечерноземье партия и правительство выделили 3 млн. солдат, а значит, сколько еще будет надломлено человеческих судеб!

Хорошо было бы, если ваш журнал взял бы на себя инициативу по организации комитета в защиту солдат, не только тех, которые погибли, но и живых, морально и физически угнетенных. Письмо не подписываю, так просил сын во избежание последствий. Но я готов помочь, чем могу, в этом благородном деле.

Отец солдата, Московская обл.

ПИШУТ ВАМ «ПАРТИЗАНЫ» СОВЕТСКОЙ АРМИИ.
Мы — это более пятидесяти офицеров запаса, собранных со всего Советского Союза.

Как указано было в повестке, нам необходимо было на основании закона «О всеобщей воинской обязанности» пройти 55-дневные сборы комсостава в г. Челябинске (ЧВВАИУ — место сборов). Надо сказать, что о цели сборов командование училища узнало из наших предписаний. Нас, скажем прямо, не ждали.

Три дня мы не стояли на довольствии, были неразбериха с обмундированием, трудности с жильем (живем вместе с курсантами, созерцая их саркастические ухмылки). В общем-то ничего, кроме смеха, вид нашего воинства вызвать и не может.

Мы все были сорваны с мест работы, у большинства остались дома семьи. Возникает законный вопрос: кому все это нужно? Нам — нет и даже очень мешает (правда, не всем, кто-то бурно отдыхает от семьи и работы). Предприятиям, где мы трудимся, — прямой убыток, особенно если учесть переход на новые условия хозяйствования. (Собраны ведь офицеры запаса, т. е. руководители различных звеньев.)

Многие из нас бывали на подобных сборах, некоторые не

один раз. Все сошлись во мнении, что ничего, кроме потеряннного времени, это нам не дает.

«Партизанский» вопрос уже рассматривался в печати, но Министерство обороны сохраняет олимпийское спокойствие. На местах же военкоматы, «выворачивая нам руки» и напоминая об уголовной ответственности за нарушение правил военного учета, посылают нас к месту сборов подговор средств массовой информации о социальной защищенности и демократии.

Считаем целесообразным с экономической, профессиональной и практической точек зрения решить этот вопрос, учитывая следующее: не проводить сборы в масштабах всей страны, т. е. не отправлять «запасников» за тридевять земель от места жительства, а проводить эти мероприятия в тех войсковых частях, где они приписаны по штатам мирного времени (как правило, это недалеко от места жительства). Эти сборы, или доподготовка, или переподготовка (не так важно, как это будет называться), должны проходить с зачислением на должности в **соответствии** с ВУС (военно-учетной специальностью) офицера запаса в **конкретных** войсковых частях.

Просим Вас поднять этот вопрос, так как происходит откровенное разбазаривание государственных средств.

О. Г. АБДУЛИН, г. Целиноград,
Ю. П. КОРДА, г. Павлодар,
Ю. В. БОЧЕНКОВ, Московская обл.
(всего 48 подписей из 37 населенных пунктов)

Обращение к Верховному Совету СССР, к Президенту СССР М. С. ГОРБАЧЕВУ

Мы, солдатские матери, вынуждены обратиться к вам, так как не хотим больше быть заложниками нашей системы, не хотим быть виновными перед своими сыновьями за то, что со дня своего рождения они становятся рабами «Закона о всеобщей воинской обязанности». Этот «Закон...» понятен в военное время, но в мирное... это звучит как гимн милитаризму, является противоречием всем заявлениям о мире, о правовом государстве.

До каких пор наших сыновей будут использовать на самых невыносимых для здоровья и жизни работах, которые делают их хронически больными и инвалидами? До каких пор материнский вопль, иначе это не назовешь, льющийся по всей России, будет не замечаться? Почему до 18 лет никто не интересуется, каково было матери вырастить сына, сколько здоровья, сил, жизни на это ушло? Почему, благодаря уставу, солдат — не человек, а вещь военного ведомства? Почему наших сыновей используют для удовлетворения политических амбиций несостоятельных политиков, разваливших нашу страну? Почему наши сыновья должны служить «мишенями» при решении межнациональных конфликтов, быть устрашающей силой? Мы не позволим делать из них убой и саперными лопатками!

Нарушаются ст. 42, 54, 57 Конституции СССР, нарушаются ст. 3, 4, 5, 6 «Декларации прав человека». Зато демагогии нет конца! «37-й год» продолжается, ребят даже по ночам «гребут» в армию, лишь бы выполнить план, отчитаться.

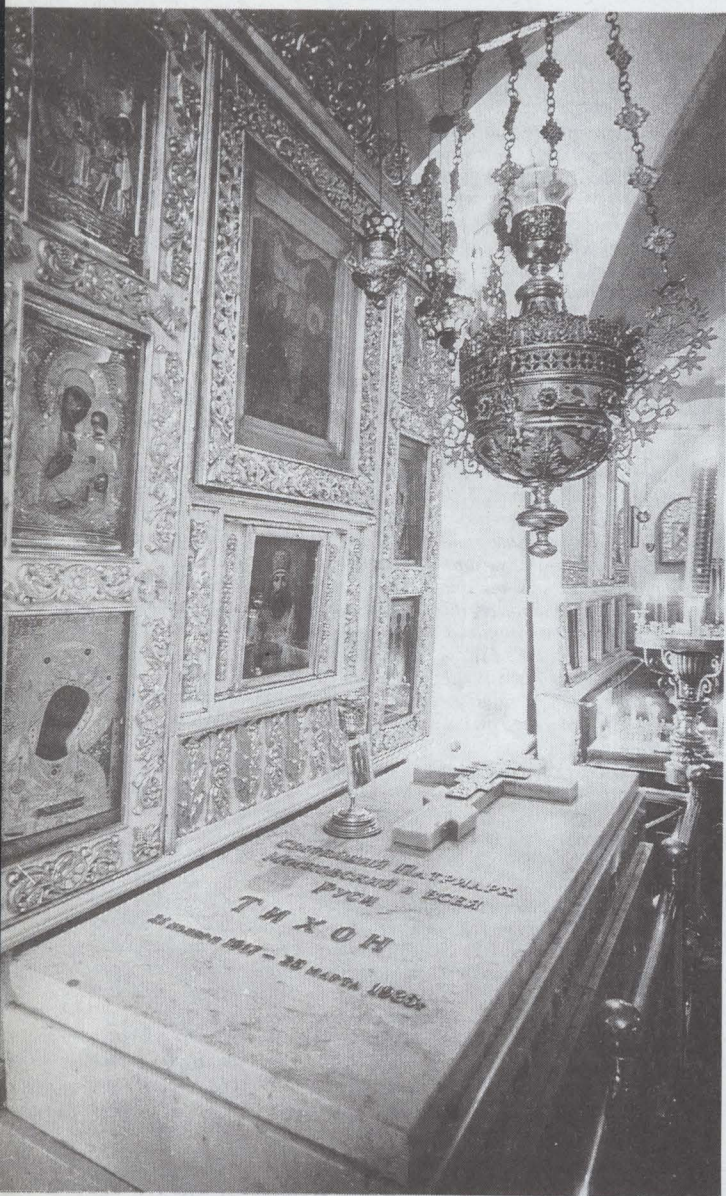
Поэтому, исходя из всего сказанного выше, мы, солдатские матери, официально заявляем: «Не отдадим своих сыновей в армию, мы не доверяем военным! Мы хотим иметь внуков, а не памятники на кладбище». Поэтому мы требуем немедленного введения альтернативной службы, определяемой не военными, а гражданскими организациями. Медкомиссии из военкоматов убрать, сделать независимые медкомиссии при медсанчастях, чтобы военные не могли забирать больных. Также требуем скорейшего решения вопроса о профессиональной армии. Этот вопрос назрел давно, и закрывать на это глаза — только обострять проблему, требующую немедленного решения.

Если наша страна претендует на роль правового государства, государства цивилизованного, исключающего произвол и насилие, срочно нужно решать вопрос об армии. Хватит военного социализма, пора укротить реваншистский пыл военных, пора выкорчевать сталинизм из армии. Хватит произвола во имя несуществующих целей!

Л. Н. ЗИНЧЕНКО, Л. М. ЛЫМАРЬ,
Г. А. ХАНДОГИНА и др.,
Ассоциация солдатских матерей, г. Челябинск

«Бремя народа всего...»

Надгробие Св. Патриарха Тихона
в соборе
Донской Божией Матери (Малом)
московского Донского монастыря.
Фото Л. Шимановича.



Ни одна из великих революций не проходила мимо вопроса о Боге. Не обходил этот вопрос и в нашей истории. И дело сегодня не столько в преступлениях, совершившихся именем революции, сколько в проникновении в реальные человеческие судьбы, осознании масштабов личностей, творивших историю и не желавших подчиняться ее слепым и бездушным «колесам», личностей, не побоявшихся произнести громкое «нет» насилью, творимому лобой из сторон. Святейший Патриарх Тихон как раз из таких людей.

Сама судьба как бы готовила будущего Патриарха к его тяжелой миссии, к ежедневному мученическому подвигу во имя защиты Церкви. Принимая монашество, 26-летний Василий Белавин сознательно избирает себе имя Тихона — по святому Тихону Задонскому — одному из самых замечательных святых XVIII века, епископу, миссионеру, духовному писателю, всю жизнь гонимому государственной властью. А вот что произносит новоизбранный — 5 ноября 1917 года! — Патриарх Московский и всея России в своей первой речи перед Собором: «Ваша весть об избрании меня в Патриархи является для меня тем свитком, на котором было написано: «Плач, и стон, и горе», и каковой свиток должен был съесть пророк Иезекииль. Сколько и мне придется глотать слез и испускать стонов в предстоящем мне патриаршеском служении, и особенно в настоящую тяжелую годину! Подобно древнему вождю еврейского народа Моисею, и мне придется говорить ко Господу: «для чего Ты мучишь раба Твоего? И почему я не нашел милости пред очами Твоими, что Ты возложил на меня бремя всего народа сего? Разве я носил во чреве весь народ сей и разве я родил его, что Ты говоришь мне: неси его на руках твоих, как нянька носит ребенка? Я один не могу нести всего народа сего, потому что он тяжел для меня». Отныне на меня возлагается попечение о всех церквях Российских и предстоит умирание за них во все дни».

Прямая атака на возглавителя Российской Церкви началась с публикации в «Известиях» от 28 марта 1922 года «Списка врагов народа», где первым был указан Патриарх Тихон «со всем своим церковным собором» и последующим длинным перечнем представителей епископата и духовенства. Патриаршая резиденция находилась тогда при храме Троицы на Самотеке, в подворье Троице-Сергиевой лавры, традиционном местопребывании московских архиепископов. 19 мая Патриарх Тихон был вызван из подворья и заключен в Донском монастыре «под строжайшей охраной, в полной изоляции от внешнего мира». 6 апреля 1923 года «Известия» официально сообщили, что суд над Патриархом и его «сообщниками» откроется 11-го; следующий номер газеты извещал о переносе судебного разбирательства на 24 апреля. В печати уже развернулась широкая пропандистская кампания; газеты именovali Патриарха не иначе, как Тихон Кровавый, а некто Ольдор иронизировал в «Правде»: «Молитвы Патриарха Тихона не дошли до Бога. Они были перехвачены ГПУ».

3 мая так называемый «обновленческий Собор», в котором приняли участие лишь 16 из ста с лишним русских епископов, постановил лишить Тихона «сана и звания Патриарха». Но если накануне ареста Святейший заявлял, что никогда не хотел быть Патриархом, что патриаршество тяготит его как крест, то теперь, на следующий день после «собора», Тихон накладывает на представителю ему постановлении следующую резолюцию: «Прочел. Собор меня не вызвал, его компетенции не знаю и потому законным его решения признать не могу». Тихона увозят на Лубянку, где содержат 38 дней, по истечении которых снова помещают под стражу в монастырь. Оставшиеся два года жизни Патриарх будет подвержен частым обморокам. К ним затем добавятся регулярные приступы стенокардии, начавшиеся со дня неудачного покушения (9 декабря 1924-го), когда был убит его келейник Яков Сергеевич Полозов, прикрывший Святейшего своим телом.

В предлагаемых вниманию читателя воспоминаниях М. Вешневой описывается как раз период осени 1922 — весны 1923 года. Важно заметить: Патриарх Тихон осознавал, что ему готовится судьба митрополита Петроградского Вениамина, расстрелянного в августе 1922 года. Тем поразительнее спокойное и ровное состояние духа этого человека, о чем свидетельствует автор воспоминаний.

Чем было вызвано неожиданное освобождение Патриарха Тихона, в скором расстреле которого никто, включая его самого, не сомневался? Казни епископов и священников вызвали массовое и весьма неожиданное для адептов богоборчества возмущение во всем мире. Особенно действенной была поддержка Рима и архиепископа Кентерберийского, главы Англиканской Церкви, делавшего запрос за запросом в британском парламенте. Решающим оказался знаменитый ультиматум британского министра иностранных дел лорда Джорджа Керзона. Многие из нас со школьной скамьи помнят о «ноте Керзона» и революционных лозунгах «лордам — в морду!», но далеко не всем известно, что центральным пунктом ультиматума было требование немедленного освобождения Патриарха Тихона.

Над могилой Святейшего в соборе Донского монастыря почти сорок лет висит огромная лампада — дар Американской Православной Церкви (Тихон занимал там епископскую кафедру в 1899—1906 годах). Весь христианский мир чтит память недавно канонизованного первоиерарха Русской Церкви. Имя его наконец возвращается и к соотечественникам. Сам же Тихон сказал, выйдя из лубянского застенка: «Пусть погибнет мое имя в истории, только бы Церкви была польза».

Андрей БЕССМЕРТНЫЙ

Мария ВЕШНЕВА

«ЭТО ПАМЯТЬ О ДНЯХ В ДОНСКОМ...»

(Осень 1922 — весна 1923)

Мария Александровна Вешнева
с дочерью. 1925 г.
Св. Патриарх Тихон



«РСФСР. Всероссийская Чрезвычайная комиссия при Совнаркоме по борьбе с контрреволюцией, спекуляцией, саботажем и преступлением по должности

Удостоверение № 677

Дано сие т. Семенову М. А. в том, что она состоит на службе в ВЧК, в должности старшего уполномоченного Бюро печати.

Примечание: предъявитель сего на основании декрета Совета Труда и Обороны от 17 ноября 1920 г. считается состоящим на действительной военной службе.

Управл. делами ВЧК
Зав. отд. личн. сост.

подпись
подпись»

И моя фотография с короткой стрижкой и решительным выражением лица.

Сегодня Соловьев сказал, чтобы в отдел я больше не приходила. Что я буду только у Старца, чередоваться с новенькой — Надей Сидневой. Нам не будут больше давать паек. (Нам давали на сутки буханку хлеба, селедки, песок или изюм.) Старец будет кормить нас сам. Мы с Надей будем получать его стол, а красноармейцам будут готовить отдельно.

Алеша Рыбкин подтвердил, что все договорено и чтобы мы «от Старцевых харчей не отказывались». Еще он сказал, что Старец подал просьбу в Коллегию, чтобы в его охране оставили только меня и Надю. И что Коллегия на это согласилась. Тогда я поняла, почему Соловьев не велел приходить в отдел. Уже в монастыре я спросила:

— Алеша, как его называть? Гражданин патриарх?* Товарищ Тихон? Ваше Преосвященство?

Алеша пожал плечами:

— Черт его знает!

И в этот момент вошел Старец. Алеша слегка хлопнул его по плечу.

— Как жизнь... сеньор?

Патриарх улыбнулся, поздоровался и стал излагать какую-то очередную просьбу.

Потом мы гадали, почему патриарх из всех сотрудников выбрал только меня и Надю? Ну, Надя, понятно, очень интеллигентна, видно с первого взгляда, выдержанна, спокойная. Но почему меня?

* Написание со строчной буквы — по оригиналу. — Ред.

Воспоминания Марии Александровны Вешневой, урожденной Семеновской, в 1922—1923 годах сотрудницы ВЧК — ОГПУ, впоследствии домохозяйки, написаны в 50-е годы. Автор живет в Москве.

Зима в разгаре. На нашей набережной огромные белые горы. К нам свозят снег с Пятницкой и с Большой Полянки. А как красиво в Донском монастыре! Деревья причудливо сказочные. От сверкающей белизны светлее стало в тереме.

Патриарх живет в тереме на стене. Снизу терем кажется маленьким, а внутри поместительный. В нем четыре комнаты. Три смежные, их занимает патриарх, а четвертая, изолированная с дверью на лестницу, наша. С лестницы же дверь на стену. Боевой ход упирается в глухую башню. Получается большая замкнутая площадка. Окно нашей комнаты выходит на эту площадку.

Из первой комнаты — дверь в холодные темные сени, и там же нужник. Нужник освещается крохотной форточкой под потолком. Сооружение деревенское, мы сказали: «Как в 16-м веке». И если кто из нас исчезает, знаем, что отправился «в 16-й век».

Узкая каменная лестница в два марша — единственный вход в терем. Терему столько же лет, сколько стенам Донского монастыря: 16-й — 17-й век. Во всех патриарховых комнатах по два окна. Окна по-старинному маленькие. Убранство комнат соответствует их возрасту. Узкие зеркала с мутными стеклами, узкие деревянные диваны, резные лари, маленькие столики, на них резные и кованые шкатулки. В передних углах образа в дорожных окладах. Две низкие широкие печи изукрашены голубыми изразцами.

Только в дальней комнате, где, собственно, и живет патриарх, старинный стиль нарушен. Там кровать с никелированными шпиками, солидный письменный стол, мраморный умывальник. На столе лампа с зеленым абажуром.

Наша комната унылая. Против двери у стены канцелярский стол. Налево клеенчатый топчан, направо деревянная скамья со спинкой, один стул. Под потолком тусклая лампочка. Типичное караульное помещение.

Красноармейцы выполняют черную работу. Приносят воду, топят печи. Следят, чтобы в чулане под лестницей всегда были дрова.

Патриарх любит тепло. Иногда, поздно вечером, просит затопить у себя. Сидит на маленькой скамеечке с кочергой и смотрит на пылающие дрова. Ребята говорят — мечтает, а я уверена, что что-то сжигает, но об этом Рыбкину я не докладываю.

Один из красноармейцев всегда находится при мне, а другой дежурит снаружи. Они друг друга меняют.

Я обязана все время быть только в помещении.

Когда Рыбкин в первый раз привез меня сюда, он сказал: — Главное — никуда не отлучаться! Ты вошла и вышла, только передав дежурство сменяющему сотруднику. Запомни!

Сказано было внушительно. И вот я сутки нахожусь в дежурке. Только когда патриарх после обеда спит, я прогуливаюсь по стене до башни и обратно.

С одной стороны — монастырский парк, кладбище, церкви, службы; с другой — Замоскворечье — совершенная деревня.

Патриарху ни с кем нельзя видаться. А посетителей бывает много. Часовой звонит, я выпускаю на площадку, выслушиваю, докладываю патриарху и передаю ответ.

Чаще всего ему несут дары — самые разнообразные: дрова, рамку меду, заштопанные носки, фунт свечей, мешок муки, две луковицы, штуки полотна и т. д. и т. п.

Обо всем докладываю и все отправляю монашке. Так мы называем женщину, которая живет во дворе и которая ему готовит.

Кроме того, я заполняю журнал. За сутки я должна сделать не меньше шести записей. Журнал ведется под копирку. Один лист мы ежедневно передаем Алеше, а другой остается у нас. На основании наших записей Алеша ведет дневник.

Сегодня, когда мы все трое были в дежурке, Алеша спросил, вселилась ли я наконец в выделенную комнату. Я ответила, что почти месяц живу. Он еще спросил, удобно ли и как отношения с соседями, а потом совершенно поточески добавил, что придет и сам проверит. Я ответила, что буду очень рада.

Когда он ушел, Надя спросила:

— Кто тебе Рыбкин?

Я удивленно взглянула на нее:

— Начальник.

Она усмехнулась:

— А кроме этого?

Я покраснела:

— О чем ты спрашиваешь?

Надя отвела глаза:

— Прости. Я пошутила.

Когда она ушла, я долго думала, почему она задала такой вопрос, что хотела выяснить.

Если бы я не узнала Рыбкина, я не была бы в Чека. Как-то пришла на собрание ячейки, а там выступал оратор — молодой матрос. Он призывал комсомольцев усилить ряды ВЧК. Идти в органы на работу. Говорил горячо, убедительно. Сказал, что хотя война закончилась, но фронт существует. Фронт теперь другой, внутренний. Комсомольцы должны его укреплять. Говорил о том, что мы знали. Но в его речи все освещалось по-новому, оживало и становилось ярче. Сам был такой живой, сияющий, движения выразительные. Это и был Алеша Рыбкин.

Я как вошла, так и замерла у стены. Не стала садиться, всю речь прослушала стоя. Закончив, он сдвинул бескозырку на затылок, подмигнул каким-то девушкам и спросил:

— Кто первый?

Я подошла и попросила записать меня.

Он записал и опять оглядел ряды:

— Кто следующий?

А следующих не было. Он растерянно озирался. Раздался смех:

— Не горюй, матрос, мал золотник, да дорог!

Когда Соловьев утром сказал: «Иди домой. В 5 придешь к Рыбкину на операцию», — я от ужаса похолодела и деревянными губами спросила: «На какую?». Соловьев равнодушно бросил: «Рыбкин скажет».

Дома я ничем не могла заняться. До пяти часов мучилась, гадая, какую операцию будут делать мне. Зачем? И почему Рыбкин? Я немного успокоила себя, решив, что это какой-нибудь ритуальный обряд, принятый в этом учреждении. Было же у масонов посвящение в братство. Ну, и здесь что-нибудь подобное.

И все же в отдел я шла с ледяными руками, у меня стучали зубы. Как только подошла к Алешиному кабинету и на двери прочитала: «Оперативный отдел. Зам. нач. т. Рыбкин», мне все стало ясно.

В эту ночь проводились две операции. Одной руководил он сам, а другую поручил мне. Сунул в руки ордер на обыск и арест. Дал двух красноармейцев и посадил в машину.

Хозяином квартиры был сапожник. Он сидел в углу, опустив плечи, исподлобья, мрачно наблюдая за мной. А молодая хозяйка на полу выла:

— За што вы меня позорите? Муж подумает, что я воровка, што из-за меня нас обыскивают.

Из ее причитаний я поняла, что всего месяц, как они поженились. И она волновалась, что после такого позора муж ее обязательно выгонит.

Я сосредоточенно пересыпала из коробки в коробку медные и деревянные гвозди. В комнате нечего было обыскивать. Она была почти пустая. Стол без ящиков, на котором стоял самовар и кое-какая посуда. Кровать с лохотным одеялом я осмотрела в одну минуту. Открытый ящик с обрезками кожи. Ни чемоданов, ни сундуков и никаких признаков книг или документов. Голые стены, только в углу на гвозде кое-какое тряпье.

В глубине души я понимала, что делаю не то, что нужно, но как выйти из этого положения, не знала. В это время ворвался Алеша. Он, видимо, тревожился за успех моей работы и поспешил на помощь. Когда он влетел, у него перекосилось лицо.

— Что ты тут делаешь?

— Обыск,— дрожащим голосом ответила я.

— Ворона! — вслух сказал Алеша, а про себя — кое-что покрепче.

На обратной дороге я больше всего боялась расплакаться. Я изо всей силы сдерживала себя, поэтому икала и шмыгала носом. Алеша опасно оглядывался и что-то бурчал. Наконец, соблаговолил объяснить, в чем моя ошибка. Что прежде всего я должна была запереть вход и выход во всю квартиру. И что пока я возилась у сапожника, а красноармейцы бесполезно на меня глядели, тот, кто был нужен, спокойно ушел. Что часто ордер дается на ответственного съемщика квартиры, а проверять приходится всех живущих.

Стараясь подавить икоту, я сказала:

— Вы... меня... плохо... проинструктировали... я... вас... не совсем точно... поняла... Вы...

Алеша обернулся ко мне всем корпусом и бешено крикнул:

— Ты будешь когда-нибудь разговаривать по-человечески? «Вы», «вы»! Я что — граф? Скажи мне еще «ваше сиятельство»!

Я совсем скисла. Я никогда никому не говорила «ты». Только родным и детям. Даже своих сверстников всегда называла на «вы».

Эту ночь мы до утра метались по всей Москве, разыскивая того, кого я упустила. Может быть, его не было и в той квартире, где я работала, но я глубоко чувствовала свою вину.

Вчера вместе с Надей приехал Алеша. Он сразу прошел к патриарху. Потом выскочил с перекошенным лицом:

— Где старик??

Часовой спокойно отвечает:

— Заседает «в 16-м веке».

Алеша выкатил глаза.

— Что-о??

Я объяснила. Он хохотнул. А потом начался разнос. Оказывается, патриарху «в 16-й век» ходить не положено. А положено пользоваться ведром.

Красноармейцы оправдывались. Говорили, что они за этим очень следят. Что всегда все содержат в чистоте. А Старец предпочитает прогуливаться «в 16-й век».

Алеша не слушал и орал.

Я замечаю, что при Наде Алеша теряет свою самоуверенность. Он при ней тушется.

Обыкновенно на дежурство я беру с собой книжки и, конечно, стихи. Надя тоже привозит книги и кладет их на стол. Алеша никогда до них не дотрагивается. А мои обязательно все пересмотрит и сделает замечания. Как-то перелистал Ахматову, Пастернака, сморщил нос и спросил:

— Зачем ты это читаешь?

Я удивилась и не нашлась, что сказать. А он продолжал:

— Трата времени. Труха. Мусор.

Я не успела еще сообразить, что ответить, как Надя, не глядя на нас и как бы отвечая своим мыслям, произнесла:

— Вкусы у людей разные. Одни любят Пастернака и Ахматову, другие — пиво.

Алеша взглянул на нее растерянно и ушел.

На дежурство мы приезжаем к девяти. В этот час патриарх завтракает.

У него очень строгий режим. Просыпается в шесть. Выходит на площадку и, обнаженный по пояс, делает гимнастику. Тщательно умывается. Долго молится. Завтракает. Всегда по утрам пишет. Прогуливается по комнате. Снова работает. За час до обеда, тепло одетый, выходит на стелу. Прогуливается до башни и обратно. Мы за ним не выходим, наблюдаем из окна.

К этому времени двор заполняется народом. Это верующие ожидают его благословения. Патриарх время от времени подходит к краю стелы и молча благословляет крестным знаменем. Многие опускаются на колени. Матери поднимают детей. Все молча, разговаривать не положено.

В час обеда. До трех отдыхает. В четыре «кушает чай», после чая садится за стол. Опять работает — пишет или читает.

В пять обычно топим печи. Патриарх прогуливается по всем комнатам с кочергой и помешивает. Иногда мы сидим перед нашей печкой на лестничной площадке. Патриарх, красноармеец и я. Иногда печем картошку и тут же едим ее, душистую, хрустящую. Дружелюбно разговариваем.

Меня поражает его такт. Он умеет разговаривать свободно и живо, не касаясь никаких скользких тем.

Однажды красноармеец спросил:

— Скажи, отец, а бог-то есть?

Я от этого вопроса вспотел и про себя обругала красноармейца. А патриарх спокойно ответил, правда, туманно и длинно, в том смысле, что бог у каждого в душе свой.

В семь ужин, и после этого патриарх к нам до утра не выходит.

Я к нему в комнату никогда не захожу. А ребята подсматривают и говорят, что он очень долго стоит на коленях и иногда будто бы всю ночь.

Вид у него представительный. О таких говорят — породный. Лицо некрасивое, простоватое — мужицкое. Очень интересные глаза. Глубоко посаженные, умные, серые — говорящие.

Мои книги он интересуется. Всегда просит дать ему почитать, особенно журналы. Но никогда у себя не оставляет, просмотрит и возвращает.

Однажды он спросил, читала ли я Жития Святых.

— Нет.

Он сказал, что это не лишено интереса и если есть возможность, то познакомиться не мешает. Принес и сам отметил, с чего начать и на что обратить внимание. А когда я спросила, почему он рекомендует именно это, он сказал, что это самое яркое, а остальное однообразно.

Когда я прочитала всю книгу, то убедилась, что рекомендовал он действительно самое поэтическое.

Забавный разговор был у нас о «Четках» Ахматовой. Возвращая книжку, он сказал — не стоит увлекаться такой тематикой, она слишком будурна. Я чуть не фыркнула. Патриарх заботится о моей нравственности! Я сказала, что меня не интересует содержание, так как оно однообразно, что мне нравится форма — лаконичность и конкретность деталей. На это он ничего не ответил.

Я, конечно, соврала, многие строки Ахматовой меня волнуют до слез. Теперь мне нехорошо, будто совершила предательство.

Самый хлопотливый день у нас среда. В среду приходит монашка. Она немолодая, довольно интеллигентная. Одета строго в темном, но не в монашеском.

После вечернего чая я впускаю ее на нижнюю площадку. А на верхнюю выносят кресло. В середине лестницы, прислонившись к стелу, стою я. В кресло усаживается патриарх.

Монашка приходит с тетрадкой и карандашом. Начинается обсуждение меню с четверга до следующей среды.

Патриарх сидит уютно, откинувшись на спинку, вытянув ноги, закрыв ладонью глаза. Монашка присаживается на нижней ступеньке. Они составляют завтрак, обед, полдник и ужин по дням на всю неделю. Иногда это продолжается

часа три, до самого ужина. Он предлагает одно блюдо, отменяет, потом вновь возвращается к нему. Я слышу:

— Налистники, блинчики, сочники, пончики, глазунья, болтуны, омлет... — Патриарх совершенно не ест мяса. Но стол у него разнообразный, питательный и очень изысканный.

Раньше, когда мы жили на своем пайке, эта процедура была для меня бессмысленной и даже мучительной. А теперь это приобрело интерес и для меня!

Но все-таки такое смакование под конец становилось противным. Потом я догадалась, что эти часы являлись для патриарха отдушиной в его однообразной жизни.

Монашка никогда его не торопит. Она терпелива, покорна и необычно почтительна. Готовит изумительно, особенно тесто.

Меню красноармейцев не обсуждается. Им подают мясные щи или лапшу, на второе кашу или картошку. Нам с патриархом кофе с миндальным молоком, а ребятам с простым.

Меня мучают некоторые вопросы, в которых я не могу разобраться. Во-первых, я часто нарушаю Алешины «положено» и «не положено». Мы с Надей дежури́м с правом сна, а красноармейцы — без. Я сказала Алеше, что не могу спать, когда передо мной парень клюет носом. Алеша равнодушно ответил: «Ему не положено».

А мы с Надей обязательно укладываем спать ребят, особенно того, который возвращается с наружного поста. Сами спим не больше 2—3 часов.

Потом, я никак не могу увидеть в патриархе классового врага. Умом я понимаю, что он враг, и, очевидно, очень опасный. А общаясь с ним, ничего вражеского не чувствую. Он обращается с нами идеально. Всегда внимателен, ласков, ровен. Я не видела его раздраженным или капризным.

Надя говорит, патриарх верующий, он живет по Евангелию, он прощает своих врагов. Я в бога не верю, но бить лежачего не могу и никогда не стану.

Весь быт патриарха в наших руках. Облегчить его положение или ухудшить — зависит от нас. Мы с Надей, насколько возможно, облегчаем. Для этого приходится нарушать «положено» и «не положено».

Патриарх часто причащается. Он говорит мне, что ему необходимо принять «святые тайны». Я посылаю красноармейца в церковь. И вижу в окно, как идет священник в полном облачении, неся на голове чашу со святыми дарами, покрытую воздушниками, а за ним часовая с ружьем. Священник проходит в покои. Мне «положено» идти за ним и наблюдать всю церемонию причащения. Я этого не делаю, посылаю парня.

Два раза в неделю патриарх меняет белье личное и постельное. Мне «положено» все проверить. Я поручаю ребятам.

Мне «не положено» убирать комнаты патриарха. Но в его отсутствие я довожу их до идеального блеска. Ведь ни он сам, ни красноармейцы сделать этого не умеют.

С Лубянкой патриарх возвращается всегда очень утомленным. А когда отдышится — пройдет по всем комнатам, остановится в дверях дежурки и на меня посмотрит. Он ничего не говорит, только глаза у него улыбаются.

Меня успокаивает, что Надя ведет себя точно так же. А она член партии.

Последнее время Алеша каждый день возит патриарха на Лубянку. Поэтому он ездит в роскошном шоколадном «лимузине», внутри отделанном белой лайкой. Когда я первый раз села в эту машину, спросила:

— Чья такая красавица?

— Какого-то Рябушинского.

Я рассмеялась. Алеша сказал это так равнодушно, словно Рябушинский — слесарь Котляшкин или сапожник Козлов с нашей набережной. Но Алешу никакие имена не волнуют.

Когда они уезжают, мы остаемся с Надей одни. Отпускаем красноармейцев погулять и болтаем, сидя на топчане. Ее интересуют мои отношения с Алешей, и она без конца расспрашивает.

...После провала моей первой операции я была уверена, что Алеша на меня больше не взглянет. А он держался так, словно ничего не произошло. Очень быстро назначил на новую.

Наши отношения изменились после ночи в засаде. Это была тяжелая операция — многочасовая и многолюдная.

В большую коммунальную квартиру на Поварской мы приехали ночью, часа в 3—4. С нами был наряд красноармейцев. Сразу подняли всех живущих, собрали в самую большую комнату, где они вынуждены были, как умели, провести остаток ночи. Поднятые со сна, кое-как одетые люди сидели в напряженных позах, некоторых знобило. Алеша милостиво предложил поспать. Это звучало издевательски. Спать никто не мог. Ребятишки, закутанные в одеяла, хныкали на руках у матерей. Матери с ними шептались, а прочие молчали — говорить не положено.

С утра началась наша работа.

Первой пришла девушка-почтальон. Красноармейцы ввели ее в эту же комнату. Она плакала, говоря, что на работе, ей не отвечали: говорить не положено.

Алеша был как изваяние — ни слезы, ни просьбы, ни мольбы его не трогали. К нему обращались с вопросами, совали документы — он молчал с каменным лицом. Он все больше и больше заполнял комнату людьми. Пришла соседка занять у кого-то луковицу — осталась. Пришла ее дочь, узнать, что с мамой, — осталась. Оставались все, кто дотрагивался до звонка. В комнату снесли стулья со всей квартиры.

К середине дня нам принесли из буфета булок и еще какой-то снеди. К вечеру всех задержанных отправили на Лубянку. Жильцы провели ночь все в той же комнате. Алеша разрешил взять только спальные принадлежности.

Следующий день прошел тихо и мрачно. О квартире прошла дурная слава. Звонков больше не было. Продовольствия нам не прислали. Жильцы кое-как продержались на своих запасах. Люди были измучены: вторые сутки в чужой комнате, без дела. Вечером Алеша разрешил всем разойтись. Квартира рано затихла.

Мы вдвоем сидели на кухне. Нас почему-то не сменили. Шла третья ночь без сна. Алеша сидел, всем телом навалившись на стол, подперев голову руками. Я боком к нему, прислонившись спиной к столу, подобрал ноги в шубу, засунув руки в рукава. Дремали. Вдруг Алеша отчаянным голосом сказал:

— Усну! — и тоном приказа dokonчил: — Рассказывай чего-нибудь!

Не выполнить приказа я не могла и начала рассказывать «Вия». Почему именно «Вия»? Это была какая-то сложная ассоциация. Весь пережитый день. Кухня с закопченным потолком, шеренга примусов на черной плите, окно, заставленное грязными бутылками и банками, а особенно две узкие коричневые двери стенового шкафа напомнили полумрак церкви, гроб и перепуганного Хому Брута.

Я рассказывала тихим голосом, довольно вяло. Вдруг услышала Алешино дыхание — глубокое и редкое. «Уснул», — подумала я и от неожиданности замолчала.

Это был не начальник, который только что командовал, проводя операцию, а мальчик с округлившимися глазами, полуоткрытым ртом и малиновыми ушами.

На все операции, которые Алеша проводил сам, он обязательно брал меня. Смысла в этом я не видела. Не понимала, в чем моя помощь. Он так блестяще проводит всякое дело, что на мою долю оставалось только — при сем присутствовать.

Я спросила, зачем я ему нужна. Ведь, наверное, есть люди, которые помогали бы ему гораздо лучше. Он засмеялся и ответил:

— Значит, помогаешь.

Я спросила:

— Так положено?

Он опять засмеялся и ничего больше не ответил.

Однажды я должна была произвести личный обыск у женщины с ребенком. Женщина болела грудницей. Мне надо было разбинтовать ее и распеленать ребенка.

Когда мы вошли, женщина лежала. У нее была температура. Ребенок спал. Я вымыла руки, хорошо согрела их у лампы и подошла к ребенку. Мать приподнялась на подушках и смотрела огромными лихорадочными глазами. По лицу текли слезы. Я осторожно развернула младенца. Он, кстати, оказался мокрым. Завернула в сухое, осмотрела кроватку и повернулась к ней. Она протянула руку к детской кроватке и прошептала:

— Клянусь его жизнью, у меня ничего нет.

Я стояла в нерешительности. Что она может спрятать на своих нарывах такое, от чего бы погибла революция? Правильнее оставить ее сейчас со своими мыслями, чем причинить физическую боль и унижение. Я сказала:

— Я не буду вас трогать. Но помните, вы дали страшную клятву!

И уже не знаю, играла ли она или была искренней, она опять прошептала:

— Какое лицо! Какие глаза! Ангел! Как вы можете быть с ними?

Я ответила:

— Так же, как вы против нас, каждый борется за свои убеждения.

Я вышла к Алеше и сказала, что все в порядке, что у них ничего нет.

Я дала Наде слово заменить ее в новогоднюю ночь, за нее отдежурить. Мы сидели с красноармейцем вдвоем. Он дремал, а я читала. Было очень тихо. В церкви шла служба, и до нас доносились торжественные удары колокола. Я читала невнимательно, так как представляла, что все верующие молятся сейчас о патриархе и он это понимает и мысленно с ними.

А когда наступил Новый год и мы по благовесту поняли, что начали поздравлять, раздали тихие шаги. Удивленные, мы обернулись (патриарх никогда не приходил ночью), увидели его. В шелковой рясе, с большим золотым крестом на груди, с тщательно расчесанными серебряными волосами.

Он держал деревянный поднос, полный пряников, пастилы, орехов и яблок. Поставил на стол, низко поклонился и поздравил нас с Новым годом. Мы встали и тоже поздравили его, пожелав здоровья и удачи. А потом вскипятили чай, вызвали часового и великолепно втроем отметили Новый год.

А что было сегодня утром! Надя с Алешей приехали вместе. Надя, не раздеваясь, бросилась ко мне, обняла и целовала, приговаривая: «С Новым годом».

Алеша смотрел и смеялся, а потом сказал: «Мне завидно», — оттолкнул Надю, стиснул меня и тоже начал целовать, приговаривая: «С Новым годом».

Я еле от него увернулась и говорю:

— Ты все перепутал, так на Пасху здороваются, целуют и говорят: «Христос Воскресе», — а на Новый год так не положено.

А он ответил:

— Сегодня все положено.

Махнул рукой и пошел к патриарху. Я обернулась к Наде:

— Вы что, оба пьяные?

А она ответила:

— Спроси лучше, как я встретила Новый год, — и тут же сама сказала: — С Алексеем Рыбкиным!

— Вдвоем?

— Мы были в Большом театре на «Онегине».

— И он выдержал?

— Как видишь. Правда, когда мы вышли, сел на первую скамью, обхватил голову руками и, раскачиваясь из стороны в сторону, повторял: «Что ты со мной сделала!»

Я хохотала:

— Бедный парень! Целый вечер заставила любоваться классовыми врагами!

А Надя продолжала:

— Сегодня он попросил, чтобы я сводила его в картинную галерею. Хочет сам узнать, на что там смотрят и зачем она существует.

Я сказала:

— Ну, все, погиб боевой матрос, — и посоветовала начать с французских импрессионистов...

Мы с Надей вышли на стену погреться на солнышке. Парк потемнел, вид имел неряшливый. А Замоскворечье — еще хуже. Снег прокопченный, смешанный с соломой и конским навозом. Сани, лошади, вросшие в землю деревянные домишки. До нас долетал запах теплой конской мочи.

Надя брезгливо передернула плечами. Со снобизмом урожденной петроградки она сказала:

— Кошмар! Азиатчина! Не понимаю, как можно любить этот город? И никогда не примирюсь, что его сделали столицей.

Я взвизлась:

— Неужели ты не понимаешь мудрости этого решения? Петроград был столицей императорского государства. А у социалистического может быть только Москва! Она центр, она сердце, она душа России. А ее противоречия еще больше сближают и роднят ее со всей страной. Это, — я указала рукой на дикий пейзаж, — мелочи. Это будет изжито. Москва станет красивейшим городом России.

Последнее время Надя очень изменилась. Временами ее нельзя узнать. Она стала живая, веселая, даже озорная.

Сегодня, когда Алеша увез патриарха на Лубянку, она попросила побыть с ней. Я, конечно, с радостью согласилась. Мы прошли в стариковы комнаты. Там было чудесно. Весь терем залит солнцем. Все вокруг блестит. В открытые форточки вливается щебет птиц.

Надя спросила, кто мои предки.

— Самарские купцы.

— А мои — новгородские дворяне. Родись мы на три века раньше, жили бы в таком же тереме.

Она заплела косу, соорудила из полотенца подобие кокошника и, мелко перебирая ногами, плавной походкой прошла. Потом показала, как триста лет назад мы подходим под благословение патриарха и прикладываемся к его руке. А потом, низко кланяясь и разводя руки, пригласила боярышню Марьюшку отведать ее новгородских яств. Это у нее получилось хорошо.

Приведя себя в порядок, заложив свой обычный пучок, она предложила походить. Мы обнялись и бродили по всем комнатам, болтая о разной чепухе.

Нечаянно подошли к зеркалу и остановились, пораженные. Из мутного стекла на нас смотрели две женские головки. Это были мы и не мы. Черты стерты, и краски притусены, но от этого получилось неожиданно и красиво. Как на старинной акварели. Одна розовая, пушистая, с блестящими серыми глазами. Другая бледная, темноволосая, темноглазая, с пунцовым ртом.

Некоторое время мы смотрели молча. Потом Надя прильнула к моей щеке, прищелкнула языком и сказала:

— Ай да старик! Вкус не дурен! Каких девочек себе отобрал. Ландыш и гвоздика день и ночь услаждали его святые глаза!

Как только Надя ушла, передав мне дежурство, вошел патриарх. Он преобразился. Бодрый, помолодевший. В ладонях перед собой на папиросной бумаге он держал салфетку. Беленькая, с тонкой вышивкой, она казалась живой — вспорхнет и улетит. Патриарх сказал:

— Мария Александровна, вам известно, что сегодня вы последний раз у меня?

Я, улыбаясь, поздравила — арест снят.

Протягивая мне салфетку, он сказал:

— За заботу и внимание.

Я вспыхнула, поблагодарила и отказалась. Подарок от заключенного? Не положено.

А он, как бы прочтя мои мысли и покачивая салфетку, сказал:

— Это же не предмет. Материальной ценности он не имеет. Это символ, память о днях в Донском.

Разве против этого я могла устоять? Я завернула ее в папиросную бумагу и спрятала в сумку.

На второй день после моего возвращения из монастыря ко мне подошел Соловьев и тихо сказал:

— Пойдем со мной.

Сказал почти шепотом.

Я взглянула и поразилась. Он был бледный, растерянный и горестно глядел на меня. Когда мы вышли в коридор, я спросила:

— Куда?

— В коллегую, — все так же тихо ответил он.

— В коллегую? Зачем?

Я остановилась, ожидая объяснения. А он, опустив голову и ничего не отвечая, продолжал идти.

Я медленно брела, стараясь сообразить, зачем могут меня вызывать. Первая мысль была — салфетка. Не надо

было ее брать. Потом решила — из-за салфетки не станут вызывать в коллегую. За это мог отругать Соловьев, Ашмарин, наконец, Алеша. Чем же объяснить вызов?

Тут я заметила, что идем мы не вверх, где комнаты коллегии, а вниз, в столовую. У двери стояла вооруженная охрана. Соловьев открыл дверь, пропустил меня, а сам не вошел. Я замерла на пороге. Наша столовая была неузнаваема.

Огромная пустая комната, в глубине стол, покрытый красным. За столом вся коллегия. Дзержинский, Уншлихт, Менжинский, Ягода, наш Ашмарин и еще кто-то, человек семь или десять.

У меня перехватило дыхание. Это суд! За что? Я уже твердо знала, что салфетка ни при чем.

Чей-то голос: «Подойдите сюда».

И пока я подходила, тысячи мыслей мелькали в голове. Мне подумалось, что меня с кем-то спутали и что через минуту все разъяснится. Я остановилась у стола, стараясь выровнять дыхание. Мне было душно.

На огромном столе были графин с водой, телефон и мое личное дело — тоненькая папка в два листа, с такой же фотографией, как на пропуске.

Пока я шла через комнату, я не видела лиц. Я только чувствовала зловещий блеск очков, направленных на меня. Я чувствовала, что меня внимательно изучают.

Некоторое время стояла тишина. Потом — обычный анкетный опрос. Я отвечала. Вдруг чей-то горестный голос:

— Каких людей подвела!

И я вспомнила, что при поступлении за меня ручались Кржижановский и Воеводин. Это меня больно кольнуло, и тут же еще острее вспомнила — Алеша! Я чуть не застонала вслух. А как же он? Мог ли подвести его? И сама себе ответила — никогда!

И это придало мне силы. Я мгновенно стала спокойнее. Смогла наблюдать за всем происходящим.

После анкетного опроса некоторое время стояла тишина, и вдруг:

— Расскажите, как вы собирались бежать за границу?

Я ожидала чего угодно. Выискивала за собой любые промахи. Готова была отвести всяческие подозрения. Но этот вопрос был так нелеп, так ни с чем не вязался, что мне стало почти смешно. У меня окрепла уверенность, что это чистое недоразумение, что вместо кого-то вызвали меня. Поэтому я вздернула голову, даже, кажется, усмехнулась и очень твердо, отчеканивая слова, ответила:

— Этого никогда не было!

Теперь я понимаю, что мой ответ приняли за наглость. А тогда я была поражена мгновенной переменой, происшедшей за столом. Все подтянулись, приблизились ко мне и, как коршуны, стали закидывать вопросами, от которых я похолодела. Мне называли какие-то имена, которые я впервые слышала. Называли какие-то организации — я на все отвечала: «Нет».

Длилось это долго. Наконец я разобрала, что вопросы одни и те же, их только варьировали и произносили с разной интонацией. Я продолжала все отрицать. И вдруг с ужасом поняла, что ни одному моему ответу не верят. Что это бездна, из которой возврата нет. И мне стало все безразлично. Я начала отвечать вяло, только чтобы отделаться.

В этот момент Феликс Эдмундович стукнул кулаком по столу и крикнул:

— Ведь вы собирались в Аргентину?

Ах, Аргентина! Я мгновенно просияла. Живо обернулась к нему и сказала:

— Да, конечно. А почему я туда не поехала?

И тут опять перемена. Все откинулись к спинкам стульев и смотрели на меня растерянно и недоуменно. Их ошеломила моя радость.

Вдруг я вспомнила слово «бежать». Оно меня обожгло. От оскорбления я вся взъерошилась, обернулась к судьям и крикнула:

— Как это бежать? Куда бежать? Я никогда никуда не собиралась бежать! И ни при каких обстоятельствах не убегу с Родины! В Аргентину я ехала официально. Ехала туда на работу, в том числе на подпольную.

Я замолчала. На меня смотрели оторопело. Кто-то тихо спросил:

— Как официально?

— Я согласовала свой отъезд с комсомольской организацией.

Чей-то изумленный голос:

— С Бойковым?

— Да. И получила от него письменную инструкцию.

За столом была растерянность. Судьи переглядывались, перешептывались, кто-то вызывал Бойкова по телефону. Пока ждали его прихода, в комнате чувствовалось оживление. Закуривали, переговаривались, тихонько посмеивались. Я стояла нахмуренная, красная, бесконечно оскорбленная. Я не могла простить слова «бежать».

Бойков вошел и так же, как я, замер у двери. И ему так же, как мне, сказали: «Подойдите сюда».

Он бросил на меня ненавидящий взгляд и остановился рядом. А я злорадно подумала: ага, напыщенный индюк, наконец-то будет тебе настоящая неприятность! Его спросили:

— Вы знали, что она собирается в Аргентину?

— Знал.

— И вы дали письменную инструкцию?

— Дал.

Молчание. Переваживали ответ. Потом:

— Идите. С вами разговор особый.

Бойков сгорбился и прошаркал к двери. Феликс Эдмундович сказал:

— Сядь. И расскажи все.

Я села с ним рядом и рассказала, что в прошлом году пять тысяч детей с Поволжья собирались увезти на поправку в Аргентину. К ним нужны были воспитатели. Мой знакомый, Цирлин, предложил поехать. Я ответила, что прежде узнаю, как к этому отнесется моя комсомольская организация, и только после этого дам ответ. Поговорила с Бойковым, он ответил — обязательно поезжай — и сам написал, как вести себя там и как организовывать подпольную работу. После этого я взяла у Цирлина анкеты, заполнила их и дала свои фотографии.

Я кончила. В комнате стояла тишина. Слушали внимательно. Феликс Эдмундович сидел, опершись на руку, задумчиво разглядывая меня, он тихо спросил:

— Почему ты так долго от всего отпиралась? Почему не призналась сразу?

Я взглянула на него с упреком:

— Вы же спрашивали про границу. А я позабыла, что Аргентина тоже граница. Я думала, что граница — это только буржуазный запад — Берлин, Лондон, Париж, Нью-Йорк, а туда я никогда не собиралась.

Взрыв хохота заглушил мои объяснения. Я взглянула и догадалась, что их рассмешил не мой ответ, просто разрядилось тяжелое напряжение.

Наконец, Феликс Эдмундович потрепал меня по плечу и сказал:

— Иди, работай. Впредь будь осторожнее.

А к обеду вышел приказ, и в нем объявлялось, что т. Семенову десять суток административного ареста. Я спросила Соловьева:

— Что значит административный?

— С исполнением служебных обязанностей. Будешь работать, а ночевать в Домзаке.

И тут же отобрал пропуск. Только этого не хватало!

Приказ рассылается по всем отделам, и не только Надя с Алешей, а все учреждение извещено, что Семенова на десять суток арестована.

Не успел закончиться рабочий день, как за моим стулом вырос красноармеец с винтовкой. С таким кавалером я шла по Б. Лубянке до Домзака. На каждом шагу знакомые, у всех вытягиваются лица, а я принимаю независимый вид.

Красноармеец довел меня до двери и сдал внутренней охране под расписку, как пакет. Принявший отвел наверх и оставил в камере. Камера — пустая деревянная клетушка с нарами. Полутемно. Читать нельзя. По длинному коридору прогуливается часовая. Я подумала: здесь уютно может быть только мертвецки пьяному.

Часов в 10 пришел комендант. Шеголеватый одетый, в хромовых сапогах, выбритый, напомаженный, сильно надушенный. Он сел на нары, осмотрел меня бегающими черными глазами и сочувственно спросил:

— За что арест?

Я ответила:

— Вы же видели сопроводительную — «преступление по должности».

Неожиданно он положил руку на мое плечо и сделал гнусное предложение. Я отшатнулась. Он попытался применить силу. Я вскочила на нары и ногой отбросила его к двери.

Я приготовилась к длительной обороне, а комендант ушел.

Я выскочила в коридор и быстро заходила. Часовой предложил вернуться на место. Арестованным ходить не положено. Я смерила его взглядом и сказала:

— Оставь меня. Не хуже тебя знаю, что положено и что не положено.

Так мы ходили, встречаясь и расходясь в середине коридора. Когда устала, вернулась в камеру.

И вдруг он снова появился. На этот раз он остался в дверях и ласково, будто между нами ничего не произошло, стал предлагать отужинать. Не дождавшись моего ответа, комендант вынул коробочку и предложил золотое кольцо. Тогда я сказала:

— Вы, очевидно, не понимаете, с кем имеете дело? Я с утра буду в отделе и о вашем поведении доложу.

Он ушел. А я до утра просидела на нарах, не расстегнув пальто.

— Семенова, к Рыбкину!

У Алеши народ. Он кивнул:

— Посиди.

Я села сбоку от его стола, смотрела на него и старалась понять, зачем он меня вызвал. Он работал, как всегда, быстро и четко, без лишних слов. Наконец, он выпроводил последнего, закрыл дверь, потянулся, закинув руки за голову, ушел к противоположной стене и там остановился. Я сидела, а он, стоя ко мне спиной и не опуская рук, разглядывал голую стену. Я ждала, приходя во все большее недоумение. По его поведению можно было подумать, что он волнуется. Это было ново. Алеша никогда не волновался. Я не выдержала:

— Алеша, зачем ты меня вызвал?

Он молча подошел к столу, сел, достал из ящика большую коробку и не глядя подал.

Это оказалась не коробка, а книжный футляр, а в нем книга. В роскошном издании. Белый переплет, темно-красный корешок, такие же уголки, и золотом вытиснено: «Песнь песней» Соломона.

Я рассматривала книгу, поражаясь ее изяществу. Бумага кремовая, шрифт под славянскую вязь, каждая строфа с красной буквы. Я тихо спросила:

— Алеша, что это?

— Тебе.

— Подарок?

— Подарок.

Он на меня не смотрел и каждый ответ сопровождал мрачным кивком. И тут я совершила непростительную глупость. Я прищурилась, усмехнулась и сказала:

— Сам добавляешь мусору?

Он вскочил, вспыхнул, ногой распахнул дверь и гаркнул:

— Товарищ Семенова, ты свободна!

В первый момент мне хотелось ударить его или укусить, но вместо этого я выскочила на лестницу. И неслась по всем этажам, держа в одной руке книгу, а в другой футляр.

Весь остаток вечера я вспоминала зимнюю ночь в Донском монастыре. Было очень холодно, и мы во второй раз затопили. Я сидела перед печкой, на коленях лежала книга. В это время вошел Алеша. Он нам доверял вполне. Но проверять ночные посты было положено, и он изредка посещал нас. Его появления всегда радовали. Влетит, покрутится, пошутит и исчезнет. Сон развеян, ночь проходит быстрее.

Когда он вошел, я сразу увидела, как он промерз. Я подвинулась и сказала:

— Грейся.

Алеша сел, блаженно вытянул ноги, взглянул на мою книгу — «Жития святых» и покривился:

— Мура.

Я засмеялась:

— Духовные — мура, светские — труха, что же читать, товарищ начальник?

Он кивнул на печку:

— Сжечь ее надо.

Я ответила, что это проще всего, да как бы потом не пожалеть.

— Ты ведь не знаешь, что это такое. Пока греешься, я тебе почитаю.

Мы переговаривали шепотом, чтобы не потревожить патриарха. Я начала читать сказание о святой Агнессе. Длинные абзацы пересказывала своими словами. Когда кончила, спросила:

— Красиво?

Увиливая от ответа, он сказал:

— Сказки это.

— Конечно, сказки. Но красиво?

Он смилостивился:

— Ну, это можно оставить, а Библию надо сжечь.

Я возмутилась:

— В Библии есть вещи, прекраснее которых нет ничего на свете, — это Песнь Песней Соломона.

Алеша попросил:

— Расскажи.

— Ее рассказать нельзя. Ее можно только читать. Она хороша именно так, как изложена в Библии. В ней поет каждое слово, каждое выражение. Поэтому она и называется Песнь Песней!

В конце апреля Надя уезжала. Она уезжала совсем.

Мы приехали на Октябрьский вокзал пораньше, чтобы сдать багажом вещи, но все сделали быстро, и времени до отхода оставалось достаточно. Мне было больно терять ее. Не хотелось верить, что расстанемся навсегда. Я к ней привязалась и много от нее получила. Ее высказывания мотала на ус.

Когда объявили посадку, мы вошли в купе, разместили сумочки, и она сказала:

— Давай посидим здесь.

И тут же пошла к выходу, говоря:

— Душно, лучше походим.

Она ходила вдоль поезда быстро и нервно, не ходила, а металась, всматриваясь в проходящих. Я догадалась и спросила:

— Ты ждешь кого-то?

Она ответила:

— Кроме тебя, в вашей Москве у меня никого нет. Мне некого ждать.

Сказав это, она начала розоветь, а глаза повлажнели. Она смотрела поверх моей головы и все больше менялась. Я повернулась в сторону ее взгляда и увидела Алешу. Он не шел, а летел, более стремительный, чем всегда, и размахивал огромным портфелем. Алешу с портфелем я никогда не видала и не подозревала, что он у него есть.

Я тоже начала краснеть — после подарка мы еще не виделись. Я мучительно думала, как сейчас поздороваюсь, а главное, как мы будем держаться, когда, проводив Надю,

останемся вдвоем. Эти мысли меня так захватили, что я не заметила, как он с нами поздоровался, не слышала, о чем говорил с Надей. Я очнулась, когда заметила, что Алеша на чем-то настаивает, а Надя его отговаривает. Оказывается, он решил, что нам необходимо выпить пива. А Надя доказывала, что до отхода поезда остается семь минут и ни о каком пиве не может быть речи. Но что Алеша решил, он выполняет мгновенно.

Он мигнул носильщику, сделал выразительный жест, и носильщик, как фокусник, подал откупоренную бутылку и один стакан. Алеша поморщился и пальцами потребовал еще стаканов. Носильщик отказал.

Алеша, зажав коленями портфель, взял бутылку, налил и первый стакан подал мне. Я сказала: «За счастливую дорогу!» — и вернула стакан. Второй он подал Наде. Она посмотрела мне в глаза: «Не поминай лихом!»

В это время проводник предложил садиться. Надя поднялась на площадку. Алеша налил себе. Поезд начал двигаться. Он мгновенно осушил стакан, подхватил портфель и вскочил на подножку.

Я хотела спросить, что это значит. Но только успела взглянуть на них. Они смотрели друг на друга сияющими глазами.

Поезд ушел.

Осип МАНДЕЛЬШТАМ

Кто знает, может быть, не хватит мне свечи,
Среди левитов тьмы останусь я в ночи
И, зернами дыша рассыпанного мака,
На голову мою надену митру мрака,

Как поздний патриарх в разрушенной Москве,
Неосвященный мир неся на голове,
Чреватый слепотой и муками раздора,
Как Тихон — ставленник последнего собора.

Ноябрь 1917

Впервые опубликовано в газ. «Страна», 1918,
21 (7) апреля

Главному редактору журнала «Юность» товарищу А. Д. ДЕМЕНТЬЕВУ

Уважаемый Андрей Дмитриевич!

В сентябрьском (1989) номере журнала «Юность» опубликованы заметки «Тема с вариациями» Н. Каретникова, где я не без изумления обнаружил (страницы 81—82) свою фамилию в весьма странном контексте.

В этих «вариациях на тему» автор повествует о «сентиментальном путешествии» и о якобы имевшем место разговоре в вагоне поезда на пути в Коктебель...

Вынужден сообщить Вам, что, во-первых, никогда в своей жизни в Коктебель и обратно я не ездил. Не судьба, видно.

Во-вторых, никогда в жизни не случалось мне оказаться в одном купе с Мариэттой Шагинян или автором «вариаций». Вообще с Шагинян, как и с Каретниковым, не был удостоен чести когда-либо встречаться, не говоря уже о фантастическом путешествии в Коктебель.

В-третьих, автор заметок живописует меня в поблескивающим пенсне, украшавшем мою переносицу. Никогда, слава всевышнему, не носил я пенсне или другие окуляры, ибо

природа милостиво до сих пор полностью сохраняет мое зрение.

Наконец, в 1961 году я без выезда находился в Токио в качестве посла СССР в Японии. Обстановка не позволяла мне тогда выехать хотя бы в отпуск...

С уважением

Н. ФЕДОРЕНКО

Редакция передала это письмо Н. Каретникову и получила следующий ответ:

В публикации в 9 номере вашего журнала за 1989 г., в новелле «Сентиментальное путешествие», мною была допущена непростительная ошибка: моим собеседником я называю Н. Т. Федоренко. Тогдашнему моему собеседнику я не был представлен, и, когда позже заинтересовался его фамилией, мне ошибочно назвали именно эту.

Я приношу свои самые искренние извинения Н. Т. Федоренко и журналу «Юность» за безответственность, с которой незаслуженно приписал его доброму имени то, что не имело к нему ни малейшего отношения.

С искренним уважением

Н. КАРЕТНИКОВ

И это знакомое — как раз то, против чего журнал весьма последовательно — отдадим ему должное — борется и собирается бороться впредь.

«Труд», пишет Ю. Папоров, в таком виде «выходит в свет сегодня не имел права». Простите, что значит «сегодня»? Книга сдана в набор в декабре 1985 г., а подписана в печать в мае 1986 г. Конечно, с точки зрения вечности, 4 года ничтожная песчинка. Писать, будто книга увидела свет «сегодня», — значит подтасовывать очевидные факты, обманывать читателя. Жаль, что журнал, призывающий к борьбе с фальсификацией истории, допустил грубые передержки, тенденциозность.

Ю. ПОЛЯКОВ,

член-корреспондент Академии наук СССР

А. ЗЕВЕЛЕВ,

доктор истор. наук

Л. ШИШКИНА,

кандидат истор. наук

Уважаемый тов. Дементьев!

В № 1 Вашего журнала опубликовано документальное эссе Юрия Папорова «Белое солнце пустыни?..».

Мы не собираемся вступать в полемику с автором на страницах Вашего журнала. Не собираемся отмечать многочисленные фактические ошибки, содержащиеся в этом претенциозном материале, и характеризовать научный и публицистический уровень «эссе».

Не собираемся и спорить с концепцией автора, хотя убеждены, что реабилитировать басмачество, которое характеризовалось разгулом националистических страстей, изуверством, беспощадными расправами с «неверными», с женщинами, осмелившимися снять паранджу, с подростками, решившими учиться, — не имеют ни научной, ни моральной основы.

Переписав доклад К. Атабаева без соответствующих комментариев (доклад занимает большую часть статьи), Ю. Папоров восклицает: «Где мы читали хотя бы нечто приблизительное? на каких страницах тоннами выходивших в свет у нас книг — энциклопедий, трудов, учебников и романов — могли познать правду истории Советского Туркестана?» Считаем бесполезным говорить о претензиях Ю. Папорова на первооткрывательство, хотя историки знают, что доклад К. Атабаева на заседании Пленума ТуркЦИКа в июле 1922 г. хорошо известен и широко использовался учеными. Оставим на совести Ю. Папорова и его презрительное высокомерное отношение к трудам нескольких поколений специалистов — историков, прозаиков, поэтов, сценаристов, долгие годы освещавших историю борьбы с басмачеством, показывавших не только батальные сцены, но и сложности, трудности этой борьбы, вскрывавших в том числе многочисленные факты ошибок, правонарушений со стороны партийных, советских, армейских органов.

Но мы пишем это письмо не для того, чтобы поведать об очередной несостоявшейся сенсации. Мы обязаны высказать свое мнение по поводу политических обвинений, предъявленных нам, авторам книги «Басмачество: правда истории и вымысел фальсификаторов». Конечно, лестно, что нашу маленькую (13 п. л.), имеющую ограниченную задачу — рассмотреть зарубежную литературу о басмачестве книжку Ю. Папоров называет «фундаментальным трудом», но нельзя оставить без внимания его лишние хотя бы единственного аргумента, факта доказательства в подтверждение обвинений в наш адрес.

Мы пишем с единственной целью — выразить категорический протест против использования Ю. Папоровым метода навешивания политических ярлыков. Напомним, с какой лихостью это было сделано. Высказав отрицательное суждение о нашей книге, Ю. Папоров с потрясающей воображение логичностью пишет: «Появление этого «труда» не что иное, как ярчайшее доказательство наличия в партии противников перестройки». Подумать только: Ю. Папорову не понравилась книга, вышедшая в свет 4 года назад, — значит налицо «ярчайшее» доказательство того, что в партии «засели враги»! Элементарная логика подсказывает, что таковыми, по Ю. Папорову, являются авторы и издатели данной книги. Это не что иное, как политическое обвинение. Не считает ли уважаемая редакция, что подобные методы отдадут чем-то удивительно знакомым?

Ответ на письмо специалистов-историков

Письмо авторов книги «Басмачество: правда истории и вымысел фальсификаторов» главному редактору журнала «Юность», в связи с публикацией на страницах журнала моей статьи, достаточно убедительно свидетельствует о том, что пытаться переубедить ученых, разрабатывавших эту тему в период «развитого социализма», дело бесполезное. Необходимо заново составлять историю гражданской войны в Туркестане, как уже заново пишется история КПСС. Необходимо искать документы, которые еще уцелели (как стенограмма выступления т. Атабаева), опираться на рассказы живых свидетелей.

Разговор не об авторах книги «Басмачество» — они сделали, что могли и, хочется думать, не за ученые и почетные звания, а потому, что верили — так было надо! Беспокойство мое о тех, кому теперь предстоит это — историками созданное — переделывать.

Готов согласиться, готов принять, что пока еще в сознании подавляющего большинства граждан закреплено понятие «басмачества», которое характеризовалось разгулом националистических страстей, изуверством, беспощадными расправами с «неверными», с женщинами, осмелившимися снять паранджу, с подростками, решившими учиться. Но ведь так называемое басмачество родилось в ответ на действия тех, кто, верша народную революцию, вел противоправные действия — имеется в виду событие в Коканде. Мы не станем называть это изуверством, но отметим, что абсолютно все знающие люди сходятся в одном: именно с «событий в Коканде» и началось то, что в нашей литературе сегодня именуется басмачеством.

Далее — расправы «с женщинами, осмелившимися снять паранджу». Теперь многие видят, что делалось это вопреки здравому смыслу. В действительности речь следует вести о женщинах, которым предлагалось снять паранджу. Тогда! В тех условиях. А Ленин предупреждал: не торопиться. И прямо говорил, какими печальными последствиями поспешность может обернуться против дела рабочих и крестьян. Что и получилось!

Если бы не встрял в нашу историю Сталин со своей национальной политикой «иштыка и вагона», — то и тогда еще можно было попытаться сделать это лет через десять — двадцать, но не в двадцатые годы.

А борьба с религией в фантастически-религиозном крае? И какими методами?.. А базары? Их закрытие без какой-либо замены со стороны госсектора. Все это было верхом головоунытия. И невольно возникает вопрос: могло ли местное население, так хорошо поначалу принявшее новую власть, обещающую столько благ, допустить, что ее, эту новую власть, в их крае принялись строить эти люди? Нет, не могли! Так, значит, кто же они? Естественно — враги.

Вы, товарищи ученые, утверждаете, что вам хорошо известен доклад К. Атабаева. Не стал бы я на вашем месте лукавить. Или вы сознательно подставляетесь? Прежде мне было известно и я опустил из доклада несколько абзацев, заменив их отточием. Вы меня вынуждаете обнародовать один из них. Вот что говорил в июле 1922



Валентин
РЕЗНИК

☆☆☆

Да не тычьте в меня, ради Бога,
Интеллектом надменным своим.
Знаю я и Платона, и Блока,
Да и с Чеховым неразлучим.
И пока, пораскинув мозгами,
Вы сдавали семестры шутя,
Полунищего быта дитя,
Я, как дьявол, работал руками.
Но зато на загорбке у предков
Не сидел и не кланчил рубли
И чурался кусков и объедков,
Что вполне бы насытить могли.

☆☆☆

Душа художника чиста,
Наивна и бескомпромиссна.
Она читает жизнь с листа.
Не ведая иного смысла,
Чем только быть такой, как есть,
Без всякого влечения к позе,
Равно оказывая честь
И человеку, и березе.

☆☆☆

Все, о чем так безумно мечталось,
Все, чего так хотелось тебе,
Вдруг случилось, стряслось, состоялось,
Ветром счастья прошло по судьбе.
Но не стало ни прощя, ни легче
Быть на свете и ладить с людьми,
И по-прежнему жить больше нечем,
Если нет за душою любви.

☆☆☆

Что мне чьи-то тщеславные хлопоты,
Чья-то ловкость, находчивость, прыть.
Переполненный жизненным опытом,
Я не знаю, как дальше мне жить.
Неужели ж, удачами тертый,
Больше я не услышу вовек,
Как спокойно пошлет меня к черту
Дорогой для души человек.

☆☆☆

Я время торопил, я гнал его сквозь годы,
Я голос на него нередко возвышал.
Мне не хватало в нем то смысла, то свободы,
И я его не раз за это проклинал.
Оно меня вело своей рукою властной
Туда, куда подчас я не хотел идти,
Но вот оно прошло, и стало слишком ясно,
Что только с ним одним мне было по пути.

года председатель Чрезвычайной комиссии по борьбе с басмачеством, председатель СНК Туркестана, член Президиума ТуркЦИКа, член секретариата ЦК КП Туркестана, член Средне-Азиатского бюро ЦК РКП(б): «Командующий Ферганским фронтом т. Коновалов получает сведения о местонахождении басмачей, направляется в Базар-Курган и по дороге расстреливает всех встречных узбеков, боясь, что они могут передать сведения басмачам о продвижении его отряда. Отряд действительно сталкивается и выдерживает небольшую стычку с басмачами около Базар-Кургана. Уезжая, т. Коновалов предлагает крестьянам соседнего с Базар-Курганом села Никольского очистить Базар-Курган от басмачей. В течение 23-х дней крестьяне Никольского села «очищают» Базар-Курган, и «очищение» сводится к тому, что сперва «только» грабят, а потом расстреливают население, мужчин за то, что они сочувствуют басмачам, детей за то, что они в будущем могут стать басмачами. Три раза крестьяне села Никольского объявляли о том, что они в дальнейшем прекратят расстрелы и грабежи, чтобы местные жители, которые разбежались из кишлака, возвратились, и, когда последние возвращались, крестьяне снова напали и истребляли их. В третий раз, когда крестьяне объявили, что они теперь ничего не имеют против кишлачных жителей, так как всех басмачей здесь уже ликвидировали, они предлагают населению возвратиться и убрать трупы, чтобы их похоронить. Когда же возвратившееся население хоронило убитых, находясь на кладбище для исполнения похоронных обрядов, крестьяне и тут напали на них и залпами уничтожили последних». Следует спросить ученых, какие «соответствующие комментарии» они могут дать?

Уж если кронштадтские моряки в ответ на безобразия, творимые в их родных деревнях и селах, взялись за оружие, а они все как один участники Октябрьской революции, так почему мы туркестанских дехкан, оказавшихся в еще более сложной политической обстановке, не можем должным образом понять? И сказать честно, что так называемое «басмачество» не являлось никаким бандитизмом, не было изначальным неприятием Советской власти, а представляло собой результат, ответ и в конечном счете защиту своего очага, своей земли, на которой появились люди, пренебрегавшие устоями и традициями, не признававшие обычаев, но жаждущие власти.

Что же касается «политических ярлыков», то в статье их рассмотреть могли только те, кто сами превосходно умели их навешивать. То, что сейчас происходит в национальных республиках, может быть определено, как поиски английского империализма или американского ЦРУ лишь в ваших научных кабинетах. В действительности это закономерный финал нашей с вами, «специалисты-историки, прозаики, поэты и сценаристы», деятельности, дело наших собственных рук.

И потому я не вижу иного начала разрешения «национальной проблемы», как в раскрытии правды об истории становления Советской власти в республиках Средней Азии и Кавказа и признания ошибок. Только после этого возможно дальнейшее ведение разговоров на тему о том, что сегодня, мягко выражаясь, так слабо нас украшает. Неужели надобны удары по голове, кровь, чтобы понять истину...

Насколько это так, хочу проиллюстрировать выдержкой лишь из одного письма. Шамиль Абулаевич Сергазиев пишет: «Совершенно согласен с Вашей точкой зрения, что «разговор об истории басмачества в Средней Азии, очищение этих страниц прошлого от лжи есть один из непеременимых путей в решении межнациональных вопросов» и далее: «Эта память — тяжелый груз на душах и в сознании людей Советского Востока. Сегодня наша задача — снять этот груз рассказом о том, как было...».

Юрий ПАПОРОВ

Февраль 1990 года

Парижское метро

Феликс КРИВИН

В МЕСТЕЧКЕ ПАРИЖЕ



¹ PARDON — ИЗВИНИТЕ

² MERCI BIEN — БОЛЬШОЕ СПАСИБО

Метро — содружество ног и колес: тем и другим хватает работы. Не зря считают, что это самый быстрый вид транспорта: колеса вертятся, ноги бегут — вот и получается удвоенная скорость.

Метро — это книга, которая в отличие от телевизора требует собственных усилий и напряжения, — причем книга не в уютном и безмятежном одиночестве, а в публичной — ого, еще какой публичной! — библиотеке, где один читает, другой висит в воздухе в ожидании места, чтоб почитать, третий, захлопнув книгу, устремляется к дверям, как будто навсегда утратив интерес к чтению.

Правда, все это не относится к парижскому метро. В парижском метро никто никуда не устремляется, спокойствие первым входит в вагон и покидает его последним. Никто никого не толкает, а если толкнет, тотчас извиняется. А если не извинится, на него посмотрят с удивлением и будут смотреть до тех пор, пока он не извинится.

Толкать и извиняться — мы бы так не смогли. Мы бы так постоянно опаздывали на работу. Либо толкать, либо извиняться. Мы предпочитаем первое, потому что оно быстрее.

Пardon. Pardon. Еще pardon.

Мы живем среди вежливых и невежливых слов, и по тому, каких слов больше, судят об уровне цивилизации. В парижском метро, по-видимому, больше вежливых, чем невежливых слов. И не только в метро — во всей Франции. Французские вежливые слова — pardon, мерси — известны всему миру, а кто знает французские невежливые слова? Как по-французски «скотина»? Или «сам дурак»?

Пardon за эти невольные выражения.

Но зато у них, в парижском метро, не принято уступать места. У нас принято, хотя мы, конечно, тоже не уступаем. Мы сидим, уткнув носы в книгу, чтобы не видеть, кому там что уступать, поэтому мы — самая читающая публика.

Французы читают меньше. Может быть, им кажется невежливым не смотреть на человека, который стоит рядом или висит, тем более что смотрят они всегда благожелательно, с большой симпатией, но места все же не уступают. Мы тоже не уступаем, но при этом смотрим без всякой симпатии.

Если в вагоне метро одно свободное место, молодой парижанин не предлагает его своей девушке (тем более чужой). Он садится сам, а девушку усаживает к себе на колени.

Если рядом с ним освобождается место, он не предлагает его занять своей девушке. Он продолжает держать ее на коленях.

Если освобождается весь вагон, молодой парижанин продолжает держать свою девушку на коленях, — может быть, приучая ее к экономии, что так необходимо в семейной жизни.

Если вагон идет в парк, если он сходит с рельсов, если в нем вспыхивает пожар, наводнение, эпидемия, — молодой человек продолжает держать свою девушку на коленях.

Женщины Парижа до того хороши, что даже некоторые мужчины пытаются им подражать и одеваются так, как они, и занимаются тем, чем обычно занимаются женщины.

Но с талантом быть женщиной, как и со всяким

талантом, нужно родиться. Кто с этим не родился, пусть займется чем-нибудь другим.

Самое поразительное, что никто не спит, — это главное отличие парижского метро от московского. Неизвестно, когда эти люди спят, но в метро они бодрствуют. То ли они не устают на работе, то ли высыпаются в своих ночных барах, — у нас нет ночных баров, поэтому человеку просто негде выспаться.

Парижанин в метро не спит, он живет полной жизнью, и естественно, что ему хочется закурить, сплюнуть под ноги окурки и, залепив уши наушниками, слушать индивидуальный концерт. И все это не развязно, не вызывающе, а вполне интеллигентно: закурил, сплюнул, закинул ноги на свободную скамейку — и слушает концерт.

Родословное дерево

Мы ехали в метро с Жан-Мишелем, моим парижским другом, а может быть, даже родственником. Да, возможно, и родственником, теперь это не страшно сказать.

У многочисленных парижских родственников Жан-Мишеля имеется большое родословное дерево. И они искали меня на этом дереве, чтоб я мог считаться законным родственником, а не каким-то сомнительным однофамильцем. И я тоже искал себя на этом дереве, потому что в наше время иметь родственников за границей — это уже ничего, сегодня даже самые компетентные органы не могут к этому придраться.

Мне было неудобно, что меня все ищут, а я отсиживаюсь где-то совсем на другом дереве, и я сказал, что мою веточку к их дереву можно привить, у нас для этого существует специальная мичуринская наука. Но они предпочитали, чтобы я просто нашелся у них на дереве, на их замечательном родословном дереве, которое уходит корнями в самую глубь далекого 1830 года.

Дальше уже ничего не видно. Дальше уже Адам, на дереве которого разместилось все человечество.

В старые времена — не такие, конечно, старые, как времена Адама, я очень гордился тем, что у меня нет родственников за границей. За всей границей — ни одного родственника!

Я иногда путешествовал по карте, чтоб повидать белый свет, и с удовольствием убеждался, что ни в Занзибаре, ни в Гваделупе у меня нет ни одного родственника. И на знаменитый вопрос анкеты, есть ли родственники за границей, я с полным правом писал магическое слово из трех букв.

Нет! За границей родственников НЕТ! Все мои родственники по эту сторону границы!

Однако анкета не успокаивалась и задавала следующий коварный вопрос: владею ли я иностранными языками?

Шутите! У меня на это все то же волшебное слово: нет. Если у меня за границей никого нет, спрашивается: зачем мне владеть иностранными языками?

Французский русский язык

Раньше я не знал, что владею иностранными языками. Правда, не в полном объеме, а выборочно.

Едва я ступил на землю Франции, как русские слова стали обнаруживать свое французское происхождение, а может быть, даже свою французскую сущность. Оказалось, что русское слово «тужурка» таит в себе *toujours* — «всегда». То есть тужурка — это куртка на каждый день. Но и куртка таит в себе французское слово *court* («короткий»). То есть куртка — это короткий жакет. А что такое жакет? Читаем: «от *franc. jaque* — «куртка». Круг замкнулся, не покидая фран-

цузского языка, но в то же время не оставляя пределы русского.

Оказывается, во французском языке нет ничего сложного для того, кто знает русский язык. Французам даже иногда бывает трудней разобраться в своем языке, чем нам на свежую русскую голову.

Я у них спросил: какое во французском языке самое кошачье выражение? Не в кошачьем французском, а во французском кошачье. И они не знали.

Я им говорю: кес-ке-се — вот самое кошачье выражение. Оно почти такое же, как наше «кис-кис», хотя по-французски означает вопрос: «что такое?»

Сколько раз, бродя по Парижу, я задавал себе этот вопрос. У нас ко мне бы сбежались все кошки. А здесь — никакой реакции.

Оказывается, французы никогда не обращаются к кошке: «кис-кис». Они подзывают ее по имени, как человека. Мосье Леон, можно вас на минуточку?

Все-таки я не терял во Франции времени зря: два выражения я выучил — кошачье и собачье. Кстати, ни один француз не мог мне сказать, какое во французском языке самое собачье выражение. Они его не знают, а я его изучил. И, покидая Париж, я сказал французам французское *оревуар*, но не так, как оно написано в словаре, а так, как французы его произносят.

Я сказал им: «Ав-ав!»

Чтобы общаться с французами, не обязательно знать их язык, достаточно знать несколько общеупотребительных русских выражений.

Перестройка по-французски

Мы ехали с Жан-Мишелем в метро и говорили о нашей перестройке. По-французски перестройка — широко распространенное русское слово *reconstruction* — реконструкция, но означает не только реконструкцию, но и восстановление, реставрацию (*restauration*), и это вызывает озабоченность: не станет ли перестройка в нашей стране восстановлением старых порядков? На всякий случай французы называют перестройку по-нашему — перестройкой, а не по-своему — *reconstruction*.

Слово «перестройка» настолько прижилось во французском языке, что им можно обозначать даже некоторые другие понятия. Когда, сидя за рулем своего «пежо», жена Жан-Мишеля Жаклин вынуждена слегка притормаживать, она объясняет мне факт торможения: «Медленно, медленно... перестройка». То есть так же медленно, как у нас идет перестройка. На шоссе, как и в нашей перестроенной жизни, разные случаются обстоятельства, но тормозить может только тот, кто сидит за рулем.

Что касается моего друга, а может быть, даже родственника, то он верит в нашу перестройку, и вера его тем незыблемее, чем меньше ему приходится перестраивать собственную парижскую жизнь. Он только не совсем понимает, почему перестройку нужно осуществлять медленно, все еще, видимо, находясь под впечатлением слова «ускорение», которое во время стремительно ворвалось в нашу жизнь и так же стремительно из нее вырвалось. По-французски «ускорение» — *accélération*, акселерация, тоже слово, известное в русском языке. Но тут возникает вот какое сомнение: если ускорение нужно делать медленно, то, может быть, замедление нужно делать быстро? Возможно, тут какая-то неперевожимая игра слов, поэтому французы и «ускорение» предпочитают не переводить на французский.

От игры слов получают удовлетворение только слова, потому что мы в этой игре не участвуем. Иногда мы даже становимся жертвами этой игры. Например, в столь памятной нам игре слов: «Советское — значит

отличное», — как теперь выяснилось, «отличное» означало не хорошее, а просто отличное от другого. Такое, какого в мире вообще нигде нет — ни в том же Занзибаре, ни в той же Гваделупе.

Или такая игра слов, как «Вся власть Советам». Мы ее воспринимали как всю власть Советам депутатов трудящихся, а оказалось, что это советы руководящего аппарата, как и что делать и депутатам, и трудящимся, то есть советы не в качестве органа государственной власти, а в качестве наставления, как должна вести себя эта власть, чтобы руководящий аппарат остался ею доволен.

Так, может быть, замедление ускорения — это скрытое ускорение замедления?

Парижское метро — это сплошное ускорение и замедление: только набрали скорость — опять замедляем, опять набрали — опять замедляем... Расстояния между станциями очень короткие, ускорение систематически переходит в замедление, поэтому нужно быть начеку, чтобы не проехать свою остановку.

Женщины Парижа

Я знал ее прабабушку, а теперь гуляю с ней по Парижу. Но это не потому, что я такой старый. Очень многие знают ее прабабушку, причем не в старости, а в самом расцвете...

Ее прабабушка на картине Ренуара «Портрет Жанны Самари». Далеко не всем известна актриса Жанна Самари, но портрет Самари знают все. Он в Москве, в Музее изобразительных искусств, он на многочисленных репродукциях.

Нередко бывает так, что портрет становится известней своего прообраза. Кто такая Мона Лиза? Каждый скажет, что это портрет. А Джоконда? Тот же самый портрет. А с кого нарисован портрет? Предполагают, что женщина эта жила во Флоренции.

Гений, если дает жизнь, то дает на века, этим он отличается от обычных родителей.

И вот я гуляю по Парижу с правнучкой ренуаровой Самари и одновременно невесткой моего друга Жан-Мишеля. Сын художника считал всех, кого коснулась кисть Ренуара, одной семьей — так родословное дерево Жан-Мишеля и его родни переплелось с родословным деревом великого Ренуара.

На свете очень много родственников. Гораздо больше, чем мы предполагаем.

Но Катрин Самари не просто родственница. Она крупный экономист, профессор Парижского университета.

Я впервые разговаривал с таким крупным экономистом. Появилась возможность поговорить о рыночных отношениях, о которых сейчас столько пишут.

У нас нет рынка. У нас вместо рынка базар. Вместо рыночных отношений базарные отношения. А купить ничего невозможно. Потому что рынок — это рынок, а базар — это базар.

Я однажды в Париже пошел на базар. Но и этот базар оказался не базар, а рынок. Ни крика, ни толкотни, все держится интеллигентами, торговыми представителями, — и покупатели, и продавцы, и даже продукты, которые представляют собой самое избранное общество.

Тут, конечно, все дело в продуктах. Когда не хватает продуктов, трудно сохранить приличные отношения, и тут рынок превращается в базар...

Но с Катрин мы встретились не для того, чтоб вести экономические разговоры, мы встретились, чтоб прогуляться в саду Тюильри.

Это очень старый сад, он заложен еще в шестнадцатом веке. Два века здесь был королевский дворец,

потом здесь же низложили короля и созвали Генеральные штаты, здесь заседало Национальное собрание, а потом опять был дворец короля, пока не сгорел во время Парижской коммуны.

Катрин обращает мое внимание на зеленую обнаженную женщину, расположившуюся на садовом газоне. Это ее знакомая — не скульптура, конечно, а женщина, которая в ней изображена. Это Дина Верни, парижская певица, по происхождению русская. А скульптура работы Аристиды Майоля.

Французские нравы. Женщина живет в Париже, поет, а скульптура ее стоит голышом посреди городского сада.

«Сейчас она уже старая», — говорит Катрин.

Ну, если старая, тогда конечно. Ей хочется, чтоб люди видели, какая она была молодая, а здесь они могут удостовериться.

Мы подходим к другой скульптуре. «Это тоже Дина», — говорит Катрин. Как, и эта? Да, и эта. И третья, и четвертая. И все работы одного скульптора. Наверное, он любил эту женщину. Любил, потому и лепил.

Девятнадцать скульптур русской женщины украшают Тюильрийский сад, в котором был когда-то Тюильрийский дворец и до сих пор стоит Триумфальная арка. Вот это настоящий триумф! Куда там триумфам Людовиков и Наполеонов!

Я уже не сомневаюсь, что Майоль любил эту женщину. Невозможно без любви лепить женщину столько раз.

На другой день выясняется еще одно обстоятельство. Оказывается, скульптор Майоль был старше Дины на пятьдесят восемь лет — разница для любви довольно существенная. Когда ей было семнадцать, ему было семьдесят пять, в таком возрасте лепить женщину довольно затруднительно.

И еще выясняется одно обстоятельство: большинство этих скульптур Майоль вылепил тогда, когда Дины Верни еще не было на свете. Хотя никто не отрицает художественного предвидения.

В альбоме скульптора Аристиды Майоля удалось обнаружить только два рисованных портрета Дины Верни и один этюд, на котором она представлена примерно в том же виде, что и скульптуры в саду Тюильри. Но кто увидит этот альбом? А ей так хотелось, чтоб люди удостоверились... Ведь сколько ни кричи времени: «Верни!» — оно ничего не возвращает.

Наверное, скульптуры в саду Тюильри — это все женщины Парижа, но каждой хочется, чтоб это была она. И хочется той, которая с ней лично знакома.

И, может быть, это женщины не только Франции, но и России. Кричит Россия Франции, кричит Европе, Америке: «Верни, верни!»

А они не возвращают. Очень многих пришлось бы возвращать. Сколько у России талантов раскидано по белу свету! Если всех вернуть, богатейшая будет страна.

Под крышами Парижа

Дома вдоль улиц расположены так, что задние выгладывают из-за спин передних: каждому хочется, чтоб его видели. В других, менее разноэтажных городах видишь только передних, они все заслоняют собой, и если они серые и однообразные, то и весь город выглядит таким.

Красота Парижа складывается из множества красот, каждая из которых имеет право на то, чтоб ее видели. Демократизм необходим архитектуре, тотальность для нее губительна, как и для каждого общества, в том числе и сложного из камня.

В Париже камень особенный. В любой стене он

умеет сложиться так, чтоб выразить свою индивидуальность. А где индивидуальность, там и красота, мы об этом забываем, стремясь добиться всеобщей, государственной красоты в ущерб индивидуальности.

Красота в ущерб индивидуальности — это мода. Ее вершиной считается парижская мода. Но Париж — это не мода. Париж — это Париж. Он весь разный, разноэтажный, а мода — это унификация, это равнение направо и с левой ноги — шагом марш! Где тут индивидуальность? В ноге? В плече? Что-то в этом строю не видно голов...

Голова здания — это крыша. Тоталитарная архитектура этого не учитывает, она, как и всякое тоталитарное общество, стремится, чтоб поменьше было голов, — во всяком случае, чтоб их не было видно. У небоскребов не видно крыш, поэтому вид у них довольно бессмысленный.

Видно, не зря во Франции существовал закон, ограничивавший этажность зданий. Этот закон вынудил архитектора Мансара пойти на хитрость, добавляя под самой крышей этаж. Для этого крыша, как шапка, низко надвигается на лоб здания, и в крыше прорезаются окна, за которыми дополнительное жилье, обошедшее закон сверху, со стороны крыши.

Эти этажи, названные мансардами в честь изобретательного архитектора, украшают многие города Европы, но в современной архитектуре их не встретишь. В современной архитектуре вовсе не видно крыш.

Париж — это город крыш, это торжество индивидуальности над безликой и серой массой. Здесь не хочется равняться направо и налево, следуя команде, поданной откуда-то с Эйфеля, — оттуда, мол, с башни, видней.

В пригороде Парижа на тротуарах красный асфальт. Кто-то может сказать, что тротуар возомнил себя крышей. Это крыши красные, а тротуару положено быть серым. Но если серым быть не хочется? Пусть он по положению — ниже некуда, но право быть красивым в Париже — для всех, и что это за красота, если она определяется положением?

Дом Гоголя

Меня преследует в Париже число 12. В доме № 12 по улице Кортко жил Ренуар. В доме № 12 на Вандомской площади скончался Шопен. В доме № 12 на площади Биржи Гоголь писал «Мертвые души».

В доме Гоголя сейчас банк. Привалило денег, но это уже после Гоголя, сам Гоголь такой радости не дождался.

И другой радости не дождался: нигде на здании не упоминается, что он здесь когда-то жил.

Материальное торжествует над духовным. Площадь Биржи, банк... Здесь начинались «Мертвые души», но в них была живая душа. А какая душа в этих банковских ассигнациях?

Никого не интересует их душа, всех интересует их покупательная способность. Может, в наших рублях души больше, чем в американских долларах, но помимо этого — ничего. Как говорится, в чем душа держится... Только и смотрим, как бы выменять душу наших родных рублей на чью-нибудь покупательную способность.

Ирэн, с которой мы приехали к банку, сохранившему покупательную способность, но утратившему память о Гоголе, предложила мне в утешение: «Давай поедem к дому Бальзака».

Но отсюда не сразу уедешь. Здание биржи напротив дома Гоголя имеет довольно романтическую историю. Оно было построено на месте женского монастыря, после чего в него вообще перестали пускать женщин. Либо одни женщины, либо ни одной — такова была участь этого злополучного места.

И напротив такого здания — дом, где создавались бессмертные «Мертвые души»! С дамой, просто прекрасной, и с дамой, прекрасной во всех отношениях. И, конечно, с Коробочкой — королевой всех гоголевских дам.

Ну, а как отнестись к тому, что Чичиков, первый русский капиталист, создавался напротив биржи, в будущем банке? Не оттого ли в нем черты не столько настоящего, сколько будущего?

Ох, это их будущее! Все было б ничего, если б оно не было нашим настоящим. «...Образовалась комиссия для построения какого-то казенного весьма капитального строения... Комиссия немедленно приступила к делу... Но климат что ли мешал, или материал уже был такой, только никак не шло казенное здание выше фундамента. А между тем в других концах города очутилось у каждого из членов по красивому дому гражданской архитектуры: видно, грунт земли был там получше».

Что это — их будущее или наше настоящее? В этом пророческом отрывке особенно умирительно слово «очутилось». Не украдено, не награблено, а просто очутилось. И весь секрет в том, что здание казенное, чего его жалеть? Сколько у нас таких выражений: «у меня ноги не казенные», «у меня руки не казенные», — если б казенные, тогда б не жалко. А все эти казенные строительства, в том числе и казенное строительство светлого будущего... Хоть фундамент заложили, спасибо и на том. Чем меньше построишь, тем меньше потом перестраивать.

Дом Бальзака

Дом Бальзака на улице Ренуара. Не художника Ренуара, а Ренуара-писателя. Почему-то из этих двух писателей для названия улицы выбрали не Бальзака, а Ренуара, может быть, потому, что он был членом Французской академии. Бальзак тоже был членом Французской академии, но не этот Бальзак, которого все знают, а другой, которого знают только некоторые. Жан-Луи Бальзак. А мы приехали к дому Оноре.

Современность нередко расходится во взглядах с историей. Она не тем воздает по заслугам и не то считает заслугами.

Дом Бальзака утопает в зелени и, как положено утопающему, находится где-то внизу. Мы спускаемся к нему по ступенькам.

На пороге нас встречает служитель музея, явный китаец или японец — свидетельство того, что Бальзак — явление международное. Как и наш Гоголь. И так же, как у Гоголя, у него почти нет биографии. Потому что он почти не жил, в сущности он только писал. От его жизни сохранились лишь портреты его родственников, знакомых, современников. Немногие вещи писателя. Книги. Газетные отклики на книги. Газетные отклики на газетные отклики.

Кабинет Бальзака. Большое кресло и маленький стол. Трудно поверить, что на таком маленьком столике можно создать такую большую литературу. Что можно из такой скудной и неинтересной собственной жизни создать такую огромную и захватывающую литературную жизнь.

В садике возле дома скульптура Бальзака и перед ней поставлен стул, чтобы каждый желающий мог сфотографироваться у подножия Бальзака. А кто не желает? Все желают. Бальзак спокойно смотрит, как люди сменяют друг друга на стуле у его ног, понимая, что такова природа людей и такова природа стульев.

От Бальзака мы едем по улице Пасси, где жили русские эмигранты. Они говорили: «У нас в Пассах». Они, как дети, во Франции играли в Россию.

Пантеон

Пантеон — это своего рода мавзолеев, только люди в нем не под стеклом, а в закрытых гробницах. Так, конечно, лежать спокойней: намного меньше посетителей и никто не забирается наверх, чтобы принимать парады и демонстрации.

Жан-Жак Руссо лежит в деревянной гробнице, слово прилежало ненадолго и в любую минуту может встать. И к гробнице его приделаны ручки, чтобы в ней можно было путешествовать. Вечный странник Жан-Жак, разве можно его остановить навсегда?

А напротив, у Вольтера, гробница мраморная и вдобавок статуя в полный рост. Тут уже ручки не помогут, да они и не нужны: куда уходить от себя, даже мраморного?

В небольшом помещении, как в гостиничном номере на двоих, Гюго и Золя. На гробнице Гюго — национальный флаг Франции... А на гробнице Золя флага нет. И вообще здесь похоронен не Золя. Здесь похоронено сердце Золя, а сам Золя — на кладбище Монмартра.

Остальная часть Пантеона на ремонте. Все требует ремонта, в том числе и бессмертия.

Ирэн могла бы сказать больше по этому поводу, но, как истинный врач, она не верит в бессмертия. Как истинный врач, она верит только в ремонт.

Парижская опера

Я вошел в Парижскую оперу со скрипкой...

Ни в одно здание я не входил со скрипкой, я решил начать с Парижской оперы.

Всю жизнь я знал, что Одесская опера — вторая в Европе. Первая по красоте — то ли Венская, то ли Парижская. И теперь я мучительно вспоминал: Венская или Парижская? Хотелось, чтоб Парижская. Потому что в Одесской я бывал, теперь вот в Парижской побывал. А в Венской я не был, так что будет обидно, если именно она окажется самой лучшей в Европе оперой.

Троцкий утверждал, что Париж похож на Одессу, только Одесса лучше. Думаю, что одесситы на меня не обидятся, если я скажу, что Троцкий ошибался. Конечно, сказать, что Троцкий ошибался, никогда не требовало особого мужества, но тут я должен заметить, что в своей оценке Парижа он был частично прав. Париж действительно похож на Одессу, только в обратную сторону: не Одесса лучше, чем Париж, а Париж лучше, чем Одесса. Надеюсь, что это противоположное направление направит меня от обвинений в троцкизме.

Итак, я вошел в Парижскую оперу со скрипкой...

В интересах скромности придется сказать, что скрипка была не моя, а моей парижской приятельницы. Я только нес эту скрипку, причем делал это очень старательно, потому что Айман то и дело предупреждала: осторожней со скрипкой!

У нее была какая-то особенная скрипка, и это только повышало мои козыри, когда я входил в здание Парижской «Гранд-опера». Здание ведь это тоже особенное: красный порфир из Финляндии, черный порфир из Бельгии, зеленый мрамор из Генуи. Да еще аметист из недр Монблана, гранит из Шотландии... А тут еще я из Ужгорода и Айман из Алма-Аты... Да, Айман-парижанка, но вообще-то она из Алма-Аты. Парижане в Париже из разных мест, в том числе некоторые из Парижа.

Жаль, что к опере не подходит пословица: лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Потому что увидеть эту оперу тоже хорошо. Мы и пришли в такое время, когда она была открыта только для обозрения.

Я ходил по Опере со скрипкой, и все думали, что я сейчас начну играть. Потому что в Париже где только не играют на скрипке. Тем более в Опере.

Потолок в зале Парижской оперы расписал Марк Шагал, наш соотечественник, ставший к тому времени французским соотечественником. Многие наши соотечественники стали чужими соотечественниками, и от этого чужие страны обогащались, а наша беднела, хотя и категорически отказывалась это признать. И она говорила: кому он нужен, этот Шагал! Кому он нужен, этот Ростропович!

У наших энциклопедий хронический склероз: стоит человеку удалиться за пределы страны, как он моментально исчезает у них из памяти. И даже Троцкого в наших энциклопедиях нет, хотя он, как истинный патриот, ценил Одессу больше Парижа. Троцкизм есть, а Троцкого нет. А если Троцкого нет, откуда же, спрашивается, взялся троцкизм?

Жаль Одесскую оперу, ее уже никогда не распишет Шагал... Но, может быть, в ней когда-нибудь сможет сыграть Ростропович?

Гора Мучеников

У нас в стране горы Мучеников нет, хотя гор много, не говоря уже о мучениках. У нас если гору и назовут, то скорей горой мучителя, а не мученика. Самая высокая в стране вершина у нас носила имя Главного Мучителя. А потом ее переименовали в пик Коммунизма.

Пик Коммунизма — прекрасное название. Но в последнее время некоторые сомневаются: может, он, коммунизм, и есть наш главный мучитель? Пока его достигнешь, через все муки пройдешь, а достигнуть все равно невозможно.

В общем, мук много, а горы Мучеников нет. Есть горы мучеников в смысле большого числа, а не в смысле географического названия.

А в Париже, в центре Парижа, — гора Мучеников. Здесь когда-то отрубили голову святому Дионисию, по-местному Сен-Дени, и он прошел шесть километров со своей отрубленной головой, пока сообразил, что ему ее отрубили. У нас так не бывает, чтобы голову под мышку — и вперед. У нас если уж отрубят — шагу не сделаешь.

За полторы тысячи лет после казни Святого Дени мученики на горе обжились, но тут грянула Великая революция. Полетели головы, но, чтобы их рубить, не станешь всякий раз подниматься на гору. Революция рубила головы в другом месте, а на гору поднялась лишь затем, чтоб разрушить то, что до нее было построено.

Долго после этого гора пустовала, а потом на ней построили церковь Святое Сердце. И у входа поставили двух всадников с обнаженными мечами: чем святее сердце, тем больше нужно его защищать.

У одного всадника меч направлен вверх, у другого вниз. Это при желании можно прочитать так: мы войны не хотим (меч вниз), но (меч вверх) постоять за себя готовы.

Мы сидим в бистро на площади Холма, в самом центре горы Мучеников. «Бистро» происходит от русского слова «быстро». Когда в прошлом веке русские казаки заняли Париж, они очень спешили занять остальную Францию, а потому поторапливали официантов: «Быстро, быстро!» Отсюда бистро.

На горе Мучеников давно не рубят головы, их рисуют. И каждый желающий может под мышкой унести свою голову на память о посещении этой горы.

Гора Мучеников... Это она по-русски так страшно

звучит. По-французски — просто Монмартр. Ничего страшного.

Кладбище Пер-Лашез

Мертвый город в городе живом. И на могилах домики, чтоб мертвые могли жить, как живые. А они не живут. Даже окошки прорезаны в домиках. А они все равно не живут.

На кладбище Пер-Лашез все домики — это склепы.

Много памятников, а памяти нет. На всех памятниках печать забвения.

Мы долго искали могилу Мольера. Нам казалось, что это должно быть нечто грандиозное. Горы мрамора. Море цветов. Но все горы и моря обходили могилу Мольера. Они возвышались и прославляли других, бесследно канувших в прошлое и зацепившихся за эти надгробные камни. А величайшего человека Франции нет. Его не видно. Весь мир его прославляет, а здесь он в безвестности. Говоря словами его Жеронта, какой черт занес его на эту галеру?

Но вот и его могила. Могила. Нет никакого памятника. Небольшая гробница — только и всего. С трудом можно прочесть фамилию, из которой выпало несколько букв. Выпало и выпало, все равно этого никто не читает.

Рядом с могилой Мольера в той же оgrade приютилась еще одна могила, такая же забытая. Кого-то подселили к Мольеру. Может быть, кого-то из родственников?

Нет, это не родственник. Это Лафонтен.

Он и при жизни не имел своего угла, и после смерти приткнулся у могилы Мольера. Или, может, это Мольер нашел у него приют?

Мой соотечественник, похороненный на кладбище Пер-Лашез, занимает ячейку в колумбарии. Очень хотелось увидеть его квадратик, прочесть фамилию соотечественника. Но мы его не нашли. Все квадратик пересмотрели, а его не нашли. Ушел от нас Нестор Иванович Махно, как уходил при жизни от белых и красных, ушел крестьянский полководец, так и не сумевший защитить свое родное крестьянство от уничтожения.

У него на родине было сделано все, чтобы изобразить его полукомической-полупреступной фигурой. А он был фигурой трагической. Он выигрывал сражения у превосходящих вооруженных сил, но проиграл его хитрым политикам...

И вот прах его на кладбище Пер-Лашез. В маленькой ячейке, среди тысяч других. Мы пришли к нему, мы ищем его, но он нам больше не верит: слишком много его в жизни обманывали.

Богоматерь и разбойники

Филипп Красивый, четырнадцатый век. Надо ехать в Булонь, а ехать не хочется. Что он там не видел, в Булони? Тащиться в такую даль, трястись по этим ужасным дорогам — и все для того, чтоб помолиться Булонской Богоматери? Как будто у нас нет своей Богоматери. Так нет же, непременно нужно ехать в Булонь.

Хорошо, будет вам Булонская Богоматерь, решает король. И приказывает: воздвигнуть в предместье Парижа церковь Булонской Богоматери. Тут, конечно, возникает вопрос: почему Булонской, если церковь строится под Парижем? Но король считает: ничего страшного. Пусть Булонь там, а Богоматерь будет здесь. По крайней мере не нужно никуда тащиться.

Генрих Второй, шестнадцатый век. Хотя церковь, построенная наспех, долго не простояла, но вокруг

нее возникло Булонское селение, вокруг селения разросся Булонский лес, а в Булонском лесу завелись, вот именно, булонские разбойники. И это ж только подумайте: где Булонь, где Булонский лес, а покоя нет от булонских разбойников!

Может, они потому и появились, что разрушился храм и для них не осталось ничего святого? Когда нет ничего святого, даже честные люди превращаются в разбойников. Генрих Второй этого не учитывал, он думал, что булонские разбойники приходят откуда-то со стороны — не исключено, что из этой самой Булони. И Генрих Второй приказывает: огородить Булонский лес забором, чтобы в него не могли проникнуть булонские разбойники. У всех ворот выставить стражу и пускать в лес только по пропускам. Как будто с пропусками у нас мало разбойников.

Людовик Четырнадцатый, семнадцатый век. Булонский лес открыт для широких гуляющих масс. Правда, королевский министр Кольбер приказал проложить дорожки прямые, как стрела, чтобы сэкономить на извилистости и вообще на гулянии. Он считал, что прямые дороги никуда не уведут, а это очень важно, когда дорога в лесу.

О Булонской Богоматери никто не вспоминает. Не вспоминают и о разбойниках, хотя они, наверное, где-то в лесу.

Восемнадцатый век. Людовик Шестнадцатый, человек с головой, продает Булонский лес своему брату, а Мария-Антуанетта, тоже с головой, заключает с королевским братом пари. Она утверждает, что ему не удастся в двухмесячный срок построить в Булонском лесу дворец, достойный того, чтобы принять ее, королеву. Брат, однако, утверждает, что для него это суцая безделица, и строит за два месяца дворец под названием Безделица (по-французски — Багатель).

Деятнадцатый век. Наполеон Третий передал Булонский лес городу Парижу. Вместо прямых дорог проложили извилистые: по извилистым дорогам приятней гулять, и они в лесу верней ведут к цели.

О Булонской Богоматери никто не вспоминает.

О булонских разбойниках никто не вспоминает. Но они где-то здесь, гуляют и радуются: наконец-то для них построили извилистые дороги.

Двадцатый век, республика. Чрезвычайно много событий. Кто только не гуляет в Булонском лесу! Он уже давно не предместье, он перебрался в город, почти в самый центр, причем не в город Булонь, а в Париж, столицу Франции.

О Булонской Богоматери никто не вспоминает, как и о многих других богоматерях. Люди предпочитают молиться разбойникам. Потому что разбойники могут больше дать, а главное — больше взять.

Людам, не верящим ни во что, все равно, на кого молиться. Важно лишь, чтоб объект поклонения был выше по служебному положению. Генерал, который приехал в Закарпатье успокаивать народ по поводу строительства военного объекта, так отзывался о самом высоком военном начальнике: «Он такой интеллигент, интеллектуал. И стихи пишет на уровне Ахматовой». Уровень он, видимо, определял на глаз. Но какой глаз! Не сомневаюсь, что человек столь высокого ранга может быть для своих подчиненных не только Ахматовой, но и Достоевским, Ломоносовым, Майей Плисецкой. Потому что выше этого уровня они не способны видеть никого.

Двадцатый век, республика. Я приезжаю в Париж и брожу по Булонскому лесу. Здесь, в Булонском лесу, я убеждаюсь в неуместности нашего выражения: живем как в лесу. Уничтожить лес — это еще не значит подняться на вершины цивилизации.

А возвратившись из Булонского леса к машине, я обнаруживаю, что украден мой плащ.

Во французской машине разбили окно, и единственное, что украли, это мой советский плащ...

Все-таки не устояли французы перед советским производством!

Люди из камня

Люди из плоти и крови долго не живут, поэтому их иногда изготавливают из камня. Но, конечно, изготавливать их следует не по одному образцу, даже если образец пользуется всенародной любовью. А то наштампуешь их, всенародных, смотришь — любовь прошла. И даже не столько прошла, сколько перешла в противоположное качество.

Вот тут-то и обрушиваются живые на каменных, чтобы поскорее их всех уничтожить.

Правда, французы своих каменных деятелей не уничтожают. Их просто припрятывают — до более благоприятных времен. У Нового моста восседает на коне Генрих Четвертый, пересидевший где-то французскую революцию и после революции вышедший из подполья. А если Людовику Тринадцатому не удалось пересидеть революцию, то он после революции восстановлен в мраморе, на той же площади Вогезов.

Главное достоинство древних скульптур Лувра — то, что они изготовлены не по одному образцу. Артемиды с ланью несколько не похожа на Отдыхающего Геракла, а Геракл отличается от Мельпомены, которая даже ростом значительно превосходит его.

Поэтому живые с ними не боролись. Их сокрушали удары единственного врага — времени.

Особенно время беспощадно к богиням красоты. У Афродиты Книдской ни головы, ни рук, ни ног, — хорошо хоть главное удалось сохранить, что делает богиню богиней. Правда, любителей древних красот собирает не эта, а другая богиня. Они толпятся вокруг нее, фотографируют, что-то записывают в блокноты. Богиня отлично сохранилась: что лицо, что фигура... Правда, нет рук... О, да это знаменитая Венера Милосская!

Потому вокруг нее столько народу. Знаменитость всегда привлекает больше, чем красота. Тут и отсутствие рук оправдано и даже украшает, как маленькие недостатки украшают великих людей. Кто бы в ней, с руками, признал Венеру Милосскую?

Только в зале древних скульптур видишь, как человека травмирует время. На живых это незаметно, кажется, что они просто старятся. Но и они тоже что-то теряют. Пусть не руки, не ноги, а здоровье, молодость.

Некоторые — душу. Некоторые — совесть. Люди из камня не могут этого потерять. Может, они потому теряют различные части тела, что не могут потерять ни души, ни здоровья, ни совести?

Еще одна знаменитость — философ Хрисипп. Тот, который, по преданию, умер от смеха. Когда умрешь от смеха, смеяться перестаешь.

И Хрисипп не смеется. У него нет головы, так что смеяться ему просто нечем... Однако стойте... От него неподалеку какая-то голова... Читаем подпись «Голова Хрисиппа». Слава Богу, нашлась голова!

Нет, это не та голова. Это совсем другая скульптура.

Тут очень кстати вспомнить софизм Хрисиппа: «Вот

голова, она не твоя... Значит, ты головы не имеешь».

Чтобы избавиться от темы головы, которая не принадлежит ее обладателю, поднимаемся на второй этаж. Здесь у входа нас встречает Ника Самофракийская, такая красивая женщина, что мы не сразу замечаем, что и она, оказывается, без головы.

Ей даже лучше без головы: ничто не возвышается над ее крыльями. Когда поднимаешься так высоко, как поднялась эта богиня Победы, голова уже не имеет большого значения. И тогда почему бы ее не потерять? Это так естественно для каждой победы...

Мы все в процессе лепки, и никто не знает, когда его вылепят, когда он станет законченным человеком. У нас такого даже нет выражения. Есть законченный преступник, законченный негодяй, но чтоб о ком-то сказали: законченный человек, — мы такого еще не слышали. Потому что пока жизнь не кончила нас лепить, никто не может считать себя законченным человеком.

Человек при Джоконде

Повезло человеку: устроился на работу при Джоконде. Какая работа при Джоконде? Она ничего не требует, висит на стенке за пуленепробиваемым стеклом и смотрит на мир со своей загадочной полуулыбкой.

Полуулыбка — больше, чем улыбка: в ней угадывается какая-то потаенная мысль. Что-то знает эта женщина, что миру до сих пор неизвестно.

Нет, не должен человек при Джоконде протирать стекло, он не должен прибирать, подметать, — у него работа одна: следить за тем, чтобы Джоконду не фотографировали. Все картины в Лувре можно фотографировать, а Джоконду нельзя. Возможно, из-за неразгаданной полуулыбки.

А может, бояться, что ее подорвут. А может, фирма открыток боится конкуренции. Опасений много, но человек при Джоконде словно о них забыл. Он так и норовит отвернуться, отвести глаза, чтоб дать сфотографировать великую картину. Правила правилами, но если правилами не управлять, жизнь на земле станет невозможной.

Джоконда это понимает и улыбается своей пуленепробиваемой полуулыбкой. Пуленепробиваемой полуулыбкой. Пусть бы наши «Рабочий и колхозница» посмотрели с такой улыбкой, особенно в том году, когда появились на свет. Их потому и изготовили из нержавеющей стали, чтоб никаких полуулыбок. Вместо всех улыбок — нержавеющая сталь.

Я долго бродил по залам Лувра в поисках этой знаменитой картины. Стрелки показывали то вперед, то назад. Наконец в разговоре трех японцев я уловил знакомое слово: «Джоконда», — и пошел за японцами.

Они привели меня к картине и затерялись в толпе. И я о них забыл, оставшись наедине с Джокондой. И лишь выходя из зала, я увидел своих японцев: они окружили человека при Джоконде, состязаясь друг с другом улыбками. Видно, им понравилось, как человек этот отворачивается и отводит глаза, и, хотя отношение к делу для японца прежде всего, они увидели здесь нечто большее, чем просто добросовестное отношение к работе.

Корона императора

В королевском зале Лувра посетитель в таких больших роговых очках, что в их оправе, как в раме, помещался он целиком, задумчиво курсировал между витринами, в которых экспонировались короны Людовика Пятнадцатого и Наполеона.

Человек в роговой оправе затруднялся, какой из них отдать предпочтение. Казалось, он мысленно при-

мерял их на себя. Примерит корону короля, перейдет к короне императора. Примерит корону императора, возвратится к короне короля.

Корона короля усыпана бриллиантами, а корона императора увешана миниатюрными портретами выдающихся деятелей донатолеоновских времен. Вся эта история на голове императора должна была выглядеть довольно убого, но для своего времени это был прогрессивный шаг: отдать предпочтение живой истории по сравнению с мертвым и презренным металлом.

Человек в роговой оправе отошел от истории и вернулся к бриллиантам. За эти бриллианты можно столько всего купить, а что можно купить за историю? История — фальшивые деньги, ее каждый подделывает на свой лад. Но Наполеону нужны были эти великие в миниатюре. Только великие и только в миниатюре. Ему необходимо было сознавать, что не только Он венчает историю, но сама история венчает Его.

Человек в роговой оправе решительно отошел от бриллиантов и стал примерять на себя историю.

Он был похож на того решительного октябренька, который в вопрос, что бы он сделал, если б был королем, ответил, что он сделал бы счастливым все человечество. Другие октябрята собирались купить паровоз или сто порций мороженого, этому же нужно было все человечество, на меньшее он не соглашался.

Человек в роговой оправе примерял на себя историю, но он уже давно вырос из октябрят, и все его будущее было в прошлом.

И — кто знает, может быть, в этом было спасение человечества...

Международнализм

В один из парижских вечеров мы собрались компанией из десяти человек, в которой было всего два с половиной француза. Два с половиной было, конечно, еврея, затем три казаха, одна украинка и одна просто советская женщина — лучше всего определить ее так. Конечно, если не заглядывать в глубь национальности, французов было значительно больше, не менее семи человек, плюс приехавшие в Париж представители советского братства народов.

Компания подобралась весьма и весьма приличная. Между прочим, в Париже я встречал только приличных, интеллигентных людей, при этом каждый из них смотрел на меня так, словно и я у него вызывал симпатию. Не понимаю, как это им удается: смотреть с симпатией на самых незнакомых людей? Словно они совершенно не боятся, что я их могу унижить, оскорбить, могу им нахамить или просто толкнуть, даже не подумав извиниться. Они смотрят на меня так, словно ожидают от меня только хорошего, будто даже немножко удивляются: смотрите, какой интеллигентный, воспитанный человек. И я изо всех сил стараюсь быть интеллигентным и воспитанным.

Покрутившись среди французов, начинаешь открывать в себе такие достоинства, о которых раньше и не подозревал. Дома я много слышал о западной показной вежливости, которая прикрывает хамство, спрятанное внутри. И все же я предпочитаю хамство, которое внутри, хамству, которое снаружи. Особенно в местах человеческого общения.

Советская женщина произнесла тост. Это был тост за интернационализм — французское слово, означающее дружбу между национальностями. На русский язык переводится только первая часть этого слова: inter — «между». Так что все слово можно на русский перевести как международнализм.

И вот эта советская женщина, приехавшая в гости к своим казахским друзьям, которые давно уже стали

французскими друзьями, завела в своем тосте разговор о том, как хорошо, что за нашим столом сидят люди таких разных национальностей. Она точно определила каждую национальность, ни разу не назвала еврея французом, а казаха евреем, хотя, честное слово, не заглядывала в паспорта. У нее был наметанный глаз, который издали смотрел в глубь национальностей.

В этом и заключается международнализм. Чтобы национальности могли дружить, они должны точно знать, у кого какая национальность.

Французы были к этому не готовы. Они так давно не заглядывали в свои национальности, что позабыли, кто из них потомственный франк, кто потомственный галл, а кто из норманнов или просто евреев. Они все считали себя французами, а нас, гостей, считали русскими, но в тосте им доказали, что это не так. Нет просто русских и просто французов. Есть представители дружественных братских национальностей. Международналисты.

И даже междурасисты, представители братских, дружественных рас. Этих рас очень много в Париже. Особенно негров. Обилие негров придает Парижу некоторый оттенок Америки, тем более что парижские негры ничем не отличаются от остальных парижан, так же как американские ничем не отличаются от остальных американцев.

Разве что цветом кожи. Но разные цвета в букете только украшают букет и не станут заводить спор, какой цвет лучше, а какой хуже. Если, конечно, не станут заглядывать в глубь своей ботаники.

Так и нам заглядывать в глубь своей биологии. Как будто мы не в гостях, не в компании, а на приеме у врача. На вечном приеме у врача.

Черные парижане такие же симпатичные, как и белые, они такие же доброжелательные, интеллигентные, хотя если заглянуть им в глубь, можно считать их инородцами. Потому что родились они где-то в Африке или их родители, или родители их родителей родились где-то в Африке.

Но вот что я заметил: главная черта инородцев состоит в том, что они ничем не отличаются от коренного населения. Даже если цвет кожи у них другой. Даже если форма носа у них другая.

Это я заметил просто для памяти.

Если хотите, можете взять это последнее слово в кавычки.

(Окончание в № 11)

Заработать валюту? А почему бы и нет!

Если вы хотите поехать на работу за рубеж, по своей специальности или освоив новую, фирма «ИМИДЖ» познакомит с вашими деловыми предложениями зарубежные фирмы и СП.

Письмо-заявку (сведения о себе, где и кем хотите работать) одновременно с почтовым переводом на 18 рублей высылайте по адресу: 103031, Москва-31, а/я 6, «ИМИДЖ». В течение двух месяцев вы получите от нас информацию, поэтому вложите в письмо конверт со своим адресом.

«ИМИДЖ» также принимает заявки на обучение увлекательной и особо актуальной сейчас профессии — рекламно-посредническому делу. Окончив месячные курсы (набор конкурсный), вы сможете стать представителем советской или зарубежной фирмы.

ЖЕЛАЕМ ВАМ УСПЕХА!

СКОРБНОЕ
БЕССИЛИЕ

Судьба Богдана Климчака, заключенного печально известного лагеря «Пермь-35», — 15 лет строгого режима и пять лет ссылки. «Пятнадцать плюс пять», как говорят люди сведущие. Максимальный срок, дальше — расстрел. За что?

Богдан Станиславович Климчак, 1938 года рождения, украинец из Сокальского района Львовской области, был арестован в ноябре 1978 года. Обвинения, предъявленные ему: бежал в Иран, захватив с собой рукописи «националистического содержания», намеревался опубликовать их на Западе. Выдан иранскими властями. Осужден по статьям 64-й («Измена Родине») и 70-й («Анτισоветская агитация и пропаганда»).

Дело Климчака, как водится, хранится у нас за семью печатями, но все же...

70-я статья отменена. 64-я карает в том числе и за бегство за границу «в ущерб... государственной безопасности и обороноспособности страны». «Ущерб» представляли... рукописи Климчака.

Даказывать абсурдность обвинения по исключенной из кодекса статье 70-й смысла, в общем, нет. И все же небольшой экскурс в недавнее прошлое...

В 70-е, когда Климчак был осужден, на Украине каленым железом выжигался «националистический душок». «Шили» национализм даже за простые стихи. Причем «науцклоном» могли назвать все, что угодно, не обязательно требование выхода из СССР; гораздо меньшего хватало на внушительный срок.

Вот под такую «практику», видимо, и попал украинец Богдан Климчак. Но что же — и сейчас инакомыслие уголовно наказуемо?

Климчак протестует. Против несправедливого приговора, произвола администрации, принудительного труда. Требуется пересмотра дела. За это почти не выходит из штрафного изолятора (лагерный карцер). По сообщению Московской группы Международного общества прав человека (от 10 июня 1990 года), с 22 января по

9 апреля 1990 года Климчак находился в штрафном изоляторе 61 сутки. От 29 июня: Климчак по-прежнему в «помещении штрафного изолятора».

О том, что такое ШИЗО в пермском лагере, рассказывает бывший политзаключенный, член МГ МОПЧ Валерий Сендеров: «В этом бараке я провел полтора года: с осени 1983-го до весны 1985-го».

Во время Венской встречи в тюремных карцерах и лагерных ШИЗО были отменены «пониженные нормы питания» (пытки голодом). Сейчас в ШИЗО кормят, как на зоне. По некоторым параметрам этого питания недостаточно. Например, остро не хватает витаминов. На зоне это в какой-то мере компенсируют: одуванчиками, травой. В ШИЗО такой возможности нет: на прогулку не выводят.

В 1983 году в камерах была единственная решетка — внешняя. В 1984-м навесили массивные деревянные «реснички» (тоже снаружи). Гораздо меньше света, а главное — ощущение замурованности, клочка неба не видно. В 1988-м («перестройка» в разгаре) — новое усовершенствование: железные жалюзи внутри камер. Света теперь почти совсем нет. Ладно: писать и читать в ШИЗО все равно не дозволено. Много хуже другое: форточки теперь едва можно приоткрыть. И так в камерах, где «туалет» — простая дыра в полу.

При камерном содержании свежий воздух — главное условие сохранения здоровья. Охолодал в тюрьме — отогреешься, оголодал — отъешься. Труднее избавиться от сердечной недостаточности, гипертонии, приобретенных в постоянной духоте...

Добавлю, что размеры камеры ШИЗО таковы: длина 3 м, ширина 1,25, высота 2,25 м. (камеры двухместные).

По сведениям освобожденного в январе 1990 года Руслана Кетенчиева, в ИТК-35 произошло ужесточение режима. Блокируется переписка, посылки. Жалобы и заявления из зоны отправляются или не отправляются по воле «попечителей» лагеря из КГБ.

Общественность (мировая — уже давно, наша — с недавних времен) знает о судьбе Богдана Климчака. На его родной Украине во время работы сессии Верховного Совета УССР проходили демонстрации, одним из требований которых было освобождение Климчака. Кстати говоря, Богдан по возможности старается участвовать в политической жизни республики. В свое время им было передано на волю обращение к избирателям, где он призывал украинцев голосовать только за «кандидатов» от неформальных организаций, которые отстаивают идеи возрождения украинского государства.

И все же Богдана Климчака, как и некоторых других заключенных «Перми-35», не покидает горькое чувство, что их после освобождения «известных» узников совести забыли.

«Не потому ли власти не освобождают политзаключенных, — размышляет правозащитник, в прошлом узник совести Кирилл Подрабинек, — что терпимость общества к их существованию есть обесценивающая болезнь, гарантирующая безопасность диктатуры? Тогда для власти становится несущественным количество политзаключенных — ей важно, что они есть!»

Сковывает ли нас еще бессилие, боязнь, страх? На этот вопрос у каждого свой ответ. У людей, прошедших через лагерь и психушки, — свой.

Но большинству из нас, несидевших, пока остается хоть один узник совести, этого бессилия и страха не преодолеть.

Александр МАЛЮГИН

Валерий АНИЩЕНКО

*Пародии из цикла
«Посадил дед репку»*

ЦЕНА РЕПКИ

(Андрей Нуйкин)

Финансовые департаменты дружно предсказывают повышение цен, причем они доказывают, что высокие цены намного лучше низких. Это исходит от устаревшего, как мне кажется, представления о вреде для здоровья мяса, масла, икры, сахара, меда как различных разновидностей смертей: сизой, белой, черной и т. д. В печати свидетельствует разгул глагола «Повысить!». Финансисты убеждают нас, что такие товары, как балыки, электроника, парфюмерия, автомобили, не нужны простому народу.

Кто пострадает от реформы цен в первую очередь? Кто будет больше пить кофе? Малообеспеченные бразильцы или высокооплачиваемые москвичи? Пусть цена остается низкой даже при отсутствии самого товара! Зато есть надежда закупить со временем за океаном. Надо ли повышать цены на мясо, где оно есть? Вопрос не из простых. А где его нет? На что повышать, если нет?!

Возьмем, к примеру, репку. Предположим, что она подалась. Другими словами, сдвинулась с места. И тут как раз сотрудники Госкомцен! Что же имеем мы в результате подсчетов затрат труда, удобрений, механизмов (лопат). Они сразу взвинчивают

цены на репку с учетом качества и величины. Но это же абсурд! А не лучше ли этим чиновникам финансово-управленческих префектур вникнуть в суть проблемы. Тогда они убедились бы, что репка-то была по бюрократической указке сверху посажена не тем кондом. И выросла, хотя и большая, вершками вниз, а корешком вверх. Вот и попробуй вытяни ее за тонкий, к тому же скользкий от проливных дождей хвост! Даже при помощи пресловутых шефов Жучки, Кошки и Мышки! Так надо ли повышать цены на репу! Может быть, разумнее перевертывать ее при посадке правильно: корешком вниз, а вершком вверх?! Только выгодно ли РАПО и бухгалтерии, чтобы цена на репку упала, если на этой репке они имеют свое полное благополучие...

МОНОЛИТ

(Василий Селонин)

Данный огород не имеет исключительного значения для всей экономики в целом, но он и не исключение из общей послереволюционной истории, создавшей на одну репку целый монолит бюрократического управления. Для решения хозяйственно-огородных задач приходилось создавать огромное количество инспекторов, учетчиков, лекторов, уполномоченных, агентов, милиционеров. Была создана даже чрезвычайная комиссия по редьке и репке — Чек-редрепка.

Армии и трудовым лагерям требовалась пища. С разрушением экологического механизма движущей силой прогресса на селе стала депеша в смычке с циркуляром. Вот постановление «Об уборке и заготовке сельхозпродуктов», регламентирующее уборку репы:

1. Установить, что уборка репы должна производиться при наличии полной зрелости вершков и корешков. Не допускается перезревание последних, а также загнивание.

2. Обеспечить своевременное выполнение копательно-вытягивательных операций в строгой хронологической последовательности.

3. Убирать репу не позднее 1 ноября, не менее 20 корнеплодов с 1 квадратного метра.

Позвоительно спросить: а если репа не поспевает? Легко представить, сколько служилого люда кормится вокруг репки. Дед первым понял пагубность инструкции и притворился неграмотным. Поэтому репа выросла на славу. Но только она подросла — тут-то и набегали плановики-учетчики. 18 миллионов гвардейцев-управленцев, ярых противников перестройки. Нынешний аппарат рос куда быстрее, чем репка, и в короткое время по темпам роста вышел на первое место в мире. Конвейер действует четко: верхи пишат, низы отписываются. Сто миллионов бумаг! Для чего они? А в это время деду не с чем сходить из-за дефицита бумаги по нужде.

Нужна революция. Мой инструментарий несколько грубоват, но он

верен, иначе стагнация хозяйства возьмет нас за горло, и мертвецкая хватка бюрократа приведет к упадку. Другой наш враг — социальная инертность. Надеемся на добрых начальников, которые придут и вытянут репку.

— Что же будем делать? — спросил я у деда, пожимая натруженную руку.

— Тянуть, Василий, тянуть будем. Вот вытянем, тогда что делать будем? Все магазины репкой забиты... А может, ее и садить не надо, — засомневался дед, — может, лучше кукурузу?

ИНТУИЦИЯ

(Владимир Солоухин)

Итак, если лечь в траву... Можно, конечно, лечь на металлолом, на жерди, на оглобли и просто на щебенку, а можно в траву: в крапиву, в заросли шиповника или чертополоха, и непременно в огороде. Во-первых, здесь растет и репа, о которой вспоминают лишь тогда, когда она большая и ее надо вытягивать из земли. (Строго говоря, я не имею никакого права брать за эту тему. У меня нет ни опыта овощевода, ни навыков ботаника, ни диплома агронома, тем более что и репку-то я не ем. Я больше обожаю капусту, огурцы, помидоры, особенно после засолки, а из трав для настоек нет ничего лучше зверобоя, зубровки, тмина. Последний особенно хорош в употреблении. Единственное, что меня толкает на этот тернистый путь, — это интуиция.)

Мы уже привыкли, что трава зеленая.

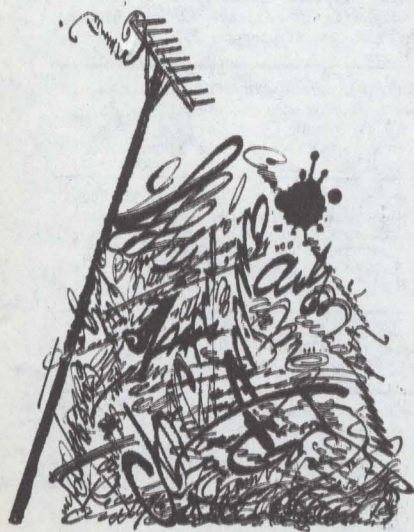
Скошенная трава, как известно, называется сеном. Растений у огорода очень много. Придешь, ляжешь у забора в крапиву и начинаешь размышлять. Но думать не дает какая-то странная неуютность. (И вот тут приходит в голову мысль о репке, к которой уже подбирается дружная дедова компания. Тянуть ее трудно, но можно. Труднее осмыслить сам факт вызревания репки до немислимых размеров. Правильно ли вообще говорить о плодоще, что оно «прилепило свое семечко»?)

У каждой травы свое особое назначение: одна — для куриных нужд, другая — для пропитания, а репка, кажется, специально создана для дела. Но откуда она такая? Кто ее довел до таких внушительных размеров?

Семя, как известно, прорастает. Когда дед посадил репку, началось таинство. Она пошла в рост! (Причем никто ведь не знает, почему при этом один росток идет вверх, другой — вниз. А в этом и соль. И дело тут не в антропоморфизме и уж тем более не в фотоморфизме как таковом.)

Дело в интуиции, которая и помогает мне заглянуть в глубь любого огорода, где так или иначе пахнет тмином, зверобоем, соленым огурцом или той же репой.)

г. Свердловск



Михаил ПЕРШИН

Оптимистическая трагедия

Иннокентий Львович Рыпкин
Кушал семечки с надеждой
(Он вообще был оптимистом),
Шелуху в ладонь плюя.
А жена его — Надежда —
Ела жареную рыбку
И дожила на газету
Кости тонкие ея.

— Ты о чём всё мыфлиф,
Кефа? —

Так супруга спросила,
Рыбью косточку при этом
Отлепив от языка.

— О Намибии, тыфу, Надя, —
Сплюнув шкурку, он ответил. —
Я надеюсь, что победа
Над расистами близка.

— Ту бу шюл пукушуть рубку, —
Позвала его Надежда
И губами обсосала
Размягчившийся хребет.

— Тыфу, да нет: одни там кости, —
Он сказал и снова сплюнул. —
Я подсолнечником нынче
Ограничу, тыфу, обед.

Вдруг закашлялся несчастный
Иннокентий Львович Рыпкин,
Подавившись шелушинкой:

— Кхак, и кхок, и кхэк, и кхык.
И хотя его супруга
С силой в спину колотила,
Лег он на пол, задохнувшись,
И скончался в тот же миг.

Над его могилой свежей
По весне щебечут птицы,

Облака пронесит ветер,
И шумит зеленый лист.
А промчится теплый дождик, —
И сверкают капли в буквах:
«ИННОКЕНТИЙ ЛЬВОВИЧ
РЫПКИН,
НАМИБИЙСКИЙ ОПТИМИСТ».

Гражданин Померанцев

Гражданин Померанцев
не любил иностранцев,
массажисток, узбеков,
спекулянтов, врачей,
одноглазых, артистов,
гомосексуалистов,
женщин, негров, подростков,
продавцов, циркачей,

слесарей, пионеров,
прачек, пенсионеров,
моряков, беспартийных, тех,
кто ходит в очках,
педагогов, лифтеров,
экстрасенсов, монтеров,
почтальонов, лекальщиц,
образованных, свях,

нумизматов, доцентов,
диссидентов, студентов,
женщин (впрочем,
об этом я уже говорил),
коротышек, евреев,
рыбаков, ротозеев,
адвокатов, туристов,
импотентов, верзил,

секретарш, пацифистов,
бомжей, парашютистов,
теннисистов, плешивых,
недовольных судьбой,
жизнелюбов, афганцев,
шлюх, вегетарианцев.
Гражданин Померанцев
был народным судьей.

Валерий РАСПОПОВ

Вдруг, как из пушки, громыхнуло,
И все в движение пришло,
Ветрами свежими подул,
В горбу расправило крыло.
Базарным бабам подфартило —
Теперь, что хочешь, говори.
И вот острит язык, как шило,
Про то, как жили упыри.
Порочной памяти пружина,
Ей все, что ново, — невопад.
В очередях у магазина
Эпоху трезвости хулят,
О боголепии порою
Шумят радеи старины...
Мы жертвы культа и застоя.
Какие вам еще нужны?

Григорий МЕДВЕДОВСКИЙ

Из дневника

В закатном небе таял след инверсии,
Почти не тронул яркий окоем...
А я сидел и думал о конверсии —
О том, на что мечи перекуем.

Терпимость во всем нам нужна,

О МУЗЫКЕ

Всем страждущим хочется хлеба,
Меняют на булки рубли,
А музыка — штука от неба
И только чуть-чуть от земли,
Серебряно хлынула арфа,
Но не отягчила карман,
Подумай над музыкой, Марфа,
И звуки послушай, Иван.
На поле созрела картошка,
Здесь каждый трудом своим чист,
Не помни обиды за то, что
Не пашет поля пианист.
Ногами он жмет на педали,
Сжигая свое естество,
И белые зубы рояля
Хватают за пальцы его.

г. Белгород

Иначе такого не вынести!
Но только б не стала страна
Огромнейшим домом терпимости.

Как хорошо на праздничную

площадь

С друзьями выйти в первомайский
день!

Не только ветер красный
флаг полощет, —

Его полощут все, кому не лень.

г. Ульяновск

В НОМЕРЕ:

Проза

Михаил РЕЗИН. Бегство талой воды.
Повесть в монологах (2)
Владимир МАКСИМОВ. Заглянуть
в бездну. *Главы из романа* (18)
Леонид БОРОДИН. Расставание. *Ро-
ман. Окончание* (42)
Людмила ПЕТРУШЕВСКАЯ. Сказки
для взрослых (66)

Поэзия

Владимир РЕЦЕПТЕР (17), Мария ГА-
ЛИНА (39), Марк СЕРГЕЕВ (40), Ген-
надий КРАСНИКОВ (41), Валентин
РЕЗНИК (85)

Публицистика

«20-я комната». *Заседание тридцать
седьмое* (68)
Мария ВЕШНЕВА. «Это память
о днях в Донском...». *Предисловие Ан-
дрея Бессмертного* (76)
Феликс КРИВИН. В местечке Париже
(86)
Александр МАЛЮГИН. Скорбное бес-
силие (94)

Культура и искусство

Петр ВАЙЛЬ, Александр ГЕНИС.
«Лишний человек — это звучит гордо»
(64)

Критика

Давид САМОЙЛОВ. «Суетливость не
пристала настоящим мастерам» (59)

Почта «Юности»

Письма читателей (75)
Юрий ПАПОРОВ. Ответ на письмо спе-
циалистов-историков (84)

Зеленый портфель

Валерий АНИЩЕНКО. Пародии из ци-
кла «Посадил дед репку» (95)
Михаил ПЕРШИН. Валерий РАСПО-
ПОВ. Григорий МЕДВЕДОВСКИЙ.
Ироническая поэзия (96)

Рукописи объемом менее авторского листа не
возвращаются.
Во всех случаях полиграфического брака в эк-
земплярах журнала обращаться в издатель-
ство «Правда» по адресу: 125865, Москва,
А-137, ГСП, ул. «Правды», 24.

Оформление первой страницы обложки
Вадима и Владислава Игониных
Главный художник Олег Кокин
Технический редактор Ольга Трепенюк

Сдано в набор 03.07.90. Подп. к печати 30.07.90.
А 08178. Формат 84×60%. Бумага офсетная.
Печать офсетная. Усл. печ. л. 11,68.
Усл. кр.-отт. 19,53. Уч.-изд. л. 17,75.
Тираж 3 100 000 экз. Заказ № 2573.
Цена 70 коп.

Адрес редакции: 101524, ГСП, Москва, К-6,
ул. Горького, д. 32/1.
Телефон для справок — 251-31-22.

Ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции
типография имени В. И. Ленина
издательства ЦК КПСС «Правда»
125865, Москва, А-137, ГСП, ул. «Правды», 24.

© Издательство ЦК КПСС «Правда»,
«Юность», 1990.

**Владимир
КУЗНЕЦОВ**
г. Егорьевск

«Я стал заниматься живописью самостоятельно с 1968 года. Позже учился в знаменитой студии Эля Белютина. Большое внимание уделял фактуре живописной поверхности, что в дальнейшем привело меня к пластическим образам.

В начале 1980 г. активно начал работать в чистой скульптуре.

Вообще пластика — это интимный диалог художника с пространством.

Когда-то я пытался сделать картину как кусок некой субстанции, пульсирующей, клокочущей. Сегодня для меня важны углубленная созерцательность и таинственная ритуальность. А завтра увлечет еще черт знает что. Но везде должен быть Я».

Владимир КУЗНЕЦОВ



«Автономия тучи». Дерево, стекло.

«Всадник». Дерево.



«Лучистые объекты». Дерево, металл.

АБИТУРИЕНТУ-91

Всесоюзные заочные подготовительные курсы (ВЗПК) ЦЭНДИСИ при Академии наук СССР проводят целенаправленную индивидуальную подготовку к поступлению в высшие учебные заведения. Основу занятий составляет самостоятельная работа учащихся по методическим пособиям, реализующим педагогически обоснованную систему подготовки. Пособия содержат: краткое изложение теоретического материала, примеры выполнения типовых заданий с необходимыми рекомендациями высококвалифицированных специалистов и индивидуально ориентированные контрольные работы.

Учащиеся ВЗПК обеспечиваются информацией об избранном учебном заведении и особенностях вступительных экзаменов.

Обучение осуществляется по математике, физике, химии, биологии, русскому языку и литературе, истории, обществоведению, географии, английскому языку, украинскому языку, украинской литературе, казахскому языку и казахской литературе. Филиалы ВЗПК в Киеве и Алма-Ате осуществляют обучение не только на русском, но и на языке республики.

На курсы принимаются лица с любым уровнем начальной подготовки. Обучение платное. Инвалиды с детства, воспитанники детских домов, воины-интернационалисты имеют льготы. О формах оплаты и условиях зачисления можно узнать, написав в адрес удобного отделения ВЗПК. Рекомендуем выбирать отделение либо по месту жительства, либо по месту нахождения избранного вуза. Во всех остальных случаях обращайтесь в Центральное отделение ВЗПК.

Адреса отделений ВЗПК: 129110, Москва, ВЗПК;

190000, Ленинград, ЛТО ВЗПК; 252001, Киев, УРО ВЗПК;

480100, Алма-Ата, САКО ВЗПК.

Для жителей Москвы и Московской области действуют очные подготовительные курсы. Справки по телефону 581-11-53.

